

ЛИТЕРАТУРА

ТРЕТИЙ ХРАМ

**ЭЛИ
ЛЮКСЕМБУРГ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

Эли Люксембург

Третий Храм

עיריית חיפה
מערכת תרבות חפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....



ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ

ТРЕТИЙ ХРАМ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Репродукции из альбомов художника Льва Сыркина

Библиотека «Алия»

א. לוקסמבורג
הבית השלישי
וספורים אחרים

E. LUXEMBURG
THE THIRD TEMPLE
and other stories



כל הזכויות שמורות
ל"ספריה עליה"

היוצאת לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זיכרון לתרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס: החברה המאוחדת לפרסומים והדפסה בע"מ, ת"א

1975

OCR Давид Титиевский. апрель 2021 г., Найфа

СОДЕРЖАНИЕ

Автор о себе	7
Предисловие	9
Повести	
Третий Храм	13
Зеэв Паз	78
Рассказы	
Мишаня	159
Письмо	169
Проказа	179
Гуси-Гуси	186
Прозрение	194
Юбилейный матч	199
Накануне	214
Шамес Кажчарки	223
Боксерская поляна	232

АВТОР О СЕБЕ

Родился я тридцать пять лет назад в Бухаресте. В Европе уже шла вторая мировая война. Отцу чудом удалось вывезти семью в Россию, это спасло нас от неминуемого уничтожения.

Детство мое было подчинено заботам о нашей многочисленной семье. Я научился сапожничать, деля эту заботу наравне с отцом.

В двенадцать лет написал свою первую поэму, посвятив ее Сталину и девочке, которую безответно любил.

В восемнадцать лет окончил Ирригационный техникум. Еще я усиленно занимался боксом. Был чемпионом Ташкента, Узбекистана, дважды — чемпионом всесоюзного «Спартака». Добился звания мастера спорта. Потом получил еще одну специальность — окончил Институт физической культуры.

Всерьез занялся прозой двенадцать лет назад. Несколько раз пытался поступить в Московский литературный институт, но безуспешно. Рассказы мои «не проходили конкурса», поскольку ими больше интересовался КГБ.

Творчество мое обрело смысл и цель после долгих, самостоятельных занятий Торой, Пророками, историей и наследием нашего народа.

Сразу же после Шестидневной войны небо России будто бы наполнилось ангелами возвращения, зовущими нас на родину. Мне посчастливилось услышать их зов и шум их крыльев. И началась отчаянная борьба за выезд, как говорится, «в открытую». Допросы, обыски, шантаж, доносы друзей-стукачей... Я избежал чудом заточения в лагерь, заточения в психбольницу, ссылки. Думаю, что наградой мне была тут вера во Всевышнего, вера в справедливость борьбы за Исход, за любовь к своему народу.

Вот уже три года, как живу в Иерусалиме, работаю учителем в школе. Стараюсь учить наших мальчишек быть сильными, крепкими.

Больше всего на свете боюсь сейчас чемоданов и путешествий. При одной мысли, что вот я сяду в самолет, он поднимется в воздух, а мой Израиль останется позади, — меня охватывает смятение.

Эли Люксембург

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОРЫВ К МИРУ ИНОМУ

Трудно ожидать, что кто-то извне обладает возможностью коснуться непредвзято самой невскрывающейся точки нашей еврейской души.

Да и сами мы подчас, следуя моде, при страшном самоутверждении, сопровождаемом потерей личности, впадаем в хамелеонство и, с совершенно непонятной наглостью, клеветаем сами на себя.

Мне хотелось бы прочесть гораздо больше, чем напечатано в этой книге, чтобы, не уподобляясь гурманам и дегустаторам, воздать должное Эли Люксембургу.

Я не могу здесь сказать о чем-то таком, определяемом весом и мерою или ограниченном устойчивыми нормами. И это потому, что все здесь, по моему разумению, сводится к настроению, движению чувства в своем избытке и в своей памяти, к интуиции того, что составляет содержание хаоса духовных сил, мешающих молитве.

Так вживаются и вписываются особенности нашей галутной судьбы в каком-то произвольном сцеплении мыслей при сознании большой высоты и значительности совершаемого Исхода.

Вновь вопрошает закаленный дух: — что же есть наитяжелейшего в том, чтобы перестать осквернять самих себя?

Здесь нет соблазна «договорить» за Эли Люксембурга. Нет соблазна к снисходительно-поощрительным словам.

Его способность удивляться, увидеть приступы невероятной болезни, именуемой «палестиноманией», осознать рабство своей низшей природы и неописуемую важность прорыва к миру иному выходят за пределы слишком уж нам привычного, построенного на одной завязке писательства.

Едва ли у автора можно предположить ответы на чье-нибудь ожидание в виде той или иной гармонии

ческой мысли. Способность грезить получает значение Храма. Ищущие своего выхода смысловые излучины «Третьего Храма» достаточно ясны. Они сильны своей реальностью неподобия, которое все презирают, они сильны своей реальностью преподобия, которое ненавидят. В Храм не хотят и не могут поверить не только другие, но даже многие из тех, кому их собственное существование изначально предопределено как чудо.

Мы имеем перед собой то, что после каждого перемещения сознания скрыто от всякого намеренного воздействия, то, что проявляется в исключительные моменты, чего нельзя вычислить или, что то же, придумать.

Миф вторгается в реальность, приобретает очертания древнего Храма, разрушая камерную замкнутость действия. Пользуясь выражением Гоголя, «ничто здесь не означено резко», и вместе с тем очень ясно внутренне почувствовано.

Душа вспорхнула, покинула жалкое прозябание и устремилась в горы. Полетела высоко, высоко...

«Тогда и возник Храм. Возник в одно мгновение, одним движением воли зодчего. Он приучил себя к этому с самого начала, с первого камня, что был положен в его основание».

Но люди, от государственных мужей и до рядовых врачей-стражников, которым якобы все известно, глумятся над реальностью неподобие Храма и уверенно ставят свои категорические диагнозы.

«...Углубленное клиническое исследование интеллекта нашего пациента выявило, что в данном случае нельзя говорить о слишком большой разорванности мышления. В мышлении Исаака Фудыма можно проследить и даже понять логически ассоциированные связи. Поведение больного характеризуется полярностью ассоциативных реакций. Ощущение радости и восторга он испытывает от жизни на воображаемой родине. Там, представьте себе, он строит не больше не меньше, как Третий Иудейский Храм».

«...Прошу посмотреть ниже, — уже бойко и с азартом шептал профессор. — Потемнение в области печени, а в почках — осколочные скопления. Самые обыкновенные камни. Отсюда и начинается параноидная связь: Храм, Синай, скрижали...»

Я так рад, что чувство не обмануло Эли Люксембурга. А ведь это не так уж часто случается среди пытающихся что-то сказать о великом часе нашего Ис-

хода. И в этом смысле, на почве всех наших устремлений, неизбежно возникает инстинкт духовного самосохранения и внутренней уверенности человека, ибо **«сорвись он в пропасть, и Храм разобьется вдребезги».**

И недаром, недаром, не для красного словца заключается повесть вечной, непоколебимой истиной: — **«человек должен жить на вершинах, а не в дремучем лесу».** Иначе, не успев начать жить, человек сбрасывает с себя образ высший и уподобляется трусливому животному, которое лает и лаем своим отпугивает других оттого, что само боится этих вершин. Эта вершина не утопический символ. Когда на нее смотрели издали, **«она всегда была чистой, а тут, когда ты рядом, — непроницаемый туман».** Поистине! Человек живет для того, чтобы добраться до сути вещей!

Далеко не всем доступно сознание своего назначения. Художник, однако, не ограниченный вещественно-близостной тенденцией, способен углубить картину, имея ощущение пространства в масштабе вселенной. С этим редкостным видением и пишет Эли Люксембург.

Человек, написавший **«Третий Храм»** понимает то, чего до сей поры не хотят понять люди в мире, да и многие из нас на Святой Земле. **«Мы (израильтяне) стоим у основания вселенной, лицом к лицу с Законом!»**

Но освобожденная душа не всегда имеет в себе черты «дали». Это становится ясно с первых же страниц второй повести Эли Люксембурга, названной по имени ее героя Зеэва Паза.

«Вот они, земля и камни Иерусалима, вобравшие в себя кровь и пот избранного народа, горькую долю его на этой земле. Зачем же позвали сюда предки Зеэва Паза? Позвали его лететь в автобусе через весь этот непостижимый город, в немоте и душевном трепете, вот уже третий год подряд, не считая суббот, праздников и летних каникул. Для какой цели?».

Мир вдруг оказался несколько иным и следует оттолкнуть от себя зыбкие зеркала романтической дремы. Для автора повести эта земля и этот город полны, по-видимому, символов. Но единственная фантастика наших дней — возрожденный Израиль — никак не аллегория, а реальность. И надо еще увидеть эту зримую, обыденную реальность в исключительности, сверхъестественности ее существования.

Стоит сказать, что смешение планов в повести воспринимается как совершеннейший из методов контакта с реальностью. А выразительность слова проявляется

как динамическое взаимодействие множества факторов.

Меня поразил здесь образ Иерусалима. Мгновенно увиденный, а также стремительно запечатленный, он кажется необычайно живым. Но постепенно этот образ Святой Земли, где «мы стоим у основания вселенной лицом к лицу с Законом», затухает, и мы начинаем узнавать о пережитиях недалекого прошлого, где трудно уловить значительность происходящего, но можно чувственно догадаться о многом.

Какой же смысл в этом переизбытке «закадрированных» отношений, профанирующих действительную любовь?

Ведь под гнетом проклятья, тяготеющего над сегодняшним Содомом, не расцвести никакой светлой мечте!

А время упускать нельзя. И все представляется очень важным, когда вдруг начинает поворачиваться в обратном порядке вокруг своей же собственной оси...

Может быть, «ощущая себя свежим и обновленным, будто избавившись от какой-то болезни, омрачавшей ему душу и жизнь», Зеэв Паз преисполнится до краев благостью самых близких нам далей?

Павел Гольдштейн

ТРЕТИЙ ХРАМ

Глава первая

«Пусть каждый поселится там, где он хочет быть, пусть каждый живет, где пожелает!»

Подобные мысли возникали у Исаака Фудыма, когда по утрам наблюдал он несчастное, заплаканное лицо Натана Йошпы — единственного соседа по палате.

Как обычно, на рассвете истощалось действие укола, что вводили Натану перед отбоем, и сейчас человек всхлипывал под простынею и корчился.

Сам же Исаак Фудым был гораздо сообразительней. Он давно обитал на родине, поэтому сострадал своему соседу, человеку, лишенному живого воображения, всей душой, но помочь ничем не мог.

На родине у Исаака было полно дел — он строил Великий Храм. Тут о самом себе не было времени позаботиться. И тайно он презирал соседа за скудоумие и безволие. Пробовал порой вразумить:

— Послушайте, Натан, — толковал он ему. — Почему вы вбили себе в голову, что уехать вы можете только самолетом? Вы же видите — с самолетом у вас ничего не выходит. В самолет вас не пускают, над вами глумятся самым форменным образом. Обманите же ваших таинственных мучителей, обведите всех вокруг пальца. Живите, где вам хочется жить, не прибегая к вспомогательным средствам, к материальным самолетам.

Такая мудрость была для Натана непостижима. В своем желании поселиться на родине он не дошел, очевидно, до последних границ отчаяния. Ведь это желание появилось у него сравнительно недавно, если уж говорить, что выстрадать пришлось Исааку.

На все советы соседа Натан беспомощно разводил руками. Дескать, над ним властвуют более могущественные силы, нежели обычное человеческое воображение. И, вообще, обстоятельства у него совершенно иные, нежели у этого счастливчика Фудыма!

Конечно, не будь в лечебнице такого доброго и смелого человека, как профессор Кара-хан, Йошпа давно наложил бы на себя руки. Было с ним и такое — пару раз Натана уже вытаскивали из петли. Правда, было это не здесь, не в лечебнице, а там, в лагере, в Сибири, куда уехали его за известные делишки. Чтобы разом избавиться от мучившего его наваждения, легче всего было бы перебраться в мир иной. Но профессор Кара-хан знал о нем решительно все. Он знал его сны, поэтому уверенно распоряжался мыслями Натана, направляя его поступки.

Очевидной пользы, однако, больной от этого не ощущал. Может, именно этим профессор еще больше затруднял желание Натана поселиться на родине? Быть может, Натану полезнее было бы скрывать от профессора свои сны, выдумывать их, как делает это Исаак Фудым?

Но и тут Натану не доставало хитрости. Другое дело, когда знает твои сны Фудым, родная душа, брат. Фудым не пишет научного исследования о «палестинизме» — новой, странной болезни, — не пользуется психоанализом, который, дескать, разрушает очаг болезни. Исаак Фудым ближе всех ему на белом свете. Он может взять и потрясти Натана за плечо, разбудить попросту, когда у соседа струятся по утрам потоки слез.

Именно так и решил поступить Исаак, глядя, как Натан во сне своем делается буен, начинает вскрикивать, а руками делает движения, будто борется с кем-то сильным и невидимым.

Босиком, в одной полосатой куртке, как и был он полуодет, Исаак положил руку на плечо соседа — прервать его тягостный сон, но вовремя сообразил: поди знай, на каком он сейчас моменте, какие видения захватили Натана в плен? Облегчит ли его пробуждение, или же навредит?

Быть может, именно в эту минуту почудилось Натану, что дали посадку на его самолет. А он не слышал, не разобрал голоса иностранного диктора. И мечется среди пассажиров по вестибюлю, приставая и тормоша каждого — на какой именно самолет дали посадку?

Возможно, присходит с ним и такое: все поле окутано лиловым, непроницаемым туманом. Едва различимые, поблескивают вдали серебристые точки. Одна

из них — самолет Натана. Он совершенно убежден, что там по трапу никто еще не поднялся. Пассажиры все тут. И, последний в очереди, Натан отчаянно хочет сесть в самолет первым. Изо всех сил он начинает орудовать локтями, отбиваться кулаками от злонамеренных дам и джентльменов. Потом и вовсе переходит в атаку — начинает визжать и кусаться...

Родная душа — Исаак Фудым — отлично знает; на этом месте будить соседа ни в коем случае нельзя. Кто Натана тут разбудит, может нанести ему непоправимый вред. Если самолет еще не взлетел, Натану дано в него сесть. Вполне может статься, что это и есть тот самый единственный шанс, который ему отпущен, ибо на нем, на этом единственном шансе, и держится вся надежда. Натан подстерегает его в каждом своем сне.

А что если все пассажиры сидят в креслах, давно пристегнутые ремнями, и самолет готовится выруливать на старт? Ревут моторы, начисто забывая вопли живого человека. Один Натан всем помеха. Безумно напрягшись, стюардесса один за другим отрывает его пальцы от двери. Не помогают ни слезы, ни уговоры. Натан размахивает перед ней билетом, точно бритвой. Билет абсолютно соответствует этому рейсу, Натану во что бы то ни стало надо попасть на родину! Он так долго простоял за этим билетом в чудовищной очереди, он простоял за ним целую вечность. Но вот стюардесса поборола его, бросив на последнюю ступеньку трапа. И трап поехал в одну сторону, а самолет, стремительно удаляясь, — в другую...

Ах, знать бы точно, что с Натаном так произошло, то разбудить его — самое время. Пусть он очнется, обведет мутным взором сверкающие от солнца стены палаты, вернется в действительность. Пусть он увидит славное майское утро, и теплый ветерок, что колышет тюлевые занавески, просушит его слезы.

Да, знать бы только, на каком он сейчас моменте! И Фудым отстранился от кровати соседа, посмотрел на снежную, ослепительную вершину Синая, которая в это утро имела для него особую, притягательную силу.

Но размышлять он продолжал о нелепой и несчастной судьбе Натана Йошпы, хотя стоило это большого усилия воли, ибо, глядя на Синай, думать он мог только о Храме, Лейвике и скрижалях.

Говоря по правде, даже профессор Кара-хан, у ко-

того в журналах тщательным образом изложен весь случай с Натаном, даже он, добрый профессор, — всего лишь холодный соглядатай. Сердце Исаака разрывается на части от сострадания, когда он подумает о том роковом промахе Йошпы. Очаг болезни соседа ясен ему, как Божий день, безо всяких психоанализов. Искушение на то и есть, чтобы, от степени готовности к нему человека, наградить его или наказать.

Объявилась однажды у Натана тетушка. И не в каком-то, скажем, Усть-Каменогорске или Кременчуге, а в самой настоящей загранице. Жил себе на свете сирота Натан, сирота-сиротой, и нате вам — тетушка!

Решили родственники свидеться.

Прислала тетушка вызов по всем правилам. И надо бы тут заметить, что деньги на подобное мероприятие у Натана имелись. Да деньги не малые! Все интересные города и курорты в собственной стране он давно повидал, а съездить в эту самую соблазнительную за границу — страх как хотелось.

Итак, гуляли они с тетушкой как-то под вечер по городу. А точнее говоря, эта самая старушенция умышленно прогуливала племянника мимо дома одного по тихой улочке.

— А здесь, Натанчик, — сказала она, — очень пикантное заведение одно помещается... Очень пикантное для нашего брата! Не хочешь ли зайти, кое с кем познакомиться? Когда у тебя другой такой случай представится? Авось и решение примешь?

До смерти любопытный до всех пикантных мест в мире, Натанчик взял да переступил порог предназначенного ему искушения.

Был вечер, лампы в кабинете, вытянутые наподобие свечи, располагали к покою и умиротворению. А сердечность хозяина обескураживала, задевая за самое сокровенное, что хранил Натан, кажется, именно для таких людей. Консул, совсем еще молодой человек, показался ему точно мать родная, которая одного добра ему хочет. И до чего же легко было дышать одним воздухом с этим братом с другой планеты! Энергичный консул тотчас же приступил к делу. А когда Натан с трудом признался, что надо бы ему назад возвращаться, то консул пришел в отчаяние:

— Йошпа, брат мой, на что вы себя обрекаете, очнитесь! Вам же неслыханно повезло. В аэропорту как

раз сейчас стоит самолет, я вам место даю, и буквально сегодня вы будете у себя на родине настоящей!

И как Натану не было удивительно хорошо с консулом, он решительно помотал своей рассудительной головой:

— Нет, уважаемый и любезный, это никак не возможно! Так сразу, вдруг! На кого я покину жену и детей? Кому достанется мой дом, мой очаг, стоивший мне столько страхов и пота? А деньги мои?..

И чувствуя, как прикован он всей душой к деньгам в оставляемой им стране, Натан обратился взглядом к тетушке за сочувствием и поддержкой.

И та мудро прошамкала:

— Это верно, человек не щепка, не пушинка на изменчивом ветру!

Надо признаться, что при этом Натанчик сильно краснел от собственного вранья. Никаких детей у него не было. А жена была — татарка. И все это очень ловко он скрыл от тетушки. А дом действительно был. И весьма зажиточный, по понятиям его страны. Вот это-то самый дом оставлять ни с того ни с сего больше всего было жаль. Броситься сломя голову в незнакомый мир, который он знал по газетам?.. А ведь газеты его страны, мягко говоря, этот мир не очень хвалили.

Когда же Натан возвратился к своему очагу, его будто дожидались уже все карающие ангелы.

Галантерейный цех, в котором он состоял начальником, накрыли соответствующие органы. Ревизия обнаружила, что начальник крал, и крал с волчьим аппетитом. И следствие было потом. И камера-одиночка в сырых подвалах. И суд, как и положено. Дом его и имущество конфисковали до последней нитки. Жена, естественно, отеклась от вора, взяла развод, ибо влили ему на всю катушку — пятнадцать лет строгача, отправили в Сибирь, на шахты. Там-то и стали являться ему заграничные аэропорты, и начал он бегать за самолетами на родину. И довели его самолеты эти черт знает до чего. Был человек рассудительный и любопытный, а сделался душевнобольным.

Исаак же Фудым, как это всем хорошо было известно, давно проживал на родине. И не случись сегодня такой знаменательный день — окончание строительства Храма, — он бы уселся сейчас по своему

обыкновенно возле окна, целиком погрузившись в блаженное созерцание сияющей вершины Синая. И просидел бы он так до самого завтрака, пока не ударят в рельс, и не позовет его к себе профессор Кара-хан.

«Доходяга Лейвик знает, разумеется, что Храм мой готов, — говорил себе зодчий. — Готов и осталось внести только скрижали. Лейвик бродит уже где-то там, у подножия Синая, ждет меня. Я и сам жажду встречи с ним. Спешу, чтобы нам помириться. Мы взойдем на Синай, и Бог даст нам скрижали из рук в руки!».

Исаак облачился в полосатые шаровары, надел тапочки, поправил ермолку на затылке. Отметил с удовольствием, что сейчас он очень походит на Лейвика, когда они встретились у концлагеря Вульфвальде — Волчьего леса.

После той встречи он во многом стал походить на Лейвика. Можно прямо сказать — Лейвик во многом переселился в него.

Подумал еще так зодчий: «При их свидании под Синаем как можно больше вещей, вся обстановка, должны напомнить Лейвику те странные вечера у Волчьего леса. Им обоим легче будет вспомнить, что же произошло тогда между ними на самом деле? Ведь есть же оправдание у Исаака Фудыма за тот выстрел!»

Воссоздать обстановку ту во всех подробностях Исааку не так-то просто при всех его скудных нынешних возможностях. Огарок свечи у него припасен, буханка черного хлеба — тоже. Мундир с регалиями обещала принести после обеда женщина. Осталось побриться, принять душ.

По всем подсчетам Исаак предстанет у вершины Синая завтра утром.

Он вышел тихонько в коридор.

На полу была толстая ковровая дорожка, по обе стороны коридора стояла утренняя тишина.

Он дошел до вестибюля. И тогда мысли зодчего обратились к его врагам:

«В этом доме никогда я не ведал покоя, — говорил он себе, навсегда расставаясь с лечебницей. — Зачем, ответьте мне, понадобилось профессору поселить нас вдвоем в палату, предназначенную на дюжину больных? О, неспроста, совсем неспроста! Я знаю, до чего он желал докопаться: до Лейвика, Синая, скрижалей. Профессор объявил наши болезни исключительными. Выделил нам в столовой отдельный столик ка-

шерный, с усиленным рационом... Ему спустили на это особое правительственное указание! Если бы профессор и в самом деле желал нам добра, он бы давно оставил нас в покое. Особое внимание к нам со стороны администрации вызвало только зависть и ненависть у обитателей скорбного дома к обоим «палестинцам»: и тут, дескать, они сумели тепло пристроиться, ловкачи эти! А как эти люди мешали мне во время строительства!! Последний кретин путался под ногами, лез со своими советами... Что тут вспоминать? Слава Богу, все уже позади. Храм наш готов!»

Стояли в вестибюле два дивана, столик с телевизором. По вечерам собирались здесь больные, смотрели программы с позволения профессора. В программах этих ничего не должно было возбуждать нервы зрителей.

Потом сидел Исаак в кресле у парикмахера.

Тот едва пришел на работу, едва успел разложить инструмент на столике. Исаак был его первым клиентом в это утро.

Зодчий уселся поудобней, велел побрить себя. Хотел он еще и постричься, чтобы совсем походить на Лейвика у Волчьего леса, но прикинул разумно, что это вызовет ненужные подозрения у профессора.

Он глядел на себя в зеркало глазами Лейвика.

«Как же ты изменился с тех пор, капитан! Где он, самодовольный взор орденоносного артиллериста, прошедшего всю войну до Берлина? Куда подевалась твоя круглая, самодовольная рожа? О тебе, должно быть, говорит предание: кто убьет брата своего, с того взывается всемеро семижды семь».

После парикмахера он пришел к кастелянше тете Маше. Попросил свежего белья вне очереди.

Когда Лейвик возьмет его с собой на вершину, не предстанет же зодчий пред судом Всевышнего в полосатой пижаме или бранном мундире! Как старый солдат, он отлично знает: внешняя форма превьше всего! Он предстанет там, как и положено, — босиком, в белом одеянии.

И еще раз пришлось в это утро смотреть на себя в зеркало — в моечном отделении:

«Куда подевалась крутая и крепкая грудь твоя, капитан? Вот наденешь ты завтра мундир, и будет он болтаться на тебе, как на пугале огородном! Иссох ты весь от своих покаяний...»

Вернувшись в палату чистым и побритым, он нашел Натана Йошпу закутанным в простыню по самые глаза, сжавшимся в маленький трагический комочек. По-прежнему волновал теплый, весенний ветерок тюлевые занавески, но не просушил он мокрого лица соседа.

Фудым подсел к нему на постель, у него был план спасения Натана.

— Брат мой, — тихонько дотронулся он до трагического комочка. — Вы приземлились наконец в Галилее? Мне это страшно важно знать.

— Нет, консул, брат мой, — вскрикнул тот. — Я бежал за своим самолетом до конца взлетной дорожки. Я лег поперек полосы, но колеса прошли высоко надо мной, я даже не мог ухватиться за них, чтоб улететь мне.

Зодчий вскочил на ноги и в сильном волнении принялся бегать взад и вперед, заламывая руки.

— Ай-яй-яй, что же мне с вами делать, как быть с вами? Я же так вас просил вчера вечером — обязательно постарайтесь этой ночью приземлиться на родине!

Единственный человек на свете, кто был хорошо осведомлен о Лейвике, скрижалях и Синае, сиротливо отозвался из простыни.

— Консул, вы уходите без меня, бросаете брата в этой пустыне? Мне так хорошо было с вами! Я здесь сойду с ума в одиночестве, я умру...

Презрение к этому человеку без творческой жилки вылилось у Фудыма в одном язвительном выкрике:

— Ложитесь в одну постель с профессором Караханом! Может, он вам поможет сесть в самолет!

Натан Йошпа взвился в ответ на ноги, далеко отбросив от себя белую простыню. Голый, обросший густым, черным волосом, прыгнул он на пол. Обхватил ноги зодчего, осыпая их поцелуями.

— Не уходите, консул, не покидайте меня! Я буду служить вам как собака, я буду сторожем при вашем Храме!

— Я думал уже и об этом, — отвечал зодчий. — Это никак не возможно. Мы с вами живем в разных пространствах и измерениях. Вы же торгуете трикотажными майками... Что скажет завтра Лейвик, если увидит вас под Синаем? Я не встречал его у Волчьего леса, скажет он. Я не встречал его на родине...

Глядя снизу, из под ног зодчего, Натан Йошпа сказал загадочно:

— А вы никуда не ходите, консул. У меня такое предчувствие, что вам лучше остаться.

— Мой Храм, благодарение Богу, уже готов! — был твердый ответ.

— Я выдам вас профессору Кара-хану!

Ударом ноги зодчий поверг шантажиста во прах.

— Консул! Во имя вашего же спасения. Вы сами мне говорили — есть и такая жестокая логика: если надо спасти брата... Сам Лейвик говорил это, вспомните!

— История моя повторяется, — растерялся Исаак Фудым. — Лейвик действительно говорил так, но я стрелял в него за это.

— Тогда и меня убейте! — вскричал Йошпа.

— И убью! Тот, кто идет на родину, кто зовет за собой, тому и это позволено. Лейвик и этому учил меня.

Натан струсил, опять закутался в простыню. Потом забился на кровати в дальний угол и принялся выть оттуда.

Исаак решил использовать время, оставшееся до завтрака. Взял табурет, уселся напротив Синая, размышляя о Лейвике.

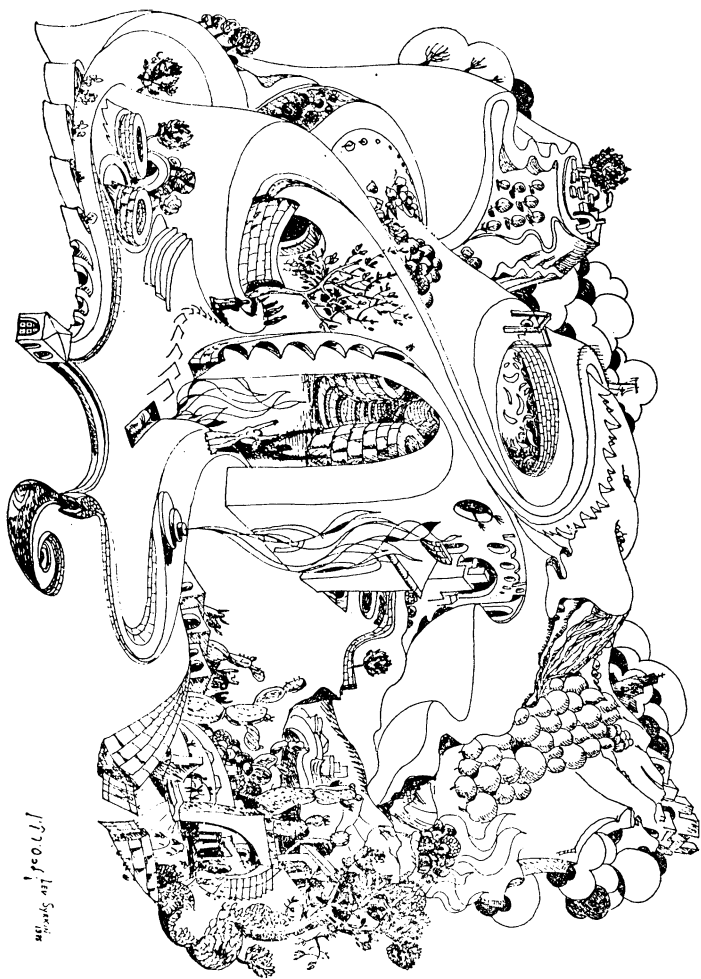
— Перестаньте скулить, Натан. Я буду думать о Лейвике!

— Не перестану, жестокий вы человек! Я буду лаять и выть, как и подобает отличной храмовой собаке. Вы еще горько пожалеете, что не взяли меня на службу!

Синай заслоняло множество преград. Первой была распутившаяся под окном акация, дальше шел высокий, каменный забор, обнесенный по гребню рядами колючей проволоки. А за ним была улица, откуда слышались скрипы проезжающих трамваем, вся городская жизнь, к которой Исаак Фудым был совершенно равнодушен.

«Ты и я, мы встретимся дома, на нашей родине, говорил ему Лейвик у Волчьего леса. Построим мы Храм, восстановим его во всем великолепии и славе. Мы найдем наши утерянные скрижали».

Да, именно так хорошо и говорил доходяга. И лицо его было вдохновенное... Что за странные вечера были тогда у опушки. И еще говорил он:



«Когда мы построим Храм, я хотел бы взойти на Синай, подняться на его святую вершину. Я не верю, будто скрижали утеряны безвозвратно. Бог забрал их туда, откуда и дал. А страсть исполнить эту мечту дала мне силы и мужество выжить в фашистском плену все эти годы».

Эта же самая страсть дала и Исааку Фудыму строить свой Храм в окружении врагов. И труд его завершен, оставалась самая малость. Итак, все будет завтра!.. Одно лишь досадно — Лейвик ни разу не появился на строительной площадке. Конечно, это не значит, что его нет на родине. Лейвик потому, может быть, не рубил со всем народом камни для Храма, что берег силы для восхождения. Ничуть не меньшее, чем Храм для Исаака, является и восхождение на Синай для Лейвика. Однако зодчий не чувствует себя ослабшим, закончив строительство. Наоборот, он с огромным воодушевлением примет участие в мероприятии Лейвика. Этого фанатика, учителя, доходяги.

Глава вторая

Сразу же после завтрака, едва больные стали возвращаться в палаты, на пороге «палестинцев» выросла атлетическая фигура медбрата, носившего кличку Господин Удав, за удивительные способности мгновенно усмирить даже взбесившегося быка.

— Фудым! К профессору!

В лечебнице было достаточно много любопытных случаев заболевания, вполне достойных научной работы, но профессор Кара-хан остановил свой выбор именно на Июшпе и Фудыме, применяя в исследованиях запрещенные официальной наукой методы психоанализа.

На этих двоих профессор испытывал заграничное новшество, а с Фудыма, на свежую голову, и начинал каждое утро свой рабочий день.

Профессор был в свежем, накрахмаленном халате, глядел на партнера поверх очков тяжелым пристальным взглядом.

Зодчий Великого Иудейского Храма опустил на стул допроса. Иначе он и не воспринимал всю эту фальшивую, вражескую обстановку. А ненавистные

тонкие резиновые перчатки лежали, как обычно, наготове у правого локтя профессора.

Был обычный, сердечный вопрос:

— Как мы чувствуем себя? Как спали?

— Нормально, профессор, спасибо! Вполне нормально.

— Голова не болела, камни в печени не беспокоили?

— Нет, профессор! Вы же знаете отлично, все мои камни в моей душе.

Но профессор не дал ему говорить о Храме, отвлекаться.

— Рад, что спали нормально. И что же, Фудым, были сны? Хорошие сны, надеюсь?

— Мои сны спокойны, профессор, вот только сосед мой Йошпа! У него то, что вы называете сумеречным состоянием души...

— Не надо о Йошпе, Фудым, Йошпа сам о себе расскажет. Сосредоточьтесь исключительно на самом себе. Не надо смотреть по сторонам. Не смотрите на эти перчатки, вечно они отвлекают ваше внимание. Пристально смотрите мне в глаза, смотрите пристально, Фудым.

И они встретились глазами. Профессор изо всех сил старался овладеть его вниманием, гипнотизировал. Это удавалось ему с большим трудом. В очках его стояли телескопические стекла, отчего глаза казались величиной с блюдце, что очень сместило Фудыма. А левый глаз профессора вообще был ужасно скошен к переносице, так что вся сила гипноза уходила попросту насмарку.

Сейчас подошло время сказать, отчего родилась у Исаака Фудыма вражда к доброму и смелому профессору Кара-хану. Почему он упорно скрывал от профессора Синай, Лейвика и скрижали.

Все заключалось в этих самых тонких резиновых перчатках.

Больной разрешал профессору свободно путешествовать по всем уголкам своей запутанной биографии. Вместе они вспоминали детство Исаака, насколько он мог его помнить. Вспоминали войну, те самые три буханки черного хлеба, из-за которых угодил капитан Фудым в Сибирь, на каторгу. И как били его по голове молоденькие пограничники, когда он вышел на волю и решил бежать через афганскую границу. И все о

Храме, ибо великий Храм никак нельзя было скрыть от людей. Храм сооружался во дворе лечебницы, как раз между отхожим местом и скотным двором. Никто, понятно, Храма его и в глаза не видел. Храм этот строился в одном воображении гениального зодчего, который в любую погоду, в зной и стужу, пропадал на строительной площадке. У зодчего хронически болела голова, по которой его сильно били молоденькие пограничники прикладами, часто болела печень... Мало ли что может болеть у пожилого человека, истощенного напряженным трудом? Но никогда он не жаловался профессору на свое состояние, ибо было однажды открытие, потрясшее подозрительного зодчего до самых оснований его души.

В тот раз профессор обнажил его по пояс, велел лечь на кушетку. Начал ему мять живот, щупать:

— Здесь не болит? А тут не беспокоит?

И говорил он это с таким участием, таким теплым, материнским голосом, что больной вдруг расчувствовался до горячих слез. Он никогда не подозревал, что на свете может быть подобная доброта, сострадание к человеку. Такого Фудым ни разу не встречал в своей суровой жизни. И когда он схватил было руку профессора, чтобы осыпать ее благодарными поцелуями, то ужаснулся. Руки профессора были в перчатках! Как он позволил так обмануть себя? Почему доверился? Неужели профессор не знает, что не словом, а прикосновением обнаженной руки вливается в человека твое самое сокровенное содержание? Любовь нельзя передать через перчатки! А значит, профессор лгал, Фудым сам придумал его доброту! И с той минуты зодчий сделался подозрительным, перестал ему верить. И шаг за шагом убеждался в истинных намерениях профессора, разгадал в нем злейшего своего врага. Сколько потом ни старался профессор, не мог он уже добраться до очага болезни. Добраться до очага вместе с больным, чтобы тот его увидел и, поняв, излечился бы разом. На этом и стоял знаменитый принцип психоанализа.

Исаак Фудым пускал профессора свободно разгуливать по всем дорогам своей души, но едва доходило у них до тех вечеров у Волчьего леса, до Лейвика, — вилял, мутил воду, а сны придумывал.

Профессору показалось, что он овладел наконец вниманием больного.

— У вас свежий вид, — сказал он. — Сегодня вы отлично выглядите. Можно полагать, успешно продвигается строительство. Скоро вы его кончите?.. Чем же мы займемся потом?

Зодчий с большим удовлетворением отметил, похвалив себя, как умно с его стороны было не трогать прически. Постригись он утром наголо, под Лейвика у Волчьего леса, это сразу насторожило бы умного профессора Кара-хана. Враг догадался бы о побеге. Он приставил бы к их палате это чудовище Удава, и... прощай Синай, прощайте скрижали.

— О, профессор, должен признаться, со строительством дело обстоит безобразно плохо, — начал зодчий. — Народ не исполнил и половины намеченных работ. Пришел в Иудею месяц ияр, самый неподходящий для строительства. По всей стране секут ливни, период затяжных непогод. Дороги везде размыты. Обозы застревают в пути. Обозы с пиломатериалом не в силах одолеть и малый холмик, не говоря уже о головокружительных тропинках в диких скалах. И стали поступать сведения, что рабочие расходятся по домам, покидают забой в каменоломнях. Народ этот нанят сплошь из сельского люда, вот и разбредаются они по хозяйствам и сельбищам готовиться к весенним трудам. Мне же в отчаянии этом впору дойти до греха. Я уж думал сегодня ночью: не пойти ли мне к инородцам, к сынам Исмаила, не вербовать ли среди них рабочую силу. Им-то что, язычникам этим, лишь бы платили прилично! А мне на том свете голову оторвут за подобное кощунство! Ах, профессор, профессор, что говорить! Столько черствости в моих иудеях, столько эгоизма! Не поступает в достаточном количестве свинец, пиломатериалы. По ходу работ приходится заменять и десятников, и многие сметы и наряды. Бездна хлопот! Дай-то Бог дойти мне в этом году хотя бы до кровли. Я не осмеливаюсь говорить уже об отделочных работах. О, тут мы воспрянем! Тут поменяем весь штат мастеров, выпишем специалистов из-за границы. Тут я буду ходатайствовать перед правительством о выделении дополнительных ассигнований — нечего им жмотничать! Да, профессор, отделочных работ я жду с особым удовольствием. Тут у меня припасены такие идеи, что всякий, кто явится под стены Храма, ахнет и удивится.

Профессор Кара-хан был в сильнейшем затрудне-

нии. Каждый раз, когда зодчий так искренне делился своими заботами, он явно впадал в тоску.

— Не нравится мне Храм этот, Фудым. Не лезет он ни в какие ворота. Ломаю себе голову и не пойму, что это за комплекс? Послушайте, милый, а может, его нет, может, Храма никакого не существует?

— Как же так, профессор!? — обиделся зодчий. — Как вы смеете говорить подобное? Вы знаете, Храм поглощает меня целиком. Я так много о нем рассказываю вам. Храм обязательно есть, от этого никуда не деться.

— Да, да, милый, конечно же, существует! — поспешил утешить больного профессор. — Вот вчера вы рассказали мне замечательный сон, помните? Я бился над ним всю ночь — классический комплекс неполноценности! Но Храм? Откуда он взялся у нас? Этого, убейте меня, никак не уразумею!

Зодчий усмехнулся и с большим достоинством ответил:

— Сами вы говорили, профессор, что «палестинизация» — штучка новая и хитрая, вещь очень уж странная. Вот и надо бы понимать, что навверчено у меня такое, что только и расхлебывай. Одному вам трудно. Вам бы привлечь к этому делу большой штат таких же умных и проницательных людей, как вы сами. Сдается мне, что все-таки вы не одни, есть люди, что вам помогают тихо и незаметно. Признайтесь, профессор, есть, а?

— Опять вы, Фудым, об агентуре? Не надо, это вас недостойно! Не разменивайтесь на пошлости. Вот вам карандаш, вот бумага. Изобразите-ка, лучше, как он у вас выглядит, Храм этот? О общих чертах хотя бы?

Но зодчий карандаш от себя отодвинул.

— Вам же известно, профессор, что Храм — это святыня. А пророки нас учат делать ограду вокруг святынь наших.

— Ну, ну, Фудым, — обиделся профессор. — Вы уж и впрямь в мистику ударились. Как же вы хотите меня убедить, что Храм существует, если никто его и в глаза не видел?

— А я и не пытаюсь убеждать никого, что Храм мой существует. Мне было бы гораздо покойней, чтоб никто о нем ничего не знал. Но покуда я строю его на вашей территории, и ежедневно вы видите меня в хло-

потах и заботах, тут уже ничего не поделаешь. Я должен вас информировать обо всем.

Кончиком карандаша профессор почесал у себя за ухом.

— Кто мне может помочь, как не вы, Фудым? С чего это вдруг капитан артиллерии, орденосец, бывший зэк, современный, коротко говоря, человек, строит вдруг некий Иудейский Храм?

— Храм у народа должен быть! — решительно ответил зодчий. — Без Храма нам никак нельзя. Попробуйте, профессор, построить свой храм, и я ручаюсь, какой возвышенной сделается душа ваша.

Сам же Исаак Фудым думал сейчас так:

«Ни в какой очаг тебе не проникнуть, профессор. Ни тебе, ни твоей агентуре. Все вы идете по ложному пути, на который я вас навел. Я сам дойду до очага болезни, сам разрушу его. Завтра услышу одно лишь слово Лейвика: да или нет! Если он слышал звук выстрела, значит, пуля моя не убила его, если нет, стало быть, Лейвик мертв. Вот и все, и не надо мучить меня дурацким психоанализом, знать непременно мои сны! А если очень тебе хочется знать, что у меня за комплекс, то, думаю, скорее всего тот же комплекс вины, комплекс раскаяния. Как повествует предание: и не дам я убийце покоя ноге его!»

Профессор продолжал вести сеанс в нужном русле.

— Вспомните, Фудым, когда впервые пришло вам в голову строить Храм. Вспомните детство, игры в песочек, карточные домики, песчаные замки! Было такое?

— Я уже рассказывал, профессор: после того, как меня били прикладами на границе.

— Помню, говорили! Ну, а служба в армии, вспомните войну.

— На войне мы только разрушали храмы...

— А после, в Сибири, в лагере? Быть может, вы стремились построить себе отдельный барак, собственную землянку?

— Нет, профессор. В лагере мы валялись на нарах. ничего подобного мне не хотелось. Опять повторяю: после того, как поймали меня на афганской границе и не пустили идти на родину.

— Итак, Фудым, — смиренно согласился профессор. — Живете вы сейчас на родине и строите иудеям Великий Третий Храм?

— Абсолютно верно, профессор!

— Скажите же, милый, почему же вам не собирать камни и в самом деле? Постройте нам что-то настоящее, практически полезное. Вам это было бы трудотерапией, и мы бы пользу имели. Все бы видели, что именно вы строите. Вот я велю завезти в лечебницу пару машин кирпича, цемент, шифер... Отстройте нам заново вольер для кроликов, загоны для ослов. Ведь наши животные, можно прямо сказать, родные вам братья по крови. Из них мы берем сыворотку для уколов, излечиваем вас.

— Я уже строил для лечебницы, — сказал зодчий. — И что вы сделали из моих камней? Помойку для столовой?!

— Наглые повара понесли достойное наказание, — сурово ответил профессор.

И понял, что разговор их сбился на амбицию, на старые обиды. Разговор уходил в совершенно ненужное направление.

— Итак, милый, вы утверждаете, что Храм ваш живет в одном вашем воображении. Каждый камень, каждое бревнышко имеет свое назначение. Всегда вы знаете, в каком состоянии строительство объекта?

— Ничего удивительного в этой работе не вижу, — возразил зодчий. — Моя работа чуть ли не детская возня по сравнению с феноменом Шаповаловым из сорок первой палаты. Вспомните, профессор, как сыграл однажды инженер Шаповалов блиц-турнир в шахматы. Его посадили спиной с завязанными глазами против двадцати сильнейших наших игроков. Ему выкрикивали только ходы, и, представьте себе. Шаповалов не спутал ни одной позиции, не забыл положения фигур ни на одной доске. И что же мы имели в итоге: шестнадцать партий выиграл, две ничьи, и только две сдал.

И оба они помолчали, удивляясь про себя феномену инженера Шаповалова из сорок первой палаты.

— И все же я убежден, что Храма построить вы не можете, — упорствовал профессор Кара-хан. — У вас нет необходимого архитектурного образования. А о каком-то Иудейском Храме, павшем двадцать веков назад, во всем прогрессивном мире и память изгладилась. Откуда вы можете знать, как он выглядел, этот Храм, если вы взялись отстроить его заново? Сооружаете вы себе там какую то глупость, наподобие ку-

риноho насеста, и выдаете всем за нечто значительное. Так ли, Фудым?

— Я уже говорил, профессор, не смейте и словом осквернять Храм Иудейский. Если он и стоит на вашей территории, это не дает вам еще права хулить его. Я буду писать жалобы в международные суды и инстанции о том, что тут ущемляют нашу национальную самобытность. Не издевайтесь, прошу вас. Я вам обещаю, когда мой Храм будет готов, я заберу его отсюда и отнесу туда, где он и должен стоять. Я подарю его моему народу.

Тут зодчий вовремя спохватился и умолк. Он совершил еще один непростительный промах — дал явно понять, что готовится к побегу. И спасти его может одно: профессор давно, слава Богу, привык ко всяким заносам его неудержимой фантазии, и, может быть, не придаст значения этим словам.

— Простите, милый, беру свои слова обратно, — с удовольствием начал профессор. — Давайте-ка лучше приступим к анализу вашего сна об овцах, льве и пустыне? Разбирать станем как обычно: сначала я его зачитаю, затем вернемся толковать наиболее выпуклые и значительные детали. Могу вас обрадовать — это один из лучших снов, что вы рассказывали. Весьма примечательный сон, я славно над ним потрудился.

Сразу бы надо заметить, что именно этот сон Исаак Фудым считал самой неудачной своей выдумкой. Многие его символы могли навести профессора на мысль о существовании Лейвика. А там, волей-неволей пришлось бы до конца разоблачаться. И зодчий призвал на помощь все свои силы и бдительность, чтобы быть начеку и путать профессору любые догадки.

Профессор снял с носа телескопические очки, а тетрадь так близко приблизил к глазам, что сделалось прямо-таки страшно и дурно.

«В раннем младенчестве я себя не вижу, не помню. А помню, что на краю пустыни нашли меня овцы и усыновили. Большое стадо кротких, покорных овец. Помню, что очень пришлось я им по душе, и они, в свою очередь, охотно обучали меня своим нехитрым повадкам: как спастись от шакалов, где искать вкусную, сочную траву, как лучше нагуливать жир. А больше всего — угождать волкодавам, нашим хозяевам и покровителям.

Потом я подрос. С меня тоже стали стричь шерсть, как с моих братьев. Но больше следили, чтоб стал я тучным. Помню, что именно тучным мне меньше всего хотелось быть. Я подметил, как наиболее тучные братья один за другим исчезают из стада. Именно тучные! Когда я спросил наконец, куда же они исчезают, вожак очень на меня рассердился: «Ты овца, тебе ни о чем не следует спрашивать. Не надо думать об исчезнувших, им там очень хорошо на новом месте. Думай сейчас о себе, будь примерной овцой. Радуйся солнцу, травам, жизни, нашей прекрасной пустыне. Твои мысли идут тебе только во вред. Смотри, как отощал ты от своих размышлений! Какая грязная и короткая шерсть на тебе, ребра твои срамно выпячивают». И сделав мне строгий выговор, вожак снова затолкал меня в самую середину стада. Помню, как после сильных дождей мы оказались однажды на самом краю пустыни. Волкодавы пригнали нас на очень сочные пастбища. Все кругом было побито, одной травы было вволю. Волкодавы почему-то стерегли здесь каждый наш шаг. Глаз не спускали с нас. Помню, был полдень. Из-за бархана вышел лев и направился прямо ко мне. От страха я повалился на землю и закрыл глаза. Тут я услышал голос: «Брат мой, вставай! Почему ты поджал хвост и блеешь, лежишь на земле и мочишь под собой от страха? Перестань скулить так, ты же лев!» А я ответил: «Нет, царь, не говорите так, я вам не брат! Я овца, овца...» Тогда он поставил меня на ноги, укрепил на гнущихся коленях. «Тебя обманули! Пойдем, я покажу тебе, кто ты. Увидь свой истинный облик!» И лев привел меня к луже с чистой, зеркальной водой. А я все дрожал, и блеял, и когда заглянул в лужу, то увидел там льва».

Профессор очень выразительно закончил чтение, даже с каким-то пафосом, будто сам пережил такое. Надел очки, а тетрадь с этим дурацким сном продолжал держать в руках.

— Чудные символы, — сказал он. — Большое удовольствие было с этим работать. Хочу похвастать: без определенных исторических познаний мне бы никогда не подобрать было ключи к вашему сну. Допус-

каю, что некоторые догадки притянуты будут за уши. Но — риск и фантазия, вот девиз психоанализа! Быть может, я ошибусь где-то, так вы следите внимательно, Фудым. Итак, большинство населения этого сна уберем сразу на второй план. Центральная фигура тут, несомненно, лев. Это он делает вам в жизни величайшее открытие, откровение, без чего ваша предыдущая жизнь была подобна жизни животного. Встреча эта — озарение. Она выводит вас из оцепенения, из обмана и заблуждения. Кто же он, этот необыкновенный человек, вышедший вам однажды навстречу, как истинный брат?

Профессор сделал паузу, полагая, что Фудым внимательно следит за нитью этого следствия. Однако партнер выглядел равнодушным. И чтобы не потерять мысль, профессор продолжал:

— В одной весьма непримечательной детали, мне показалось, заключен серьезный смысл. Тут-то и пригодились мне эти познания о бродячей судьбе вашего народа в целом. Вот мы имеем два отчетливых напоминания о крае пустыни. Первый раз вы упоминаете об этом в самом начале: «...на краю пустыни нашли меня овцы и усыновили!» Как всем это известно, народ ваш много раз жил в чужих владениях пришельцем. Другие народы и нации давали приют вам, усыновляли. Прав я, Фудым? Конечно же прав! Во второй раз, когда из-за бархана выходит лев, вы снова стоите на том же самом краю пустыни, на границе с некогда утерянной родиной. Понимаете, куда клоню я? Не побегли это к афганской границе? Сознайтесь, Фудым, есть тут нечто такое? Во второй раз на краю пустыни царит очень сложная обстановка. Побито все живое, много сочной травы, обильная пожива. Но в то же время — буря, следы разрушений! И эти самые псы-волкодавы особенно начеку. От каких таких опасностей и соблазнов стерегут вас? Не молчите, Фудым, это очень важное место, помогайте мне! Насколько мне известно, львы обитают, преимущественно, в сердце пустыни, в оазисах. Похоже, что брат-лев приходит к вам именно из оазиса. Но буря! Поэтому будем ставить условие, будто во время бури оазисы очень пострадали. Появление этого человека обусловлено временем каких-то катастроф. Что это было за время такое, Фудым? Не молчите.

— Не знаю, профессор, — вяло ответил тот. —



1910.1
L. S. SYKIN

Быть может, война или конец войны. А может, Сибирь, лесоповал. Я всегда жил в мрачное время, вся моя жизнь — катастрофа.

Исаак Фудым не на шутку струсил.

«Невероятно, — твердил он себе. — Отказываюсь верить ушам своим! Не может быть, чтобы профессор дошел так далеко без помощи своей агентуры! Он вплотную стоит перед Лейвином».

— Вы уже живете на родине, — продолжал поражать его профессор. — Брат-лев сделал вам открытие и исчез. Дальше о нем ничего не сказано. Сон ваш обрывается на этом. Куда он потом исчез? Если опять ставить условие, можно допустить, что между временем, когда вы подошли к луже и увидели свой истинный облик, и тем, когда вы осознали это, прошло много времени. Брат-лев мог сделать вам это открытие, но осознать его пришлось уже вам самому. Скажите, Фудым, есть тут нечто похожее?

— Простите, профессор, ваши тонкие умозаключения очень меня утомили, — признался тот. — Вы ведь знаете, я имею дело с грубым камнем, с сельским человеком, я давно отвык от тонких мыслей. К тому же меня много били по голове. Я обещаю вам на досуге подумать над всем этим. Быть может, завтра мы настоящему сумеем продвинуться к очагу болезни.

— Согласен, Фудым. Позанимаемся завтра. Я вижу на вашем лице следы глубокого утомления. Ступайте к своему Храму, работайте. Но помните, я искренне желаю вам скорого выздоровления. Я не щажу на это своего времени и своих трудов. И не молчите так глухо, как сегодня. На наших занятиях взаимная открытость совершенно необходима.

Глава третья

Лгал Исаак Фудым профессору Кара-хану, своему доброжелателю. И льстил, как вы помните. Именно так и льстит затравленный миром человек своему злейшему врагу. Мutil воду и вводил в заблуждение.

Когда же появился лукавый зодчий во дворе лечебницы, вздохнул всей грудью сладкий весенний воздух, на лице его не было и тени скуки или усталости. Напротив, каждый нашел бы его свежим и отдохнув-

шим. Так и должен выглядеть сильной натуры человек, сохранивший среди суеты и порожных разговоров силы для самого важного.

Во дворе, на коротких асфальтовых тропинках были скамьи. Тихо беседуя, сидели тут обитатели скорбного дома, читали газеты, журналы, слушали транзистор из чьих-то рук. Были тут и игроки в шахматы. А многие просто прогуливались взад и вперед, греясь на теплом, ласковом солнышке.

Тотчас же кинулись к зодчему два человека, будто давно дожидались, когда он выйдет от профессора к Храму.

Один из них — арабист Баба-алиев, проживал в настоящее время в Дамаске, в халифате древних Селевкидов, был большим знатоком легендарной Пальмиры. Другой — русоголовый плотник Шохин, утверждал, будто был он одним из мастеровых умельцев, рубивших собор Василия Блаженного, что и поныне стоит в Москве, чуть ниже Лобного места. Оба этих агента покоя не давали бедному зодчему Третьего Иудейского Храма. Оба выдавали себя за страстных болельщиков строительства, лезли к нему со своими советами. Исаак же Фудым видел их насквозь. Яснее ясного: профессор велел им вынюхивать ежедневно, не идет ли строительство к завершению, а значит, подделываться под образ всех его мыслей.

Почтительный, кругленький арабист сложил по восточному руки, отвесил поклон до самой земли.

— Приветствую вас, несравненный усто! Позвольте обратиться ничтожному рабу, почитателю редчайших талантов моего господина!

— Я весь обратился в слух, мудрейший Баба-али, — ответил зодчий, знакомый малость с нравами древнего Дамаска. — Я готов внимать вашим советам с благодарностью. Вы мало являетесь людям, поэтому с вами беседуют ангелы.

— Сегодня ночью, несравненный усто, ваш раб имел удовольствие гулять по базару Пальмиры — сукку Хаммадие. И совершенно случайно встретил вашего коллегу, величайшего зодчего мусульманского мира самого Аль-Шамуни, зодчего мечети текка Сулеймани. Так вот, — таинственно зашептал этот шпион и пройдоха. — Покуривали мы кальян, попивали крепчайший кофе, и, представьте себе, господин мой, какая радость, какая удача! Мне удалось разузнать се-

крет изготовления майоликовых фресок. Великий усто, я готов поделиться с вами этой тайной. Она пригодится вам, когда дойдете до орнаментов зодиака. Ведь я тоже полон желания, чтоб Храм ваш сиял на Востоке, как луноликая пери в садах Аллаха.

— Желанный друг мой, любезный Баба-али, примите горячую благодарность от всего народа Иудеи, — ответил Фудым с повлажневшими глазами и расстроганным лицом. — О, любимец пророков, мы непременно воспользуемся секретом изготовления майоликовых фресок, когда дойдем до орнаментов зодиака и символов каббалы. Но, к великому огорчению, дела мои сейчас плохи. Я предполагаю законсервировать строительство на неопределенный срок. Пришел в Иудею трудный месяц ияр, по всей стране секут ливни, обозы застревают в пути, и народ покидает забори. Когда придут благоприятные времена, я непременно призову вас в совет архитекторов, мудрейший Баба-али. Я призову и вас, любезный самоучка, умелец, — обратился он к Шохину, чтобы сразу от обоих отвязаться. — Ваши советы, топорных дел мастер, неоценимы для всего народа Израиля в его звездный час воссоздания главной святыни. Дорогие друзья мои, горькая скорбь теснит мне грудь. Сейчас я иду к людям сообщить о прекращении всех работ, я должен покинуть вас, поспешая к Храму.

И со слезами на глазах зодчий отвесил поклон продажной шкуре из древнего Дамаска, сердечно обнялся и трижды почеломкался, чтя кондовые повадки боярской Руси, с мастеровым топорных дел Шохиным.

В ту минуту, когда затравленный врагами и соглядатаями великий зодчий свернул на тропинку, ведущую к уборной, он сразу оказался под грандиозными стенами своего творения.

В этот же самый миг Господин Удав кликнул к профессору Кара-хану Натана Йошпу, человека, обреченного умереть из-за своего скудоумия в далекой, чужой стране. Именно этой, последней, ночью у него не хватило сообразительности приземлиться в Галилею. Одно лишь мгновение подумал зодчий о предстоящей беседе профессора с его соседом по палате — не выдаст ли бывший начальник галантерейного цеха его побег к Синаю? Но тут же забыл обо всем на свете, увидев Храм и охваченный безумным восторгом.

Да, лгал добрым людям лукавый зодчий о предполагаемой консервации строительства. Вводил в заблуждение, не гнушаясь хулить свой народ и свое правительство.

И вправду, стоял на Святой Земле трудный месяц ияр, самый неудобный для тех темпов, с какими строили иудеи свой Третий Храм. Свистели, крутились по стране песчаные хамсины вперемежку с дождем и градом. И размыты были дороги, тяжело приходилось многочисленным обозам одолевать на пути в Иерушалаим смрадные болота с ползучими библейскими гадами, кручи над пропастью в больших и малых горах. К тому же великое множество проходимцев и шарлатанов являлись под стены Храма, выдавая себя Бог знает за кого! То это были современники царя Соломона, то люди Нехемии-пророка, люди Второго Храма. И лстили зодчему: «В наши дни не знали подобного энтузиазма!» Клеветал на народ свой зодчий, обвиняя соотечественников в черной неблагодарности. Точно, стоял в Иудее месяц ияр, и надвигалось время весенних работ, разбрелись по своим сельбищам камнерубы и древовалы. Но лишь потому они разбрелись, что отпустил их сам зодчий, ибо труд свой и долг перед предками Израиль достойно исполнял.

Но, скажем, будь и не так, — если бы, скажем, камней для Храма еще потребовалось, народ бы сумел и в карьерах стоять и в поле пахать тракторами. Одной рукой здесь, а другой там. И не роптал бы никто! Головой поручился бы зодчий — нет, не роптал бы.

Лгал он еще про пиломатериалы, свинец, мастеров. Что свинец, когда стар и млад несут на алтарь своей славы серебро и золото и редкий камень! Несут и несут, и золота у совета архитекторов скопилось больше, нежели было оно у царя Давида, когда копил он его для Первого Храма. Больше, пожалуй, чем было оно у Шломо, сына Бат-Шевы, любовника козлоногой Офирской красоты, в зените его могущества. Свинца у зодчего достало бы на десять храмов, на башню Бав-эль, возьмись он ее повторить.

А дерево имелось такое, что могло лишь присниться профессору Кара-хану в самом дивном сне. Это там, в Сибири, в стране придуманных снов, зовут дерево пиломатериалом, кличут так по-блатному. В какой-то жизни и сам зодчий валил сосны в Сибири, отправлял из лагеря вагонами. Здесь же, в Иудее, имелось под ру-

кой самое благородное дерево, какое только производит лицо земли. Дерево это, может быть, известно таким знатокам, как арабист Баба-алиев, завсегдатаям сукка Хаммадие — базара легендарной Пальмиры: ливанский кедр, пахучий сандал, редкий ситтим...

Ах, лицемерными были и жалобы зодчего, человека с запутанной биографией, дойти до храмовой кровли хотя бы в этом году. Кровля, благодарение небу, давно была готова, и венчала ее золотая менора, могучее древо-семисвечник.

И не пришлось ни разу идти на поклон к заморским умельцам. В среде своего народа нашлись мастера, у которых кому угодно не стыд было бы поучиться. Сколько ни пристаивал поэтому самоучка Шохин к зодчему со своими услугами, он, в лучшем случае, отправлял того помахать топором в эвкалиптовых лесах Эфиопии, или же порубать кактусы в окрестностях Ашкелона.

Оказавшись сейчас под стенами Храма, зодчий забыл даже покаяться за все эти грехи. Забыл, как несколько минут назад оболгал Всевышний Престол, прося помощи дойти до отделочных работ. О, лицемерный зодчий, судьба неслыханно щедро отнеслась к нему! Отделочные работы он завершил еще прошлым летом. И удалась отделка блестяще, во всем соответствуя гениальной мысли. И поражался каждый, кто являлся под стены Храма, кто видел роспись и лепку.

Пришел великий час: этой ночью он заберет его в душу и доставит готовым на родину. Там, где и приличествует Храму стоять. А не здесь, на вражеской территории.

Стоит упомянуть, что заблуждался добрый профессор Кара-хан, сомневаясь в архитектурной подготовке своего партнера по психоанализу.

Зодчий действительно не кончал специального факультета. У него вообще не было никакого диплома о высшем образовании. Храмы Исаак Фудым видел во время войны, когда катил по Европе со своим оружейным расчетом и делал свое дело солдата. Но те католические и православные храмы, которые мог лицезреть он в ту пору, ничего общего не имели с Третьим Иудейским Храмом, новехонько сверкавшим сейчас во дворе скорбного дома. К чести зодчего надо бы заметить, что и у Волчьего леса Лейвик даже словом не обмолвился, каким надо возводить Третий Храм.

Что надо забирать его в душу и нести с собой. Лейвик обронил тогда мимоходом пару слов о скрижалях и Синае, и все. Быть может, увязись тогда капитан артиллерии с этими доходягами в Палестину, они могли бы ему по дороге сообщить кое-какие сведения по части религиозного зодчества. Да, пойдя он тогда с ними, вообще не пришлось бы стоять Храму посреди скотного двора, возле отхожего места. И не было бы в жизни зодчего смутных воспоминаний о трибунале, не били бы его прикладами на афганской границе. Но все это было, было! И мучает порой память бедного зодчего, и есть этот Храм, от которого не отмахнешься, который готов и надо идти с ним на родину. И есть еще лютый враг, так и не уразумевший, откуда у этого чудака могут взяться столь обширные познания о своем народе?

Не мог знать профессор-новатор, что там, в Сибири, на лесоповале зэка Фудыма окружали не только тайга и тундра. А ночью на нарах ночевали с ним не одни лишь мерзкие насекомые. Профессор толковал придуманный сон в одной лишь плоскости догадок. А сон этот об овцах и льве многомерен, точно притча-предание.

Если в Сибирской тайге тебе удалось заглянуть в лужу и вместо облика овечьего распознать в себе облик львиный, то никогда в жизни ты не вернешься опять к овцам. Кто однажды почувствовал себя сильным, тот никогда ощущения этого не забудет. Человек станет гнуть прутья своей клетки, рвать на себе живое мясо, кидаться на волкодавов и уйдет-таки к братьям-львам.

И если выйдет у человека неудача, как вышло у Фудыма — поймают на афганской границе, будут бить и отдадут в скорбный дом, — то и тут он найдет выход. Тело его останется с овцами — стригите шерсть, режьте на мясо! Зато душа! Душа его поселится на родине, и помогать ей он будет изо всех сил. Он Храм станет строить!

В толковании этого сна профессор далеко и прозорливо подошел к истине. Нет, не у Волчьего леса открылись у Фудыма глаза. Свои лучшие зерна доходяга бросал тогда в еще каменистую, бесплодную почву.

Это в Сибири, на нарах, заглянул Исаак Фудым в лужу с зеркальной водой.

Они собирались на нарах, ночи напролет шептались, шептались. Делились познаниями, короче — кончали факультет своего народа.

Срок у Фудыма был самый большой: «измена родине!» Срока этого вполне хватило на приобретение обширных познаний в библейской истории, истории диаспоры, в теологии и светской литературе.

Братья-львы один за другим погибали в жгучих снегах, умирали на шпалах — не повезло братьям. А Фудым вышел живым, как и Лейвик в свое время. И, как Лейвик, попробовал идти в Палестину, но не дошел.

Зодчий легко взбежал на верхние ступени, точно на крыльях взлетел он на верхнюю площадку перед колоннадой, — поскорей убедиться, что за время его вынужденной утренней отлучки люди работали согласно всем его указаниям.

Так и было. Вдалеке укладывали последние плиты задней площадки, выносили последние корзины строительного мусора.

Он вошел под колонны, в тяжелые, настежь распахнутые ворота, кованные из благородной бронзы.

Никакого убранства в Храм еще не вносили. Шаги человека, шедшего по каменным плитам, гулко и многократно повторялись в потолках, сводах, во множестве больших и малых помещений.

С верховными властями раввината все уже было оговорено. Пока не прибудет ковчег со скрижалями, — в Храм ничего не вносить. Фудым и Лейвик принесут скрижали, поместят их в золотой ковчег с золотыми крылатыми ангелами, начнется празднество, торжество освящения Храма.

А сейчас, перед отбытием к Синаю, зодчий в последний раз желает взглянуть на свое произведение.

Быстрым, решительным шагом пересек он центральный зал служб, достиг места, предназначенного для ковчега.

Он стоял сейчас в Святая Святых, лицом к лицу с Законом, на первом камне, что положен был Богом в фундамент мира.

Зодчему почудилось, будто рядом с ним встала тень учителя.

«Видишь, — сказал он ему, — я воздвиг Храм, как ты мечтал! Храм мой готов, завтра ты найдешь

меня под Синаем. И вместе мы пойдем за скрижалями. Меня пугает одно: я ни разу не встретил тебя на родине. Нет, не подумай, что я в обиде на тебя, что вместе с нами ты не рубил камни. Но почему ты не открыл мне хотя бы своего лица? Почему не утешил? Я хочу встретить тебя живым, убедиться, что я не убил тебя, что вы целыми и невредимыми дошли тогда до родины».

Глава четвертая

— Твоего отца зовут Авраам, а я Сарра, жена его! Вспомни же нас! — говорила, всхлипывая, шпионка.

Слез Исаак Фудым терпеть не мог. Он вообще впадал в ярость при виде слез. Он не выносил ни истерик, ни припадков. Но на женщину эту пока не злился. Он действительно не понимал, о чем она его просит вспомнить.

— Нет, женщина, имен, которые ты называешь, я не знаю!

Прижимая ко рту платок, она сдавленно зарыдала.

— Боже мой! Он не хочет вспомнить родителей? Портной Авраам — отец твой, а я мать, Сарра!.. Они столько били тебя по голове! Мальчик мой, сыночек!

Свидание проходило на мягком диване, за телевизорным столиком. Напротив, на другом диване, дремал Господин Удав. Ему вменялось в обязанность следить за свиданиями. На стоны и всхлипывания Удав приподнял голову, поглядел на обоих одним, чуть приоткрытым, глазом.

— Гражданка Фудым, я выгоню вас к чертовой матери. Вы что, на похоронах? Прошу не нервировать больного, и так свидаетесь в неположенное время.

Женщина виновато закивала, быстрым движением смахнула свои слезы.

— Спасибо, Славик, спасибо! Простите меня, старую дуру!

Удовлетворившись этим тактичным, разумным ответом, Удав опять прикорнул на подушечке. После обильного обеда его клонило ко сну. По расписанию был сейчас мертвый час во всей лечебнице, лишь эти двое вынуждали стража бодрствовать. В палатах царил безмятежный покой.

— Мундир принесла? — осоведомился Исаак.

Она молча передала ему под столом авоську, где в газетной бумаге находился тугой сверток.

— А медали?

— Медали на кителе.

Потом опять начала:

— Что ты задумал на сей раз, Исаак? Почему забираешь и эту последнюю память о себе? Я много лет хранила этот мундир, часто вынимала, чистила, пересыпала нафталином. Мы с Авраамом смотрели на него, видели в нем тебя. Исаак, ты снова уходишь в горы?

Зодчий абсолютно все помнит из своей жизни. Но никак не может уразуметь, кем приходится ему эта женщина! Помнит, как вернулся из Сибири — страны снегов и тайги. Жил потом в чьем-то доме. Потом тайно отправился в горы, где живут в аулах таджики, скрывался в скалах. Помнятся ему заснеженные вершины, ночь и черное небо в звездах. Помнит, как били его пограничники, юнцы безусые, в жизни своей не нюхавшие войны. Это он помнит, это все было! А после — сразу оказался на родине и начал возводить Храм. Да, Храм его, слава Богу, готов, что и говорить. Готов и разместился полностью в его душе. Завтра он идет с Храмом к Лейвику. Кем же, черт побери, приходится ему эта женщина? О каком таком портняжке твердит со скулежом? Она часто бывала у него в лечебнице, приносила огурцы, яблоки. Приходила и уходила, и Исаак забывал о ней. Не надо много гадать, яснее и быть не может — это один из агентов профессора Кар-хана. Память на лица у зодчего просто замечательная. Он не встречал ее на дорогах войны, не видел эту женщину на нарах в Сибири, не было ее и среди строителей Храма. Чего же тут гадать? Надо доверять своей памяти!

Зато во вражеской обстановке он всегда начеку. Ведь надо понимать: если шпионка принесла мундир, то шайке этой должно быть известно, что он уходит. Враги начнут стеречь каждый его шаг. Но надо еще поглядеть, кто кого перехитрит. Эта шайка много о себе воображает. Недаром говорит предание: пусть не хвастает перепоясывающийся на поединок, а распоясывающийся после поединка! Этой своре наемников никогда не узнать, из какого источника черпает силы зодчий.

— Авраам день и ночь напролет читает свои книги, он уже сам свихнулся, вычисляя твою вину. Ведь если Бог карает за что-то, он прежде всего лишает рассу-

ка, — говорила женщина. — Когда я доставала из сундука твой мундир, он сказал, что твой грех связан с этим мундиром, уходит в прошлое. Грех этот мучает тебя и не дает покоя. Авраам брал читать книги даже у профессора, пытался понять этот метод, которым он лечит тебя и хвастает вылечить. Он перечитал профессорские книги и понял, что этим тебе не помочь. Когда я доставала твой мундир, он понял, что ты закончил свой Храм и уходишь в горы. Он будет твоим спутником в этой поездке.

— Замолчи, женщина! — испугался зодчий. — Я презираю всю вашу наглую шайку. Я никуда не иду. Я попросил мундир, чтоб укрываться мне от стужи на строительной площадке. Пришел трудный месяц ияр, по всей Иудее свирепствуют холодные ветры вперемежку с дождем и градом. Все рабочие разбрелись по домам. Должен же кто-то находиться при Храме, отгонять от его стен собак и бродяг!

— Исаак, умоляю тебя, не ходи никуда! Я верю Аврааму, как он вычислил тебя, — ты завтра уходишь в горы, ты поедешь туда автобусом! Ты помешан на этой проклятой границе. Вспомни хотя бы о нас, пожалей нас, мы дня спокойного из-за тебя не имели. Ты столько лет был на войне, столько промучился на каторге! Потом один-единственный месяц пожил с родителями и снова попал в несчастье. Мы продали дом, мы спустили все с себя до последней копейки, лишь бы собрать взятку твоему следователю, задобрить его. Поэтому ты здесь, в этом санатории, а не снова на каторге.

Исаак чувствовал, что эта женщина близка к истерике, поэтому оборвал ее, чтоб она быстрее ушла.

— Слышишь, мне деньги нужны! Дай мне деньги!

Она достала кошелек, дала ему трешку. Она хорошо знала, почему билет на автобус.

— Сынок, очнись! Послушай мать свою один раз хотя бы. Авраам сделался страшен от своих пророчеств. Поверь и ты ему. Он говорит, что каждому определен срок поселиться на родине. Исаак, ты только мешаешь Богу в своем безумстве. Тебе не время идти на родину. Авраам говорит еще более страшные вещи: ни меда, ни жала твоего на родине никому не надо.

Трешку Исаак спрятал. Теперь его занимало одно: бодрствует Господин Удав или задремал, — чтоб незаметно пронести сверток с мундиром. С соседнего ди-

вана слышалось урчание и легкий храп. Он тихо поднялся, чтоб не скрипнули пружины.

Женщина уронила голову ему на грудь, заливая беззвучными слезами полосатую куртку.

Исаак понес мундир в палату.

Глава пятая

Сон его был глубоким и освежающим, а пробуждение — ранним и удивительным, будто ангел шепнул: пора, Исаак, Синай и Лейвик ждут тебя!

Этот же самый ангел каждое утро будил его: вставай, Исаак, твой Храм ждет тебя!

Действия свои он заранее продумал, сборы заняли мало времени.

Застелил койку аккуратно. Взбил подушку, укрепив ее колом, как и требовалось по инструкции. Даже последние его действия не должны оставить плохой памяти у администрации. Когда его хватятся через пару часов, соберутся молчаливым кольцом у койки, пусть каждый из них скажет себе: да, Исаак Фудым до конца оставался замечательным человеком.

Потом достал авоську из тумбочки.

Стараясь не греметь газетой в этой страшной тишине своего побега, развернул сверток с мундиром. Он не стал предаваться воспоминаниям при виде своего бранного одеяния, а отстегнул лишь планку с медалями и сунул ее в карман брюк галифе. Сегодня у него будет достаточно времени размышлять о событиях, связанных с этим мундиром.

Одел чистое белье, облачился в мундир.

Как он и опасался, мундир болтался на нем отчаянно. Огорчился, но и тут он не стал размышлять много. Мундир-то на нем — и баста! Главное, — чтобы Лейвик его в нем увидел. Чтоб не пришлось тому долго напрягать память.

Потом одел войлочные тапочки.

И тут Исаак искренне огорчился. Слишком много казенных вещей забирал он! Ведь за все сворованное платить придется вдове, тете Маше. Но кому он может объяснить сейчас, что белье он берет с собой, чтоб предстать во всем белом пред вершиной, а полосатая одежда как раз соответствует той, в чем одет был учи-

тель в дни освобождения из концлагеря! Тут понимать надо, это — как символ, что и Исаак Фудым тоже прозрел в лагерях. Лейвик сразу поймет это. Поймет даже, что за свое прогreshение он был наказан в жизни всемеро семизды семь.

Плохо придется зодчему, если пошлют вдогонку это чудовище Удава. Он настигнет Исаака в автобусе, обхватит мертвой хваткой и, чего доброго, разрушит Храм! Жизни своей зодчему не жаль, главную цель свою он исполнил, но Храм! И желая в какой-то мере задобрить возможную погоню, зодчий нашел лист бумаги, карандаш и быстро настроил:

« Оставшиеся от строительства Храма триста шестнадцать талантов свинца, две мотодрезины пиломатериала, предназначенные для прокладки колеи Дальлаг — Урсатьевская, загнать ведомству государственной безопасности, на вырученные бабки воздвигнуть вдове тете Маше золотую крышу, ибо следуйте преданию: будь у вдовы хоть и крыша золотая, она все равно вдова. Завещание составлено зодчим Третьего Иудейского Храма восьмого дня месяца ияра в крепком здравии и при ясном уме, за всеми судебными недоразумениями обращаться в город Иерушалаим».

Завещание он положил на койку, на видное место, чтобы сразу могло оно броситься в глаза.

Поднявшись на табурет, зодчий открыл окно, окинул палату прощальным взглядом.

Было еще очень рано, поэтому действие укола, что дали Натану Йошпе перед отбоем, еще продолжалось. Человек, которого отвергали все самолеты, отбывающие на родину, спал сейчас со счастливым лицом. Он спал в собственном особняке, стоившем ему бешеных денег. Экс-начальника галантерейного цеха окружали сейчас китайские сервизы тончайшего фарфора, импортная финская мебель, телевизор с двенадцатью каналами для приема цветных программ... Часа через два он начнет поединки с трапами и самолетами, станет биться со стюардессами, бежать из последних сил за горделивыми, межконтинентальными лайнерами, продираясь сквозь лиловый, непроницаемый туман, сквозь дремучие тучи своего греха.

Спрыгнув с подоконника, Исаак очутился среди врагов. Белые кролики с красными глазами сбежались к проволочным сеткам следить за его бегством. Исаак припал к земле и пополз по пластунски, как бывало

на фронте, в разведке. А наглые кролики, эти братья по крови, тем временем перешептывались, подрагивая розовыми носиками. Утром они будут сдавать кровь санитарам и все непременно доложат.

Исаак дополз до угла, скрывшись от этой оравы.

У входа в вестибюль, у двери, что шла со двора, он прошелся на цыпочках. Дверь стояла открытой, там на диване, на плюшевой подушечке спал Господин Удав. Сам воздух поблизости был начинен ужасом.

Счастливо миновав и это препятствие, он ступил на асфальтовые тропинки. И тогда из чернеющей двери загона беглеца приметили другие братья — восемь пар внимательных ослиных глаз.

Это уже было опасно всерьез, ибо с ослами, если верить преданию, шутки плохи. На всякий случай зодчий решил их задобрить тоже. Взял вилами охапку сена из стога и бросил в загон. Была в этом поступке тайная одна надежда. Исааку отлично было известно, что именно ослам дано видеть ангела смерти, который выходит с обнаженным мечом навстречу путнику. Даже пророкам не дано это видеть, а ослам — да!

Животные, весело замахав хвостами, принялись есть, и Исаак обрадовался знамению: путь его был свободен. Ангел не стоит поперек пути с обнаженным мечом. Тогда он снова подошел к стогу, взял высокую лестницу и приставил к стене.

Он долез до колючей проволоки, раздвинул ее, встал на высоком кирпичном гребне забора.

Сначала бросил на ту сторону авоську, потом прыгнул сам.

«Подобное притягивает подобное, — подумал он, рассуждая, как бы ему покороче выйти на автобусную станцию. — Храм, который стоит у меня в душе, надо поставить точно против Синая. Встать так, чтобы быть лицом к вершине».

Он вышел к перекрестку, и сразу увидел горы во всем их великолепии. Столько препятствий было перед Синаем, когда он наблюдал его из окна палаты! А тут он весь был виден от подножия до вершины как на ладони. Манил и притягивал.

И он пошел.

Он шел и шел, мягко шаркая по асфальту войлочными тапочками. И радостный этот путь не омрачила ему даже встреча с ночным бродягой.

Человек, облаченный в истерзанную телогрейку, наподобие той, что носил и сам зодчий в Сибири, вырос вдруг из подворотни у самого носа.

Бродяга внимательно осмотрел зодчего с головы до ног, точно обнюхивая его, точно собирался тут же начать шить ему костюм. Он дернул брезгливо щетинистым подбородком:

— Ну, брат, и выпрядился! Кто же тебе в таком маскараде копеечку бросит? Это после войны понтоваться так можно было.

И взялся ковыряться в его сетке-авоське. Бродяга разворошил полосатую одежду, достал на свет буханку черного хлеба, особенный интерес проявил к огарку свечи. Потом снял с зодчего ермолку и принялся примерять на себе.

— Ясно, брат, — осенило его. — Вижу, что от хозяина освободился. Ступай себе с миром.

Получив свободу и продолжая счастливый свой путь, зодчий так рассудил об этой встрече:

«Безумцы и нищие подобны мертвецам. Этот человек искал сокровище, хотел ограбить меня, но не нашел ничего. Этот мертвец не разглядел во мне Храма — сокровище из сокровищ! Тысячу раз правы были мудрецы наши!»

Автобусная станция кишмя-кишела агентами профессора Кара-хана.

Напрасно профессор выдавал себя за простака и доброжелателя. Зодчий всегда знал, что его окружают глаза и уши врагов. Особенно в последние дни.

Едва ступив на тесную, загаженную хлопковой шелухой маленькую площадь, зодчий подумал с отчаянием: где же он проболтался об окончании строительства?

Вот у самого билетного окошка сидит или лежит — черт его знает, в какой он там позе — продажная сволочь, агент профессора. Судя по истомившемуся виду, ждет объекта, видать, еще со вчерашнего дня. Старик, кажется, так и ночевал у окошка, прямо на цементном полу!

Завидя объект, старик востропнулся, вскочил на ноги, спрятался за угол кассы, полагая, что сам остался незамеченным.

Зодчий не стал удирать и не впал в отчаяние, а призвал на помощь все свое мужество и хладнокровие.

Об этом тоже говорит предание: помочь можно сильному, советовать умному! Поэтому он и получил желанную помощь.

«Допустим, побег сорвался, — размышлял он. — Резидент профессора захлопнет сейчас ловушку, в которую я попал. Но и тут никто не пронюхает о Лейвике, и тут я напутаю им карты. Эх, профессор, профессор! Почему он так грубо вторгается в чужие судьбы? Кто дал ему на это право? Почему он не доверяет людям лечить самих себя? Вчера, кажется, я человеческим языком толковал ему: этими дурацкими снами нам не разрушить очаг болезни. Я должен увидеть Лейвика живым. Это меня вылечит».

И решительным шагом зодчий подошел к кассе, сунул в окошечко деньги. Резидент мгновенно оказался рядом. Приставив к уху ладонь, старик расслышал, куда объект едет.

— Один до Чимгана, — сказал зодчий. — Один до Чимгана на первый рейс.

И тут старая продажная шкура чуть ли не оттер зодчего плечом и тоже взял билет до Чимгана.

Убедившись, что он верно разоблачил намерения старика, зодчий пошел садиться в автобус.

Ковыляя за ним профессиональной волчьей рысью, старик следовал по пятам. В руках у него Исаак обнаружил вдруг крошечного, черного ягненка. Старик прижимал его к животу.

И поразился зодчий: «Это еще что за агент?»

В салоне автобуса было пусто. В эту рань на автобусной станции вообще не было ни души.

Про себя же зодчий рассуждал так: «Кругом все оцеплено. На станцию никого не пускают, чтоб проще было меня взять!»

Он забился в угол, на заднее кресло. Старик плюхнулся рядом, хотя мест свободных было до чертовой бабушки! И двери захлопнулись, автобус стал выезжать с площади.

«Вот и все, — заключил зодчий. — Автобус этой шайкой зафрахтован, шофер подкуплен. Куда это они повезут меня, интересно?»

Сосед же его, это старое ничтожество, повел себя в высший степени странно. Устроив у себя на коленях ягненка, стал он пялить глаза на Синай самым наглым образом. На святой Синай, что показался впере-

ди, в ветровом стекле, прямо по курсу автобуса. А мерзкой, трясущейся лапой старик стал гладить ягненка по шерстке, точно успокаивая собственные нервы после всей этой удачной операции по захвату объекта.

Старик молчал, не задавал вопросов, давая зодчему подробно себя изучать.

Глядя на него сбоку, Исаак видел его бороду, лежавшую на груди грязными патлами.

«Вывалялся негодяй за ночь в плевках и хлопковой шелухе, — издевался над своим захватчиком зодчий. — И этот странного покроя не то чапан, не то халат тоже весь в пыли и грязи. С какими, однако, подонками водит профессор компанию! Как мудр я и прозорлив, не доверяя всей этой шайке ни на ломанный грош!»

И решившись окончательно выставить старика на посмешище, показать старику, что он окончательно разоблачен, зодчий ткнул пальцем в ягненка и язвительно осведомился:

— Простите, почтенный, хотелось бы знать, а этот кем у вас состоит?

Продолжая ласкать животное, старик невозмутимо сообщил:

— Это наш агнец, Исаак. Ему придется принять твой грех, если судьи вынесут тебе смертный приговор.

И тут старик заинтересовал зодчего. Впервые в жизни он почувствовал интерес к другому человеку. Зодчий никогда не совался в чужие дела, всегда обстояло как раз наоборот. Именно назойливого любопытства он терпеть не мог в людях. Поэтому спросил очень серьезно.

— Куда же мы направляемся, простите?

— В горы, Исаак, не так ли? Бог призывает нас к искушению!

Исаак насторожился. Старик упомянул его имя, говорит о каком-то грехе. Откуда ему может быть это известно? Только из вражеского стана! Гнусная эта шайка готова подделаться под образ его мыслей, лишь бы ей сорвать свидание зодчего с Лейвиком. А что, если это и в самом деле ангел, который едет его спасти? Веречь зодчего на путях его? Если говорить начистоту, он и в самом деле едет на суд. Ангелу все ведомо заранее, он мог прихватить с собой ягненка, чтоб не лишать зодчего жизни. Ведь именно сейчас, после Храма, он поднялся нравственно на недостижимую простым смертным

высоту. Зачем же вычеркивать из жизни такую личность?

— Странно вы говорите, почтенный. А можно ли знать, каково ваше имя?

— Авраам! — с большим достоинством ответил тот. — Аврааму исполнилось время идти с сыном в горы.

Исаак мучительно стал вспоминать, произносилось ли это имя среди его мучителей? И не вспомнил! Память на имена у зодчего была замечательная, на нее вполне можно было положиться. Нет, там, где его щупали в перчатках, заверяя в любви и искренности, имени этого не произносилось, такого он не слышал. И тогда!.. Тогда разум его слегка помутился!

Помилуйте, братья-израильтяне, сам праотец наш Авраам Первый с ягненком! Что-что, а имя первого патриарха зодчему отлично было известно. И чтобы не рехнуться на этом же самом месте, задал последний, контрольный вопрос:

— А вы уверены, почтенный, что ничего у вас не напутано? Предание, как известно, излагает об этом событии несколько иначе: к месту искушения вы едете без агнца, это самое животное чудесным образом появляется в последнюю минуту, когда вы заносите над горлом сына смертоносную руку!

— Ах, сын мой, сын мой, — искренне сокрушаясь, парировал патриарх и выхватил вдруг из недр своего странного халата кинжал невиданной формы. — Все верно, дитя наивное! Кто, кроме отца родного позаботится о доставке агнца к месту искушения? Разве я похож на безумца, чтобы рисковать жизнью единственного, возлюбленного чада? Искушение, к которому нас призывают, предание приписывает мне, на самом же деле оно твое. Но пусть уж так остается, как есть в предании. На что не согласишься, ради жизни твоей!?

И тогда напряжение отпустило Исаака. Он подумал, не встречался ли этот старик ему на родине? Ведь столько свихнувшихся людей приходило под стены Храма! Старик этот был, несомненно, одним из тех, кто помрачились умом на почве предания. Правда, покоилось у него на коленях вещественное доказательство его затей с искушением — ягненок трехдневный. Вот и кинжал вроде бы оттуда. И зодчий подумал с усмешкой: куда же, простите в этом случае, девать ему Третий Иудейский Храм, который он везет сейчас к Лейвику? Ведь между этим кинжалом стариковским и

Храмом в его душе пролегает безумная пропасть времени!

Самое верное было сказать себе, что старик явно не в своем уме. Мало ли помешанных приходило под стены Храма! Были и такие, что, заблудившись во времени, вопрошали наивно: не Соломон ли он Мудрый? Не строит ли он Храма Первый? А были и сущие дьяволы, что приходили от рек вавилонских и пакостили, отравляя зодчему жизнь. Эти вопили, что зодчий сам не кто иной, как посланник сатаны и восстанавливает башню Бав-эль, и надо прекратить все немедленно — Бог покарает землю за дерзкое предприятие, смешает языки и народы, и вся цивилизация человеческая пойдет насмарку.

Помыслив так, зодчий совсем было успокоился. Сразу объяснялось, откуда сосед взял его имя. В спутники они попали случайно, каждый из них направляется в горы по своим делам. Легко объяснялся тогда и кинжал — его запросто могли откопать в окрестностях Бейт-Лехема или Иерихона. Мало ли где попадаются древние вещи? В конце концов, кинжал легко могли отковать в кузне какого-нибудь кибуца или мошава!

Зодчий повеселел. Забавно все-таки, что для своей затеи старый безумец выбрал маршрут именно на Синай!

Если в дороге старик не окажется нахалом и втирушей, он ничуть не помешает бывшему капитану артиллерии думать о Лейвике, подробно вспомнить, что же произошло тогда между ними на опушке Волчьего леса.

Зодчий глянул в окно, определил, что автобус давно покинул город, путь они держат точно по назначению, и последние крохи сомнения рассеялись сами собой.

Да, очень уж забавно обернулась вся эта история со стариком!

Авраам ткнул пальцем в багаж сына:

— А что у тебя, Исаак, что ты везешь? Имей в виду, чем больше доказательств в твоё оправдание мы предъявим, тем больше шансов, что суд ограничится закланием агнца!

Зодчий снова почувствовал смятение. Этот загадочный спутник совершенно сбивал его с толку. Так прямо сказать может только ангел, который едет спасти.

И согласившись, что это его защитник и добрый ангел, он подумал:

«Меня станут судить за тот выстрел. Если Лейвика под Синаем нет, значит он мертв, я убил его. Отсюда и заключение суда: Лейвик для Фудыма символ родины. Родина для него смысл жизни. Если Фудым убил Лейвика, значит он убил родину. И нет ему никакого прощения... Я обязательно должен найти Лейвика живым. Я найду его!»

— Путь наш только начался, Авраам! Я все покажу тебе, все расскажу подробно. Быть может, покажу, что у меня в душе, это самое важное мое оправдание на суде. Дай мне время прийти немного в себя, успокоиться от преследования врагов.

Старик охотно с ним согласился. Потом достал из-за пазухи черствую лепешку, сдунул с нее не то пыль, не то плесень и переломил пополам.

— Подкрепим наши силы, Исаак! Произведение земли Ханаанской, кровь и пот родины, соки земли нашей.

Вдруг Исаак догадался, что его так кололо в кармане. Вытащил из брюк галифе планку со звякающими медалями, приколот на кителе.

«Вот и мундир с регалиями на мне, — поедая произведение родины, стал он предаваться воспоминаниям. — А в душе Храм и покаяние. Храм, который построен для Лейвика, чтобы приняли это во внимание на суде... Как же он тогда догадался, что я и есть тот самый человек, с которым этим несчастным можно было вступить в контакт? Ах, судьба! Теперь-то определенно ясно, что мой случай во многом схож с искушением Натана Йошпы на приеме у консула! И там, и тут нам было испытание на верность своему народу, на готовность служить настоящей родине!

Тот, кто хоть раз отвергнет ангела спасения, того судьба бьет и карает за слепоту и глупость. Стопы доходяги направил ко мне сам Всеvyšний!.. Тогда был май, помнится. Да, стоял такой же теплый весенний денечек, как и сейчас. У опушки леса чадили дотла сожженные бараки концлагеря Вульфвальде, пыхтела вовсю и наша походная кухонька, время обеда было. Доходяги едва на ногах держались от слабости. Мы их, помнится, первыми кормили. И Лейвик подошел ко мне, спросил пугливо: вы свой, капитан? Помню, рассмешило меня это. Елки-палки, да кто же я, как не свой!?

Кто освобождал их, если не мы? Кто откармливает? Его бы тут хлопнуть по плечу, обнять сердечно, только куда уж! Слабые они были, как цыплята. В чем только жизнь держалась! А Лейвик продолжал: верно, капитан, мы вас вовек не забудем, вы нам жизнь подарили, вернули в мир, но я имею в виду происхождение ваше, какого народа вы сын? Нас, уцелевших, группа маленькая подобралась, мы решили идти в Палестину, мы мечтали об этом в лагере. Мы слово себе дали, если Бог выведет нас на волю, остаток жизни мы посвятим служению своему народу. И вот мы свободны!.. Нам ваше содействие нужно, капитан, надо бы запастись продовольствием на дорогу, пара буханок хлеба нас бы очень выручили... Тут-то я и струхнул, болван. А чего струхнул — сам толком не знаю. Лежал у моих ног поверженный фашистский зверь, как говорится, победителями были, а всего чужого, точно огня боялись. Запрещено было иметь нам контакты с бывшими заключенными. Так я Лейвику и сказал, помню: помочь помогу, конечно, но давай остерегаться будем, чтоб наши чекисты полковые не усекли нас. Сказал, что приду вечером с хлебом к их палаткам. А он пусть уходит, нас давно уже все разглядывают...»

На лбу Авраама морщинами ходила желтая, пергаментная кожа. Большие, мясистые уши двигались вверх и вниз, а нос его, из которого пучками торчал волос, трепетал ноздрями, будто чудилась Аврааму чадящая гарь бараков, сожженных дотла, или вкусный дымок супа из походной солдатской кухни.

Авраам собрал с себя и с сына крошки хлеба, сунул ягненку в рот мизинец и ссыпал ему все, что было в ладони.

— Я так скажу на процессе, — начал он. — Звездные судьи, давайте обратимся к Закону! Если иудей совершит ненамеренное убийство, ему дается возможность бежать от возмездия под защиту одного из трех жертвенников в трех городах Ханаана. Это же самое имеем мы в случае и с моим сыном Исааком. Он согрешил и бежал от возмездия под защиту безумия. Он совершенно искренне проживал на родине, поэтому действие и сила Закона должны распространяться и на него. Исаак был слепым орудием в руках высших сил, когда пришел час убрать того человека. Так и запишите в свои протоколы, крылатые судьи!

От слов своего адвоката, от этой пламенной речи горячая благодарность переполнила Исаака. Он почувствовал жалость к самому себе, к несчастной своей жизни. Вот где была истинная доброта!

— Да, да, — поспешил он дополнить речь адвоката, — я даже не целил в него, я только припугнуть хотел. Я что, я шантажа боялся, и только! И неизвестности, в которую меня звали. Как мог я, ни с того ни с сего пуститься в сомнительное предприятие с какими-то оборванцами? Никак это не вязалось: капитан артиллерии и жалкие доходяги!

И спохватившись, что хочет оправдать ту овцу в капитанском мундире, Исаак оборвал сам себя.

Автобус мчал и мчал их вперед, Синай вырастал на глазах и приближался.

За окном проносились деревья, поселки, люди. Было жарко и душно в автобусе. Было так, как и положено быть в милых сердцу пустынях, поблизости синайских подножий.

И снова надвинулись на Исаака воспоминания тех дней.

«Вечером я был с хлебом у их палатки. Сидели мы на поляне, горел огарок свечи. Касались мы самых разных тем, я увлекся, спорил, доказывал то, отстаивал это... Несколько вечеров приходил так. В последний раз Лейвик был возбужден, его лихорадило. Он убеждал меня, что сейчас в Палестине очень необходимы люди с моим опытом, с военными знаниями. Мы уходим этой ночью, говорил он. Идемте же с нами, брат мой! Не надо слишком долго раздумывать и взвешивать. У вас не было тех страданий, что нам пришлось пережить. Мы прозрели в истине, нам открылся наш путь. Истина, постигнутая через страдания, какая еще может быть правда? А я ответил: нет, парень, оставьте меня в покое! Вы попросту обезумели от ваших страданий, вот и вся ваша правда. В своем безумии вы готовы бежать на край света. У меня впереди ясная судьба. Войну мы выиграли, сейчас только и начнется красивая жизнь. А Лейвик все твердил: я желаю вам добра, капитан. Ваше право выбирать себе судьбу. Но почему вы не можете понять — кому открылась истина, может звать за собой с правотой высшей! Я вижу сейчас то, чего вы сами не замечаете, ваша беда уже идет по вашим следам. Я не хочу быть жестоким пророком, но

неужели вы не поняли, что вас заметили в контактах с нами...

Вот тут-то со мной и случилось это. То ли ярость, то ли обида помutilи мой рассудок. Я выхватил пистолет и заорал: убирайтесь ко всем чертям, негодяи! И выстрелил... Он бросился в лес, а я во тьму выстрелил!»

Авраам опустил на пол ягненок. Старик был взвинчен и возбужден.

— Предъявим суду вещественные доказательства! — вскричал адвокат и стал потрошить багаж сына. — Алмазные судьи, неподкупные ангелы! Вот вещи того человека! Скажи, Исаак, что было между вами?

— Я вовсе не целил, и рука моя сильно дрожала. Я только припугнуть хотел, чтоб они от меня отвязались.

— Вы слышите, они пришли причинить зло моему сыну! Тот человек выдал Исаака, он угодил оттуда прямехонько на каторгу. Но прошу вас, взгляните на вещи — полосатая куртка и шаровары! В них нет дырки, Исаак промахнулся! Он жив, этот злой человек!

— Нет, Авраам, не так это было. Чекисты следили за нами с самого начала. Они скрутили меня там же, на поляне, после выстрела. Они за деревьями прятались. А Лейвика я убил, это точно. Лейвика не было на трибунале. Им позарез нужен был Лейвик свидетелем... Идти на родину и не дойти, умереть у самых врат ее! Что может быть горше? Быть убитым слепым, нежественным братом после ужасов ада, прозрев в невероятных страданиях.

Авраам слушал сына и плакал мутными, старческими слезами.

Остались позади хлопковые пашни, абрикосовые сады в весеннем цвету. Садилось солнце, освещающая салон косыми лучами через заднее стекло.

Впереди постиралось подножие Синая, зеленеющие холмы с ажурными вышками линии высокого напряжения.

Справа от дороги побежала речушка на мелких галечных перекатах, вот слева гряда за грядой уже вздымались изумрудные вершины. И там, высоко-высоко, глаз различал экскаваторы, Бог весть каким об-

разом попавшие в такую местность. Черпали там экскаваторы то ли руду, то ли уголь.

Дорога и мрачные воспоминания сильно утомили зодчего. При всей своей подозрительности ко всему необычному он не в силах уже был рассуждать.

Странный был их автобус. Мчал и мчал он без остановки весь день, не подбирая в пути пассажиров, не заправляясь водой и бензином, не обернулся ни разу шофер.

И вдруг Исаак затрепетал неизвестно от чего. Местность эта показалась ему знакомой — он был уже тут однажды! Вот он скажет, какой поворот сделают сейчас дорога и речушка, какая местность откроется взору...

Быть может, он бывал здесь во время строительства Храма? Быть может, из этих карьеров ему доставляли свинец и камень? Ах, это ли важно сейчас? Важно то, что цель их близка!

Зодчий видит подножие желанной горы, поселок, утопающий в садах. И ждет его там Лейвик! Зодчий убежден абсолютно, что есть в поселке чайхана, и в чайхане этой таджики варят по вечерам плов, жарят ароматный шашлык.

Быть может, Лейвик сидит в эту минуту в чайхане на ковровом паласе, пьет чайник зеленого чая. Волнуется, дожидаясь прибытия их автобуса. Лейвик страшно волнуется перед встречей.

И волнение Лейвика передалось Исааку.

Ягненок опять покоился на коленях Авраама. Старик гладил его.

Ах, до чего старику хотелось, чтобы и сын его был так же чист и безвинен! Чтобы вышел Исаак из этой затеи без большого ущерба для своей жизни!

В мыслях своих Авраам вертел и подтасовывал все законы, предания.

— Нет, — говорил он. — Не для этого мы едем на суд, чтоб лишиться мне единственного сына! Если он и убил того человека, то этого хотел сам Бог. Кто может знать, каких зол натворил бы Лейвик, явись он тогда в Палестину!? Я призываю в свидетели вождя нашего, Моше Рабейну, вечные судьи! Пусть свидетель скажет: те, кто умирают, умирают правильно. Нет несчастных смертей. Уходят те, кто может напутать расчеты. Пусть подтвердит свидетель Моше, как вопил он Богу, ко-

гда ангел смерти шел истреблять наших младенцев в Мицраиме! Не явился ли тогда пред лицо Его свидетель Моше, не восстал ли на Бога? «Иди к трудам своим, человек, велел ему Бог. Все, что от Меня исходит, то и должно быть. А если не веришь, если сомневаешься, — поди и спаси одного младенца, увидишь, что будет». Прошу следить за ходом моих аналогий, милосердные судьи. Я очень прошу вас: так в протокол и пишите! Разве не подобно Моше явился к несчастным и сын мой Исаак? Разве не спас их от гибели? Спас и подобно Моше откармливал собственным хлебом... Но пусть на этом месте отверзнет уста свои свидетель Моше: что у него вышло впоследствии с тем младенцем? Именно этот негодяй и подбил под Синаем народ поклониться золотому тельцу, из-за него весь Израиль стоял на волосок от гибели. И вспомнил Моше: кому положено было умереть в свое время, тот и должен уйти. И собственной же рукой отнял жизнь у развратителя... Вы поняли меня, неподкупные судьи!? Исаак невиновен!..

Глава шестая

В садах под Синаем вовсю кипела буйная, горная весна.

— Посиди немного за этим столом, Исаак, — говорил он, устроив зодчего под белой, цветущей, вишней. — А я тем временем ягненка накормлю, пощиплю ему травку.

Исаак же был огорчен и растерян.

«Лейвик не встретил автобус, не вышел обнять меня. Может, он не расслышал, как мы подъехали? Может, сидит он в этом саду, за одним из столиков?»

С этой мыслью он поднялся и пошел по кипящему белым цветением саду. Кипение вишен и персиков было пронизано последними лучами золотого заката. В клетках, подвешанных чуть ли не на каждой ветке, заливались любовным пением перепелки.

Люди, сидящие в чайхане, не скрывая своего любопытства, разглядывали диковинного пришельца в допотопном офицерском мундире с планкой бряцающих медалей и в войлочных тапочках.

Исаак тоже внимательно изучал их лица.

«Быть может, Лейвик ассимилировался с таджиками, сидит сейчас между ними в чалме или в тубетейке? Быть может, он там, среди тех трактористов в промасленных спецовках? Нет, и здесь я не вижу его!... Оба мы сильно состарились, изменились, не можем узнать друг друга. Было бы ужасно, если бы я сразу его узнал. Это бы означало, что Лейвик мертв. Ведь только мертвые не стареют! Я понимаю, Лейвик хочет встретиться со мной в уединенном месте, как там, у Волчьего леса. Я выставлю свой Храм, подобное и притянет подобное. О, Храм его очень обрадует!»

Вернувшись к столику, Исаак нашел целую гору угощений. Авраам натащил лепешек, шашлык, чаю, две полные касы с пловом. Он успел еще напоить ягненка из ключа, выбивавшегося рядом с огромным серебряным самоваром. Ягненок стоял сейчас под столом и покусывал травку.

И вот возликовал Авраам, показывая рукой на чайханщика с невероятными, черными усами:

— Мы заночуем в саду, на топчане. Я обо всем уже сговорился с Юсупом. Он даст нам подушки и теплые одеяла. Шофер тоже ночует с нами. А утром, первым же рейсом, отправимся назад. Видишь, сынок, никакого Лейвика нет. Твой Лейвик давно уже в Палестине. И помнить тебя не помнит! Позабыл совсем. Лейвик работает бухгалтером в цитрусовой конторе, отпустил солидный животик. Лейвик состоит в легионе бывших узников фашизма; выступает с трибун, борется за мир во всем мире. У него детей куча, у Лейвика. Машина и собственный дом. Летом они загорают на пляжах Средиземного моря. А недавно, головой тебе отвечаю, он справил Песах с мацой и свечами, пил «лехаим» за нас, братьев в диаспоре.

Авраам притих, заметив, с какой тоской и тревогой озирается Исаак на окрестные горы, где пасутся отары овец, на эти склоны, где по тесным, крутым тропинкам бредут ослики, груженные тяжелой поклажей, выбивая копытцами облачка пыли.

— Я понимаю, сынок, тебе горько снова тут оказаться! Тошно видеть то место, где тебя истязали. Скажи, мой сын, они били тебя в этой же самой чайхане? Ну-ну, не надо расстраиваться, завтра вернемся домой, станем жить в одном доме с матерью... Ты у нас молодец, мужественный человек. Сам добрался до

очага болезни, без профессора Кара-хана, без его глупого психо...

Точно молния пронзила расслабленный печалью мозг зодчего. Агент выдал себя, произнес имя патрона!! Какое коварство, как ловко они подделались под образ всех его мыслей?! Обидно только, что так много они узнали. Исаак страшно опростоволосился: под самый Синай привез креатуру врага чуть ли не на собственном горбу. Но отступать уже нечего, Исаак тут, и завтра Лейвик навсегда уведет его от преследования этой шайки.

Схватив сетку, он бросился вон из сада.

Сейчас он бежал над пропастью узкой каменистой тропой, поминутно оглядываясь. Отец догонял его, прижимая к животу ягненка, что-то кричал из последних сил.

Звякали на груди боевые медали, капитан артиллерии хладнокровно оценивал на бегу предстоящую стратегию боя.

Вот за одним поворотом отыскал он глазами удобную площадку и кучу увесистых камней.

Тогда он обратился к врагу лицом, взял в руки по булыжнику.

Показалась погоня.

— Огонь! — скомандовал капитан расчету. И с большим удовольствием пустил снаряд.

Камень, к досаде, дал перелет. Но капитан не отчаялся. Так давно не стоял он за лафетом! Вышел из формы, как говорится. Неверными стали руки и глаз.

— Огонь! — повторил он. На сей раз вышел у него недолет. Он взял еще два камня.

— Огонь!

Завидя траекторию пущенного снаряда, капитан ликовал. Этот летел неминуемо агенту в лоб. Спасая свою подлую жизнь, старик инстинктивно прикрылся ягненком, будто щитом. И младший агент пал на тропинку с расквашенным черепом.

— Тоже неплохо... — заметил себе капитан.

Смерть жертвенного агнца потрясла Авраама суевным ужасом. В смерти этой открылось ему решение Всевышнего Суда. И он прекратил погоню, смилившись судьбе.

Но в этот момент следующий камень поразил Авраама в грудь, свалил на маленький стынувший трупик.

Глава седьмая

Зодчий недоумевал, изучая подножие Синая.

«Где то я уже слышал: не все места предания соответствуют правде! Вот полюбуйте, пожалуйста, — о подножии Синая предание повествует, будто разместился здесь весь стан Исхода. Но любой со мной согласится, что это вовсе не так: речушка, теснина узкая, маленькая поляна... И сотня людей тут не поместится, не говоря уже о всех коленах Израилевых, подобных своим числом песку морскому... Быть может, расположился стан с другой стороны горы? Вполне может быть! Нас с Лейвиком в данный момент интересует только вершина, а вершина у Синая, слава Богу, одна. И лежат там скрижали, дожидаются нас! Как это просто Лейвик сумел догадаться: Бог забрал их туда, откуда дал!»

И закинув голову, зодчий посмотрел на святую вершину.

Гора шла кольцами зеленых трав, лесов и лишайников, сама же вершина была окутана лиловым, непроницаемым туманом.

Спокойно и расчетливо зодчий подумал, как, бодрые и отдохнувшие, они пойдут туда завтра, и Бог вручит им скрижали из рук в руки.

Вначале ему приглянулась поляна. Рос тут куст ежевичный, столетний карагач, лежал посредине огромный валун, скатившийся некогда сверху.

Места раскинуть великий Храм было вполне достаточно, однако насторожили его овечьи горошины в траве, и валун не понравился.

Ночью, когда он достанет Храм для Лейвика, он должен быть абсолютно уверен, что никто им не мешает. Если некогда сорвался валун этот, разве можно иметь гарантию, что и другой не свалится прямо на крышу Храма? Да и отару овец могут погнать в полночь возле поляны.

И в награду за эту предусмотрительность он нашел вскоре замечательную пещеру.

Была она на другой стороне речушки, как раз против вершины.

Становилось темно. Ночь на Синае наступает сразу, едва садится солнце, поэтому зодчий не стал изучать недра своей пещеры, а спустился к речушке и ис-

купался. Сполоснул белье, которое похитил у вдовы Мирьям, развесил сушиться на ежевичном кусте.

В крошечной уже темноте он вернулся в пещеру, зажег у входа огарок свечи, достал буханку черного хлеба, полосатую одежду. И облачился под Лейвика у Волчьего леса.

Тогда и возник Храм.

Возник в одно мгновение, одним движением воли зодчего. Он приучил себя к этому с самого начала, с первого камня, что был положен в его основание. С того торжественного дня, когда сам президент государства взял в свои руки рычаг башенного крана и мягко опустил огромный, краеугольный блок в бездну фундамента... И продолжалось так на протяжении долгих лет великой стройки: доставал и прятал, доставал и прятал.

Взметнулись на огромную высоту передние колонны фасада. Под самой луной вспыхнули семь огней семисвечника. И так горели, что звезды на небосводе дрожали и кольхались. Далеко внизу, на тесаных плитах стоял сам зодчий. Падали на него сверху глубокие тени.

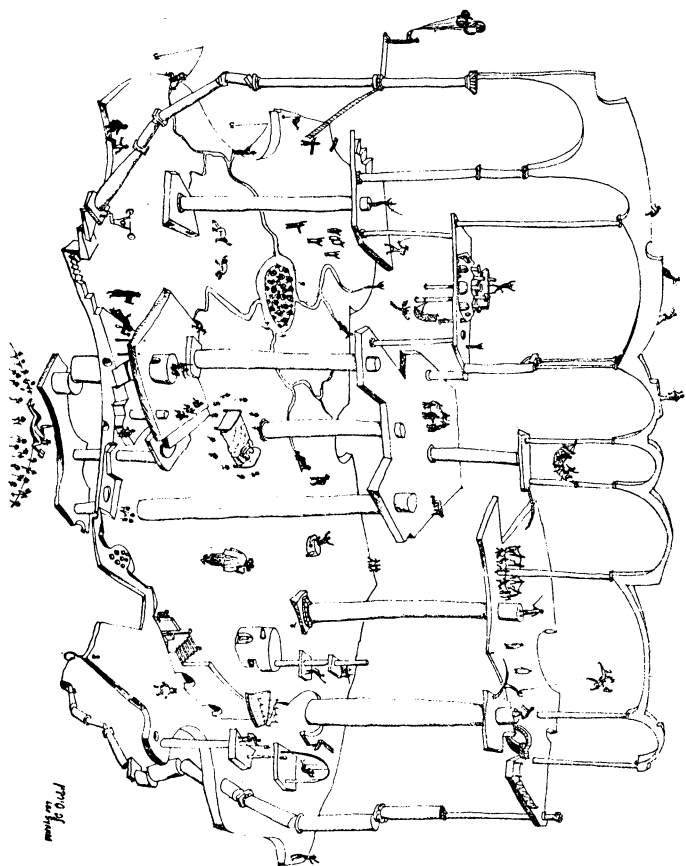
Он двинулся вверх по лестнице. Сел, изнеможенный, на своей любимой верхней площадке.

Каменные плиты ласкали кожу, были теплые, согретые неистовой любовью создателя к его родине. Согретые его сердцем и душой, где они и хранились.

В первые минуты, когда выхватывал из себя Храм, он чувствовал сильнейшую слабость и головокружение, будто сама жизнь отлетала от него. Особенно трудно приходилось последние месяцы. Чем успешней строительство шло к завершению, тем тяжелее делался и Храм, тем больше места в душе своей приходилось ему выделять. А может, это старел сам зодчий, здоровье иссякало?

«Сейчас пройдет, — говорил он себе. — Посижу малость на плитах, поглажу их кончиками пальцев. Мои дорогие камни снова сделают меня здоровым».

Но шло время, он гладил плиты обнаженной рукой, а облегчение не приходило. Появилась даже боль в печени, разлилась по животу, спине, заполнила то огромное пространство в груди, где всегда хранился Храм. Заныл и шрам на затылке, сделалось тяжело голове и тошно. Тот самый шрам, что оставили на зодчем приклады пограничников.



Тогда он лег животом на теплые плиты, положил на них голову и впал в забытие.

Очнулся он будто от шороха. То ли свистнули в воздухе замшевые крылья упырей, то ли призрак вздохнул поблизости.

Он приподнял голову над плитами. У бокового придела, где были личные апартаменты первосвященника, увидел, как прячется человек. А в руках у него огарок свечи.

Зодчий не шевелился, чтоб не спугнуть Лейвика.

И вот, перебегая от колонны к колонне, прячась и замирая, дорогой гость приблизился к верхней площадке.

— Тебя испугал этот мундир, что лежит возле меня? Иди же, не бойся! На сей раз я с Храмом, а не с оружием.

— Теперь мне не страшен твой пистолет, — услышал он за колонной. — Знай же, я стерегу тебя. Ты снова появился на границе, пересечь которую тебе не позволено. Ты не хочешь этого понять, ты обезумел, капитан, плохи твои дела.

— Лейвик, не говори так, прошу тебя! Разве ты враг мне? Вот мы встретились с тобой на родине, как ты об этом мечтал. Помнишь, ты звал меня в Палестину? И вот я тут. Я задержался, правда, с прибытием, но тут есть причина. Мы строили Храм. Осталось взойти на этот Синай, принести скрижали. Идем же, я покажу тебе мой подарок!

И Лейвик вышел на этот зов из своего укрытия.

Была на нем все та же одежда полосатая и шапочка, и различал Исаак даже строчки от споротого лагерного номера и споротой шестиугольной звезды. Но как ни вглядывался в его лицо, не мог различить его черт, ибо Лейвик умышленно держал свечу за спиной — единственный источник света на всей огромной площадке перед колоннадой. И искажали черты Лейвика странные, уродливые тени.

Они вошли в распахнутые храмовые ворота, кованые из благородной бронзы, прошли вестибюль, передний зал.

Лейвик шел сзади, все так же странно держа свечу за спиной, а Исаак украдкой пытался заглянуть ему в лицо: постарел учитель или нет? Жив ли он, черт побери? Пока он не убедится, что тот постарел, он не будет иметь покоя.

— Он очень похож на своих предшественников, на Первый и на Второй, но вовсе не их копия, — давал пояснения зодчий. — Пришлось в проектах сочетать целый ряд элементов одновременно: старинный классицизм и сегодняшний модерн, жизнь в Ханаане и кочевье в диаспоре... А вот роспись центрального зала служб и жертвоприношений целиком посвящена последней Катастрофе нашего народа. Я дал указание художникам-монументалистам во всех сценах и фресках изобразить концлагерь Вульфвальде, тебя и твоих друзей. Есть тут и символические сцены, поясняющие, как озаряется истиной человек, истерзанный пытками. Смори, Лейвик, сюда! Вдоль этой стены идут зеркальные лужи с водой, а в них овечьи морды, а здесь, напротив, те же самые лужи, но морды львиные... В этом месте ты стоишь за колючей проволокой, а здесь ты и твои приятели пробираетесь на родину через всю послевоенную Европу. Скажи, Лейвик, это соответствует действительности? Вы в самом деле пришли тогда на родину?

— Пришли на родину... — послышалось сзади. Но не был уверен зодчий. Может, эхо вернулось?

— Теперь зайдем в Святая Святых, — осмелел зодчий. И они двинулись дальше, и пришли к будущему жилищу Бога.

— Тут пока пусто, но все, что положено, будет! Все внесут завтра, когда мы принесем скрижали.

— Принесем скрижали... Конечно же, принесем, ты здорово это придумал! Пускай наконец решат, что мне с тобой делать? Пусть освободят меня от моей должности не впускать тебя на родину!

Тут зодчий совершенно расстроился. И спросил уже прямо, чтоб не играть больше в прятки, ибо свеча попрежнему не давала света на лицо Лейвика.

— Мы стоим сейчас на основании вселенной, лицом к лицу с Законом. Скажи мне, брат мой, я убил тебя или нет?

И Лейвик охотно ответил. Речь его сразу окрепла, послышались в ней родные, давно забытые нотки. И сердце зодчего радостно встрепенулось, облитое умиротворением. Наконец он услышал голос учителя, живой и твердый.

— Не надо думать об этом, Фудым! Забудьте о ваших страданиях! Обо всем на свете забудьте, вы очень истощаете себя. Закройте глаза и спите!

И ноги его стали слабыми, подкосились. И потекло в него живое человеческое тепло. Он лег животом на основание вселенной, замер и вытянулся. Знакомые, мягкие руки стали щупать ему бока, затылок.

— Тут болит? Здесь не беспокоит?.. Лейвик, конечно же, существует, Лейвик жив! Если бы он умер, вам отомстилось бы в жизни всемеро семижды...

Погруженный в блаженство и сладкое забытие, зодчий ухватился, однако, за эту мысль. Именно так у него и вышло: пытка за пыткой, от которых другой человек попросту бы свихнулся. Совершенно правильно! — всемеро семижды семь! Но за что, помилуйте?!

С огромным трудом разлепил он отяжелевшие веки, чтобы сказать это Лейвику.

Наконец пламя свечи нормально освещало его лицо. И лицо это в упор смотрело на Фудыма, гипнотизируя. Одно лишь мгновение он вспоминал это лицо, и вспомнил!

О, ужас! Это не был Лейвик — ни живой, ни мертвый, а профессор Кара-хан, без смешного косоглазия к тому же. У лица своего, точно в насмешку, он держал руки в проклятых резиновых перчатках. Пальцы же были скрючены, нацелившись прямо на грудь, как раз на Храм. И, спасая свое сокровище, зодчий мгновенно сбросил с себя профессора.

Давно изучивший все происки вражеской шайки, особенно ее главаря, зодчий ничуть не удивился, обнаружив себя на жестких незнакомых камнях, разящих склепом.

Профессор Кара-хан дико хохотал, запрокинув от удовольствия голову. Зодчий почувствовал даже, как затряслись от сатанинского хохота стены Храма, зашевелилась свинцовая кровля.

И тогда в пляшущем свете свечи начался настоящий шабаш его мучителей.

— Вызываем свидетеля Моше Рабейну! — крикнули где-то сверху.

У входа в пещеру появился долговязый, жилистый старец с тяжелым посохом. Был он причудливо одет, белая борода, точно пена морская, лежала у него по пояс.

— Вот я! — прогремел старец при своем появлении.

Зодчий увидел подле себя профессора Кара-хана в белом, накрахмаленном халате, как бывало у них после мертвого часа, когда совершал профессор обход в сопровождении врачей и студентов.

— ...Наибольшей выраженности достигает «палестинomanия» в припадках неистовства, — монотонно бубнил профессор. — Здесь характерна весьма своеобразная мимика: широко раздуваются ноздри, губы сжаты, сильно стиснуты зубы. У нашего больного вы можете наблюдать даже вертикальную морщину. Глаза его, вследствие усиленного притока крови к лицу, выпячиваются буквально из орбит, усиливая тем самым злобную мимику.

— Короче, профессор! — грубо вмешался агент, выдававший себя за Моше. — Где этот человек обитает?

И так же скучно, будто читал по книге, профессор продолжал бубнить:

— ...Углубленное клиническое исследование интеллекта нашего пациента выявило, что в данном случае нельзя говорить о слишком большой разорванности мышления. В мышлении Исаака Фудыма можно проследить и даже понять логически ассоциированные связи. Поведение больного проистекает на фоне полярных несоответствий. Ощущение радости и восторга он испытывает от жизни на воображаемой родине. Там, представьте себе, он строит не больше не меньше, как Третий Иудейский Храм. Противоположные рефлексy — злобность и гневливость — проявляет...

— Чепуха! — протрубил белый и косматый с посохом. — На родину никогда ему не попасть. Ни меда, ни жала его нам не надо. Так и передайте во время занятий. А что он еще вообразил?

— ...Сейчас видите у больного безучастный рефлекс, — продолжал глумиться профессор, готовя зодчего к позору. — Я уверен, что именно сейчас он и прячет в себе этот Храм. Прошу всех пройти в кабинет, сделаем маленькую рентгеноскопию.

Зодчий оказался вдруг укрепленным на ногах у входа в пещеру. За спиной у него стояла полная, как прожектор, луна, пронизывая тело голубыми лучами.

Кто то задул ненужную теперь свечу. Агент Моше подошел ближе. Вместе с профессором стал разглядывать в нем что-то. Копаться в зодчем, как черт знает в чем.

— ...Прошу посмотреть ниже, — уже бойко и с азартом шептал профессор. — Потемнение в области печени, а в почках — осколочные скопления. Самые обык-

новенные камни. Отсюда и начинается параноидная связь: Храм, Синай, скрижали!

Зодчий снова был брошен на скользкие камни пещеры, разящие склепом. И снова прогремел старец, но с издевкой и в назидание:

— Под Синаем не может быть чайханы. Там есть пальмы, кашерный ресторан и играют скрипки!

Стискивая зубы от перенесенного унижения с рентгеном, зодчий подумал, что старик, возможно, и прав: под Синаем и в самом деле уместней играть на скрипках, а не развешивать клетки, чтоб трещали дурацкие перепелки.

Но тут новый голос заставил его насторожиться.

Голос этот принадлежал лейтенанту из тыловой разведки. Это они скрутили капитану Фудыму руки после выстрела в Лейвика.

— Пошарьте жидовскую падлу поглубже, он еще что-то прячет, — завизжал лейтенант. — Пошарьте, ребята, по-настоящему! Они все заодно!

Он выхватил кинжал диковинной формы, острием уперся в грудь зодчего. И зодчий мгновенно рассчитал: если кинжал войдет сейчас в грудь, он упрется в одну из главных опор Храма и разрушит его.

Страшным усилием он напряг все мышцы и, судорожно сокращая их, начал отводить острие кинжала пониже. Но и тут, если бы кинжал вошел, причинил бы не меньшие повреждения. Тогда зодчий стал сокращать брюшные мышцы, и кинжал вовсе отошел в сторону, к почкам. Это было значительно ниже фундамента, и тут он позволил ему погрузиться в себе.

— Эта сволочь хитер и коварен! — заорал лейтенант. — Они давно снюхались! Он давал им оружие, выдал военные тайны! Дави его, ребята! Дави на смерть!

Тогда опять послышался унылый голос профессора Кара-хана:

— Славик! Сбегай в еврейскую палату, кто-то из них там бунит!

Свист и шипение послышались в пещере. У самых своих глаз увидел зодчий с ужасом маленькое, дегенеративное личико Господина Удава. Замелькали в воздухе мускулистые кольца, играя животной силой. Он дохнул на зодчего смрадным дыханием библейского гада и принялся обвивать его тело смертельными спиралями, подбираясь к самой груди.

Зодчий почувствовал, как трещит Храм. И ничего тут нельзя было поделать.

От бессильной этой мысли сознание покинуло его.

Глава Восьмая

Такова участь гения во все времена и у всех народов: он идет к людям с хлебом жизни, а те кидают в него камни!

Чей только облик не принимают враги и завистники, лишь бы сорвать им великий замысел! Унижают зодчего, сочиняют небылицы о камнях святого Храма глумятся и топчут его ногами.

Сон его, как всегда, был глубоким и освежающим. И ангел тоже был с ним. Шепнул ласково: пора, Исаак, вершина ждет тебя! Сегодня вы принесете с Лейвиком скрижали!

И счастлив был зодчий. Сегодня ночью он видел Лейвика. Тот пробрался к нему сквозь заслоны оборотней, сказал, что откроет свое лицо.

Вход в пещеру был облит солнцем. Слышался шум речушки на мелких галечных перекатах. Ворковали горлинки. На другом берегу кипела белым цветением вишня.

Зодчий снял полосатую одежду, отлично послужившую ему этой ночью: Лейвик без долгих слов узнал друга!

Нагой, он спустился к воде. На ежевичном кусте было развешано белье. Оно было свежее, прохладное, хорошо просохло. Он умылся, облачился во все белое.

Зодчий взглянул на вершину. Как и вчера, она окутана была лиловым, непроницаемым туманом. И он поразился: когда он смотрел на вершину из окна палаты, она всегда была чистой, а тут, когда он рядом, — непроницаемый туман. И понял, в чем дело: там тайна, святыня. Святыне всегда полагается быть в ограде.

Он вспомнил, как этой ночью пришла ему в голову новая мысль. Он попросит изменить чуточку текст прежних скрижалей, которым руководствовалось до сего дня человечество.

Неужели никто еще не догадался, что они устарели? Первой следует поставить заповедь:

«Не убей брата!»

Почему ее? Зодчий и сам толком не знает. Но убежден, что именно ее следует поставить первой. Если дадут разрешение, конечно!

Вождь наш Моше Рабейну высекал скрижали сорок дней, они с Лейвиком управятся с этой работой вдвое быстрее.

Там, на вершине, должно быть, и мастерская Моше сохранилась и весь его рабочий инструмент. Они с Лейвиком этим воспользуются.

Этой ночью Лейвик велел ему идти на вершину с буханкой хлеба. Должны же они питаться там чем-то? А Бог им сотворит чудо: этой буханки им вполне хватит на двадцать дней!

Поднявшись немного в нагорье, где цвели маки и одуванчики, он спросил себя: надо ли выбрать маршрут попроще — идти тропинками, петлять и не трудиться? Но тут же отругал себя: зачем ставить сомнение чуду восхождения и навлекать на себя гнев? Столько раз он приятно убеждался, как подобное притягивает подобное! Храм сейчас точно нацелен на вершину, быть может, на самые скрижали! Разве могут помешать ему эти грозно нависшие скалы впереди? Прошел же тут в свое время Моше! И он пройдет, как на крыльях. Хотелось бы знать только, что за магнит был тогда в душе у вождя Моше? Конечно же, тоже Храм!

Он поднимался выше и выше. Оглядываясь назад, зодчий восхищался, как распахивается под ним обитаемый мир людей. Чем выше он поднимался, тем обозримее этот мир становился, тем дальше проникал его взор.

Не жалкая козявка-человек, точно по веревочной лестнице, шла на страшный суд к небу! Сам зодчий Третьего Иудейского Храма, точно в награду за свой немыслимый подвиг, делался великаном. И вместе с ним становились огромными и всемогущими его самые лучшие чувства, рожденные в пытках и страданиях.

Вот великан добра и любви, облаченный в льняные кальсоны и рубашку остановился размышлять у говорливого, горного ручейка.

Сухая ветка лежала поперек воды, а белые вишневые лепестки сбились в кучу. Но в его воображении ручеек этот превратился во взлетную, бетонированную полосу, а лепестки — в горделивые, межконтинентальные лайнеры.

И великан поднял ветку-шлагбаум, и лайнеры-лестки стремительно рванулись вперед.

Тогда пришла зодчему новая мысль: вторую заповедь он изложит так:

«Не будь сторожем брату своему!»

Ведь одним из этих самолетов уже летит на родину несчастный Натан Йошпа!

Он постарался запомнить вторую заповедь. А творческая мысль его стала работать в одном направлении.

Напротив себя, на склоне горы, он увидел отару овец. Был при овцах пастух, множество псов с лаем носились вокруг отары. И сама собой пришла третья заповедь:

«Пусть к каждому придет лев и возьмет его в братья!»

Да, ничего не поделаешь! Сама судьба, видать, так устроила его жизнь, чтоб на собственном опыте вывел он людям новый смысл их бытия.

Великан все рос и рос, и никто не мог с ним сейчас сравниться. Лишь Бог и Лейвик стояли выше его. Стояли на этой лиловой туче и следили за его восхождением. И скоро их будет трое. На совете троих они приступят к редакции новых скрижалей. И хорошо бы все десять заповедей заранее подготовить. Зодчий опять обратился к опыту своей жизни.

Из повелений непременно следует дать:

«Пусть каждый окончит факультет своего народа!»

Вот именно! И кончит его как можно пораньше, в детстве! Когда ангел спасения не так суров к человеку. Разве Фудым или Йошпа так уж и виноваты, что не были заранее готовы к резкой перемене в своей судьбе? Разве их это вина, что выросли они такими слепцами, лишённые национального воспитания? Ах, жестокий, Всевышний Суд, где Твое милосердие?!

Он стал сочинять пятую заповедь. Тут пришлось ему туго, ибо пятую заповедь следовало трактовать, как слияние границ и народов. Ведь именно для этого и построен людям Третий Храм.

Тут все ясно зодчему. Он даже знает, когда придет время пастись рядом волку и овце. Все предопределено до начала седьмого тысячелетия от сотворения мира. Седьмое тысячелетие — субботнее! Что на небе день, то на земле тысячелетие. Тут кумекать немного надо. За шесть дней был сотворен мир, в седьмой день Бог отдыхал. Зодчему рассказал эту высшую истину

один старый каббалист, вообразивший себя Авраамом Первым. Было это во время строительства, когда проходили под стены Храма толпы проходимцев и шарлатанов. Но того чудака с ягненком зодчий запомнил, и мысли его пришлись ему по душе.

Седьмое тысячелетие от сотворения мира будет на земле золотым. Осталось до него каких-то двести двадцать семь или шесть лет. И Бог уже репетирует предстоящее слияние границ и народов на земле древнего Ханаана. Разве не едут сейчас на родную землю иудеи со всех концов земли? Разве не живут вместе люди, ничего почти не знавшие друг о друге, и разве их государство не процветает?

Ах, эти репетиции исторические! На первенце своем, на Израиле, Бог репетировал всегда грядущие события мира. Мы точно актеры на арене мира. И как бы блестяще мы ни исполняли сюжеты, написанные нам Богом, нам всегда доставались от других народов туманы, а не овации.

Нет уж, пятую заповедь зодчему не одолеть. Тут иной опыт нужен. Пусть это скажет тот, кто придет в Иерусалаим на белом коне, — Мессия!

Все чаще теперь он останавливался. Пот заливал лицо, он вытирал его руками, с трудом переводил дыхание. Рубашка промокла насквозь, клеилась на груди и спине. Босые ноги кровоточили. Он поранил их об острые камни и колючие травы. Ноги, давно отвыкшие от ходьбы, дрожали и подгибались.

«Это нечисть выходит из меня вместе с потом и кровью, — счастливый, подумал он. — Надо бы отдышать почаще. Я должен предстать на вершине бодрым и сильным, непохожим на безумца. Здесь надо вести себя достойно. Они смотрят на меня, глаз не спускают, и складывают обо мне впечатление».

Зодчий взглянул на тучи, ставшие грозными, черными. Он подумал со страхом: быть может, именно эти тучи и есть те самые, что мешают Натану Йошпе улететь на родину? Они посылались ему в наказание. Аэропорт — это тоже граница, которую стерегут ангелы мщения. Почему этот безумец никак не поймет, что каждому определен час, когда он приедет на родину? Самолет на родину — это тоже святыня, которую следует ограждать от слепцов и безумцев. Святыня эта для Натана в лиловом, непроницаемом тумане.

Потом он вошел в карагачевую рощу. Склон Си-

ная был тут очень крутым, усеян камнями и колючими иглами.

Деревья скрыли от него вершину. Скрыли подножие, где были пальмы и кашерный ресторан со скрипками.

Что-то случилось с ним, он испугался. Минуту назад он чувствовал себя великаном, способным постичь необъятный мир гениальным умом, вмещающим в себе все прошлое от сотворения мира и даже предвидевшим грядущие времена! А тут — разом вдруг обнищал умом, оскудел духом...

И понял! О, ошибаются люди, утверждая, будто там, где тесно, думается просторно.

Нет, человек рожден жить на свободе, в полете! Человек должен жить на вершинах, а не в дремучем лесу, иначе с ума сойти можно. Душа твоя будет рваться в стихию неба, а тело обречено будет жить в клетке. И дойдет человек до того, что станет строить помойку для столовой в каком-нибудь скорбном доме.

И зодчий поспешил выйти из этой рощи, навевавшей на него дурные, неясные воспоминания. Он ступил на шелковистые мхи и лишайники, обласкавшие израненные ноги. Снова увидел вершину и успокоился.

Зодчий повалился на мхи, решив основательно отдохнуть. Подождать, когда вернутся силы, чтобы штурмовать нависшие скалы, что стояли перед ним во всей их неприступности.

Время торопило его. Надо придумывать новые заповеди. Об отношении к родителям нового сказать он не может. Не было у него родителей. Нет здесь у зодчего ни капли опыта. Пусть остается, как было в старых скрижалях:

«Не вези агента в сад на горбу своем!»

Хорошо бы сказать что-то и об отношениях между мужским и женским полом.

Вспомнил зодчий, как была у него в жизни женщина, но что именно было у них, нет уже сил вспомнить. Помнит, как сидели они где-то на диване, напротив стоял телевизор, ели огурцы, яблоки. У стены на другом диване сторожил их библейский гад. Чудовище урчало, посапывало. Смотрело на них единственным, едва приоткрытым, глазом.

Стерегло их чудовище, чтоб они не согрешили, не дай Бог. Теперь-то ясно — женщина приходилась ему

любовницей. Плохо это, большой грех. Пусть и тут редакция старых скрижалей остается в силе:

«Не давай меда своего вместе с жалом!»

Полежав достаточно долго, он почувствовал, что отдохнул. Поднялся на ноги.

Телу вернулась легкость, зато в груди, там, где был Храм, стало очень тяжело. Храм буквально пригibal его к земле.

И опять пришли грешные мысли: может, не стоило воздвигать Храм из камня? А только из стекла и алюминия, совсем под модерн?

Но понял, что и это ему искушение. На вершине сейчас проверить хотят, достоин ли зодчий своего творения? Сможет ли пронести его через все головоломные скалы, занесенные снегом?

У первой же скалы, что он взялся одолеть, нависли над головой его грозно кипящие тучи.

«Как страшно клубится во гневе подножие Всевышнего! — струсил он. — Вот я подымусь повыше, пройду головой эти черные тучи, сразу припаду губами к Божьим стопам. Я вымолю прощение за тот выстрел, за то, что стрелял в родину. А Лейвик будет стоять рядом и замолвит за меня словечко. Нас помирят с Лейвиком, и мы сразу приступим к работе».

С тучей, однако, происходило что-то странное. То ли солнце ее нагревало и она подымалась, то ли ветер ее колыхал, но сколько человек ни карабкался вверх, она так и стояла над ним. Даже коснуться головой этой тучи никак не получалось.

Тогда зодчий понял: надо дотронуться до нее рукой, кончиками пальцев. Пусть через это прикосновение передаст он все свое раскаяние и смирение. Но каждый раз рука хваталась за новый выступ в скале, и только! И подтягиваясь, он полз выше.

Приходилось быть страшно внимательным. Ногой, ощупью искать место на обледенелых камнях и больше думать о безопасности Храма! Сорвись он в пропасть, и Храм разобьется вдребезги.

Пот заливал лицо, ноги заоченели до бесчувствия.

Вдруг он понял, что некуда больше поставить ногу. Камни сделались скользкими, как стекло. Не за что было ухватиться и скрюченными пальцами. Он выбросил к туче руку с буханкой хлеба и завопил:

— Лейвик, брат мой, помоги!

Но не вышла из клубящихся туч спасительная ру-



ка брата, не подхватила гибнущего Исаака. И чтобы не сорваться в бездну, он выронил буханку хлеба. А свободной рукой удержался за что-то. Спас-таки Храм!

Где же Лейвик? — всхлипывал он, окостеневшими от смертного страха губами. — Почему он не стоит надо мной ногами? Конечно, он там, на вершине! Но где же она, проклятая вершина? Еще мгновение — и им пришлось бы собирать от Храма одни осколки!

С последним, неистовым упорством он продолжал карабкаться дальше. Черные тучи так и стояли над ним. Потом в их чреве стали сверкать молнии.

Совершенно остервеневший, он увидел наконец вершину. И ковыляя босыми ногами в колючем снегу, бросился обнимать Лейвика. Учитель был где-то здесь!

Стояла над вершиной черная туча, сверкавшая молниями. Несколько ключев ее так и оставались на скалах, пряча, по-видимому, Лейвика.

Дико озираясь кругом, он завопил в лихорадочном нетерпении:

— Лейвик, где же ты, брат мой? Это я, Исаак!

На камнях снега почти не было, его сносило свистевшими здесь ветрами. Была на вершине маленькая площадка, Исаак добежал до ее края, заглянул в бездну. И обратившись лицом своим к туче, снова завопил страшно:

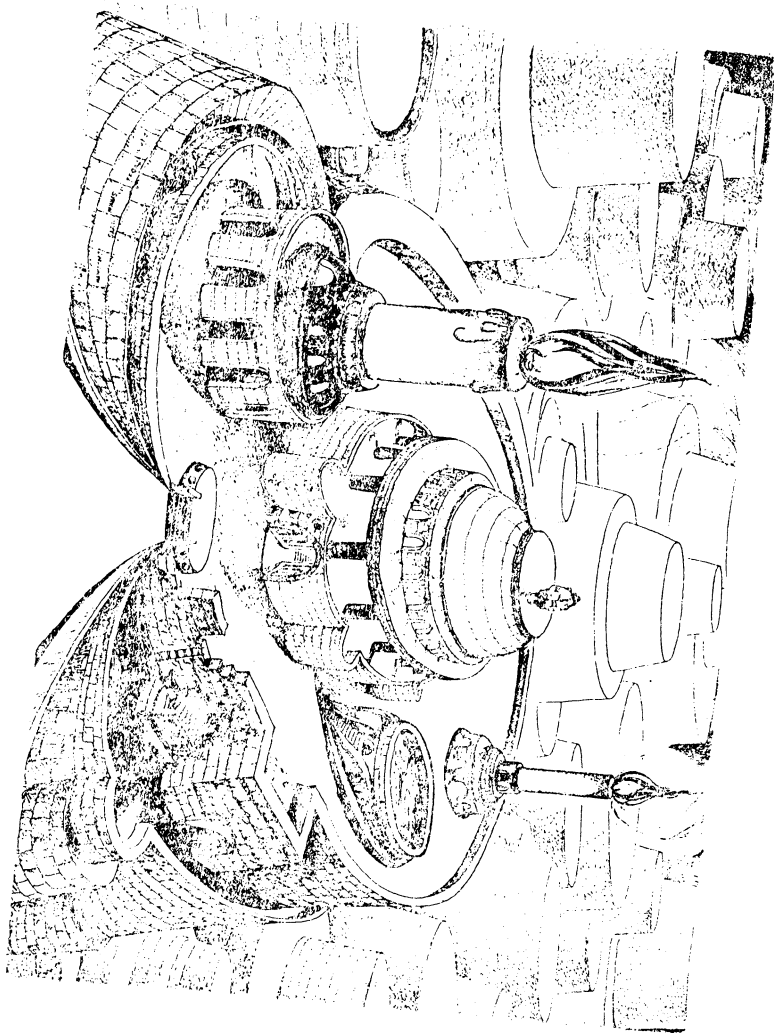
— Лейвик, где же ты? Это я, брат твой Исаак!

Голос его быстро достиг тучи. Но вместо того, чтобы захлебнуться там, как в вате, вернулся обратно, как от каменной стены. Вернулся громовым, искаженным эхом:

— Исаак, где брат твой Лейвик?

Сверкнула молния и ослепила зодчего. И громовой голос пронзил его насквозь. Дрогнули колонны Храма, зашевелилась свинцовая кровля. И затопил все его существо грохот. Затопил мозг, уши. И чтобы спасти Храм от этой катастрофы, он бросился бежать от этого места. Не отдавая себе отчета, ослепший и оглохший, он достиг края площадки и сорвался вниз.

Тут поднялся новый грохот, но услышать его Исаак Фудым уже не мог.



Глава девятая

Услышал грохот камнепада старик Авраам.

Услышал далеко внизу, в чайхане, лежа на ковро-
вом паласе.

Запрыгало в горах эхо обвалов, громы пошли по
ущельям. И пронзило Авраама нечто. Он поднял го-
лову, обвел сад мутным взглядом больного человека.

— Слышите, Юсуп? Это Исаак, сын мой, — сказал
он чайханщику с невероятными усами. — Там суд
свершился!

— Лежите папашка, лежите! — поспешил успокоить
раненого чайханщик. — Весной всегда так бывает в
наших горах: камень сорвется, ослик оступится...

Авраам сбросил с груди мокрое полотенце, которым
лечил его Юсуп, и побежал из сада.

Точно сомнамбул прошел он по тропинке над про-
пастью, где вчера пролил его кровь сын Исаак, достиг
поляны, где был карагач столетний, куст ежевики, бы-
ли валун и речушка. И вошел в пещеру.

Он нашел здесь полосатую одежду, в которой ис-
кал вчера следы пули, мундир офицерский, войлочные
тапочки, огарок свечи и спички.

Старик разодрал на себе сверху донизу странного
покроя не то чапан, не то халат. Потом собрал вещи,
оставшиеся от сына и поджог их.

Он сел на скользкие камни пещеры, разящие скле-
пом, и стал посыпать голову тем, что нацарапывали
вокруг его скрюченные пальцы.

Думал Авраам о древнем законе Ханаана, что ве-
лит сжигать одежду, оставленную сыном-убийцей. Про-
сил покоя душе его, чтоб забыли в мире о меде и жале
Исаака Фудыма.

ЗЕЭВ ПАЗ

Глава I

В синий рассветный час Зеэв Паз, а по прошлой жизни Владимир Гольдман — чемпион по боксу и филолог по образованию — летит в автобусе мимо высоких и мшистых стен Старого города, Давидовой башни у Яффских ворот, подножия горы Сион и дальше, минуя железнодорожный вокзальчик с рельсовым тупиком рожками, «конечный пункт прибытия всех изгнанников» — на окраинный Катамон.

Там, под колокольной монастыря святого Симона, на крутом каменном склоне стоит новая школа, где Зеэв Паз работает учителем спорта.

Недра крови всколыхнули в нем древнюю память, позвали его тени предков, вот и пришел Зеэв Паз в этот город библейских заветов и обетов, великих царей и пророков.

Вот они, земля и камни Иерусалима, вобравшие в себя кровь и пот избранного народа, горькую долю его на этой земле!

Зачем же позвали сюда предки Зеэва Пазы? Позвали его лететь в автобусе через весь этот непостижимый город, в немоте и душевном трепете, вот уже третий год подряд, не считая суббот, праздников и летних каникул. Для какой цели?

Сидит он в углу, на последнем кресле в салоне, жадно прилипнув к окну. Ждет в томительном предвкушении поворота у мельницы Монтефиоре: скоро возникнет гора Сион!

Может, она ответит?

Каждое утро сидит он вот так в углу, каждое утро ждет ответа.

А может, знают пассажиры в автобусе, зачем он сюда явился? Знают, но упорно всегда молчат.

Едут арабы в автобусе, облаченные белыми покрывалами и с двойным кольцом черного жгута на

головах — строительные рабочие из Рамаллы. Уходит, отплывает от этих угрюмых людей родина. И кажется Зеэву Пазу, будто каменные, серые лица их даже отмечены знаком неминуемой этой потери. Сидят они в автобусе, мчат и знают, должно быть, что мчат в небытие. Кончилась для них обжитая веками земля, и нет здесь будущего ни им, ни их потомкам.

Спрашивал как-то Зеэв Паз у школьного вахтера Давида: в самом ли деле есть такой знак на арабах или кажется ему только?

Ничего не сказал тот о знаках, а поведал ему такую притчу:

«Шли однажды долгой дорогой два мудреца, погруженные в глубокие размышления о небесных предначертаниях. И вдруг разразился один из них безутешными рыданиями. О чем ты так горько плачешь? — спросил другой. О том я плачу, отвечал первый, что Сарра, праматерь наша, была бесплодна до глубокой старости, что родился у нее Ицхак на девяностом году жизни. Но все же она родила, возразил второй, и родила такое могучее древо! О, не будь она так долго бесплодной, отвечал плачущий, не стал бы Авраам брать на ложе к себе наложницу Агарь, чтоб та родила ему сына, и не было бы вражды жестокой меж Саррой и этой женщиной, не пришлось бы Аврааму отсылать Агарь вместе с ребенком в пустыню. Но все это было, и даже выпрашивал Авраам благословение Ишмаэлю у Господа Бога: «...О, лишь бы Ишмаэль был жив пред Тобою!» На это ответ был: «Об Ишмаэле услышал Я тебя, уже Я благословил его. Я распложу и размножу род его чрезвычайно, двенадцать князей произведет он, и сделаю его великим народом». И продолжал мудрец плачущий: потому и получили они в наследство эту землю. Правда, получили во временное наследство, но все равно — не будь Сарра так долго бесплодной, возможно и не пришлось бы нам уходить отсюда, уступив эту землю сынам Ишмаэля чуть ли не на две тысячи лет».

Едут в автобусе старики — чиновники из министерства здоровья. Рядом со школой их министерство, и выходят они на одной остановке с Зеэвом Пазом. В костюмах старики и при галстуках, на коленях держат портфели. А на седых, породистых головах — черные береты десантников с кожаной окантовкой и короткими ленточками сбоку: времен Эцеля и Пальмаха береты.

Сосредоточенны, ясны их лица. О чем старикам думается в ранний рассветный час? Не о приказах и циркулярах, понятное дело, не о министерских бумажках. Встают в их памяти первые мошавы и кибуцы, ночные патрули, лица павших друзей. Смотрит Зеэв Паз на их руки с набрякшими венами, с синильными пятнами старчества. Первое время так и тянуло его пойти по автобусу и каждую такую руку целовать. Ведь если подумать — не сделай эти руки свою здесь работу, то и звать бы нас некуда было предкам нашим. Разве что, к сынам Ишмаэля? Уж лучше бы тогда в России оставаться да не рыпаться...

Со стороны поглядеть — едут они мирно в одном автобусе, арабы и евреи, дети одного отца. У тех и других одинаково тяжелые руки. Но сколько они крови друг другу пролили руками этими?! И тяжело подумать Зеэву Пазу, что и он обзаведется в будущем подобными руками, и он прольет кровь чью-то. Непременно прольет, ибо и за этим тоже призывали его на эту землю предки. И убивать он уже обучен. Понял он это прошлым летом, когда служил свой первый призыв на базе Рафидим, что в Синайской пустыне...

Вспомнился Зеэву Пазу точно такой же автобус, город Эль-Ариш, станция заправочная. Пропыленные, липкие, одуревшие от долгой дороги, ехали солдаты в коротенький отпуск к «зеленой линии». А в Эль-Арише сошли перекусить в буфете и выпить по бутылочке холодной кока-колы. Тут и подскочил к ним мальчонка-бедуин с ящиком и щетками сапожными: кому ботинки почистить? Вертелся среди солдат, приставая к каждому: за пару монет — до блеска зеркального! Вскоре заправили автобус бензином, солдаты попили, перекусили, по сигарете успели выкурить. Стали подниматься в автобус, расселись по креслам своим возле рюкзаков и автоматов. Наконец и последний солдат вошел, а следом — тот самый мальчонка, весь в слезах горьких.

«Отдай ты ему монету, — сказали солдаты, — пусть отцепится! Ехать же надо!»

«Ничего он у меня не получит, — отвечал тот, судя по чистому ивриту, сабра. — Не знаете, как обращаться с ними?»

«Вот еще нашел над кем издеваться! Брось, говорят, монету».

«А я говорю — заткнитесь там! — заорал он вдруг. — Дерьмо галутное, вы же не знаете ничего!»

Тогда Зезв Паз поднялся и пошел на него, стискивая от ярости кулаки:

«Отдай, что положено, болван! Не выставляй нас зверьем перед ними!»

Сабра поднял на Зезва Пазу свой «узи» да как завопит:

«Не приближайся ко мне! Если спю же минуту вы не заткнетесь, я прошью этого шакаленка насквозь, перебью всех арабов в этом вонючем Эль-Арише! Они весь наш мошав вырезали, всю семью мою...»

Мальчонка стоял по-прежнему на ступеньках в автобусе, утирал рукой сопли и слезы. И Зезв Паз кинул ему целую лиру. И дальше потом поехали. И всю дорогу до самого Ашкелона молчали солдаты в автобусе — недавние граждане Англии, Аргентины, России, Америки...

Молчали, погруженные в свои мысли, смотрели исподтишка на сабру, как тот плакал беззвучно...

Переводит свой взгляд на школьников Зезв Паз. Едут ученики в автобусе, его и не его, жуют резинку, балабочут на всех языках мира. Изучает их лица пытливо. И думает с завистью: нам такими уже не быть...

Вот веснушчатый паренек с поволокой в глазах. Родился не здесь, а где-нибудь в двухэтажной вилле на Атлантическом побережье. Играл себе в бейсбол на отцовской ферме, учился объезжать диких мустангов, лассо набрасывать. Был у них свой «кадиллак», и всей семейкой частенько отправлялись они колесить по городам всех штатов. Просто так, наслаждаясь жизнью, вечно смеясь...

А у тебя? — задает он себе вопрос. — Что у тебя было в детстве? Сиротский, грязный приют на окраине Ташкента, — люто-голодное время, ремесленное училище, кочевые вагончики в совхозе «Кукумбай».

Смотрит на другое лицо, восклицает невольно: Господи, какая красивая девочка! Ну просто царских кровей! Да нет, зачем же царских, а были скорее всего отцы ее да деды из потомственной династии раввинов где-нибудь в Персии или Индии: кашерная пища веками, чистота супружеской жизни, возвышенная ду-

ховность помыслов — так и получаются подобные лица, никакого секрета... Вдруг бросается в глаза ему синий рубец на смуглой, высокой шее у девочки — хищный засос! Ого, крошка! — так и взвился Зеэв Паз. Да ты, я вижу, и в половой жизни разбираешься? Ай-я-яй, в тринадцать-то лет! Вот вам, господа любезные, плоды просвещения вашего: крутятся детишки у афиш кинотеатра «Оргиль», сексуальные фильмы запросто посещают, «Плейбой» на каждом углу в свободной продаже... И наставляют их подонки вроде Норберта.

И вспомнился ему школьный коллега Норберт, читающий детям курс полового воспитания. Однажды попросили учителя продемонстрировать им те фильмы и наглядные пособия, что есть у него. Норберт прочел им полную лекцию — потрясенным остался Зеэв Паз. Шли в том фильме мужские члены всевозможных размеров, женские груди невиданных форм. И пояснялось тем, будто нечего огорчаться мальчикам и девочкам, если есть у кого отклонения в этом плане. Природа, дескать, весьма разнообразна. Из папки же своей извлекал Норберт презервативы, различные колпачки на матку, какие-то жгуты замысловатые. Потом пошли противозачаточные пилюли. И скучным голосом Норберт поучал, где и как доставать их, какие кому предписаны. А Зеэв Паз никак не мог представить себе, что это же самое он и детям говорит. Может, сам я дурак, говорил он себе. Может, так и должно быть? Может, и вправду лучше, чтоб знакомились с этим детишки от штатного учителя в школе, а не от сомнительных друзей и подружек? Но снова возник в его памяти Норберт, как ходит он целый день из класса в класс со своим «товаром», и передернуло всего Зеэва Пазу. Что ни говори, а покажи он в России такое в школе, лет десять бы схлопотал без лишнего звука.

Вот и поворот у мельницы Монтефиоре!

Мигом отлетели от Зеэва Пазу министерские старички с десантными беретами, арабы, от которых уходит родина, маньяк Норберт, получающий зарплату в одном банке с Зеэвом Пазом, ученики в автобусе, жующие резинку.

«На тебе твою гору Сион! — восклицает Зеэв Паз. — Что дала она тебе, что изменила и прибавила? Понимаю, все происходит медленно, определенно, чтобы долго жил человек, чтобы не разрушить его душу по-

трясением. Пусть он страдает по исхоженной прошлой жизни поначалу, пусть чувствует губительные потери, лишь после придет... А что же придет, чего мне ждать? Придут старость, и смерть, и стражники врат Судилица? А покуда, ты обзавелся с благословения этой горы усталостью, безмерной усталостью с отчетливо ощутимым острым лезвием в сердце — предвестием будущего инфаркта. Для этого ли позвали тебя в Иерусалим тени предков?»

И пролетает мимо безответной горы. Минует автобус железнодорожный вокзальчик с рельсовым тупиком рожками — на Катамон.

... Однажды придет он дорогою всей земли к вратам Судилица. Встретят его стражники грозным вопросом: «Откуда ты, парень, да чем занимался?» И, не стыдясь прошлого, крикнет им Зеэв Паз: «Я был учителем в Иерусалиме, готовил солдат Израилю, через добрую душу мою просеялись тысячи еврейских головорезов!» И если довод такой на них не подействует, он добавит: «Я каждое утро летел в автобусе от Рамаллы на Катамон!» И, может, тогда подobreют стражники? И скажут тихо: «Парень жил в Иерусалиме, на духовном полюсе мира. А пространство это — самая плотная их всех сотворенных материй. Он с честью выдержал все испытания, пропустите немедленно в райские кущи!»

Глава II

Пейсатый еврей из Иемена, школьный вахтер Давид, облачен в черный кафтан и черную шляпу с длинными полями. На боку у Давида висит браунинг на кожаных ремнях.

По утрам, за четверть часа до первого звонка, совершает он тщательный осмотр кругом белокаменной школы: обшаривает кусты, исследует подвалы, ямы, закутки, бомбоубежище, заглядывает в мусорные тележки и бачки — не подложена ли за ночь взрывчатка?

Не спит и не дремлет око Израиля! — так сказал его тезка, древний царь-псалмопевец. И днями пропадает Давид в школьном масличном саду, сидит, притаившись, за пепельными, ноздреватыми валунами, будто пробитыми некогда огненным дождем катастро-

фы. Приходят сюда женщины из ближайшей арабской деревушки; забитые, пугливые женщины, с головы до пят в пестрых лохмотьях; устраивают налеты, обрывая начисто маслины вместе с ветками. Вот и шугает он их отсюда.

Еще кипятит он чай учителям на больших переменах: ставит на стол сандвичи, бисквиты, кофе и сахар.

Черны лицом, пейсаты и бородаты будут стражники врат Судилища. Пристально, неотрывно следит Зеэв Паз за исполненной глубокого смысла и достоинства фигурой Давида, когда тот возится в учительской возле кипятильника. Весь он в черном облачении, точно перст указующий: помни человек, из какой тленной капли приходишь ты в этот мир, помни, кому отчет дашь! Рожден ты для смерти, уйдешь в страну праха, червей и могильных гадов, а живешь для Суда!

И все пытается себя Зеэв Паз вопросом: откуда взялось подобие существа? Неужто, как все мы, — из чрева живой женщины?!

«Господин мой приятный Зеэв, — сказал однажды Давид, прочитав сокровенные мысли учителя спорта и опасаясь за его печаль. — Прибавлять книги, сочинять их — это только прибавлять печаль. Да будет тебе известно, приятный мой господин, что истинным творчеством занимается один лишь Господь Бог. Наше же творчество состоит в постижении Бога. Он привел тебя на родину и вместо сердца каменного намерен дать сердце из плоти. Он всем здесь изменяет сердца рано или поздно. Оставь суетные намерения, начни размышлять о добрых поступках и милосердии».

Обалдеешь от такой пронизательности! Откуда дознался Давид о страсти Зеэва Пазы сочинять книги? Быть может, он знает и о страданиях пришельца в этом городе? Что в муках отходит он от прошлого, когда ветры забвения овеваят его память? Конечно же, знает! Ведь именно об этом и мечтали все наши предки, которым так и не довелось дойти до Иерусалима! А нас для того и позвали сюда.

В зимний полдень, пронизанный жгучим солнцем и запахом хвои от ближайших холмов, приходит Давид на баскетбольную площадку. Приходит болеть за Хаима Элькаяма, капитана «курдских шпионов», дать команде своего любимца тактический совет, чтоб избежать ей разгрома от «красных комиссаров». Садится к Зеэву Пазу за столик судейский.

Полуфинальная встреча на первенство школы — кипит в страстях игровая площадка. Вопят игроки на всех языках мира, грызутся друг с другом. Свистит Зеэв Паз в свисточек судейский, часто выбегает и сам на площадку, силой разнять сцепившихся. И снова бежит к Давиду за столик, поскольку умудряется еще вести с ним разговор задушевный! Садится и шепчет Давиду в черную бороду:

— Двух профессий опасался я в жизни, — говорит Зеэв Паз. — Орошать пустыню под хлопковое поле и сделаться школьным учителем физкультуры. Всегда я знал, к чему судьба готовит меня, и это придавало мне уверенность, что все происходит так, как надо. И вдруг в Иерусалиме лишился я этого дара. Будто стена глухая заслонила от меня видение будущего: а что будет дальше?

Свисток, пробежка, вбрасывание мяча с боковой линии.

— Девять месяцев я жил однажды в кочевом вагончике в Голодной степи — весь выпуск ремесленного училища того года, — тянули дренажную сеть и оросительные канавки в новый совхоз «Кукумбай».

А знаешь, кстати, где она находится, Голодная эта степь? Нет, не знаешь, конечно, и никто теперь не узнает, что там, на белых солончаках, живет выслонный бес палача Чингисхана. И, пристав к тебе однажды, этот бес будет следовать за тобой повсюду, отнимет у тебя женщину, созданную именно для тебя.

Свисток. Два штрафных броска по корзине «курдских шпионов».

— Ты слушаешь, Давид? — припадает он к черной бороде. — В Иерусалим, это я твердо знаю, в Иерусалим пришел я вопреки желаниям беса. Так неужели он приперся за мной и сюда?

Свисток, пробежка, вбрасывание мяча с боковой линии.

— Сегодня я нем и пуст, и сны мои ужасны. Странные города приходят мне в этих снах, незнакомые места. Язык же моих снов — бессвязное бормотание, тарабарщина. А днем, знаешь что бес вытворяет? Лучше тебе и не знать!

Свисток, спорный мяч.

— Кстати, Давид, я вот что хотел спросить у тебя: а как они выглядят, эти самые врата Судилища? Описано ли их устройство в святых книгах? Мне пред-

ставляется порой маленькая калитка, увитая плющом, каменная тропка до входа. Вижу иногда железные двустворчатые ворота, вроде тех, что были на стадионе «Динамо» в Молдавии. И надпись непременно по верхней дуге. Ну, не та дурацкая по кумачу: выше всех, быстрее всех, дальше всех! А что-то приличное, да к месту. Например: ваши пути — не наши пути, или: ваши мысли — не наши мысли? Черным по голубому или голубым по черному. А одеты стражники точно как ты, и на иврите говорят. Все на иврите.

Свисток, два очка в пользу «курдских шпионов». Атака «красных комиссаров».

— Чему ты смеешься? — спрашивает Зеэв Паз, заметив улыбку на лице стражника. — Смеешься моему невежеству?

— Ни в коем случае, приятный мой господин! Ты видел сейчас этот удачный бросок Хаима Элькаяма? О, быть может, победа еще не упущена, быть может, «шпионы» еще покажут себя?! А ты продолжай, продолжай, так тонко ты все излагаешь. Жаль, что я не говорю на твоём языке.

— Хорошо, Давид, — говорит Зеэв Паз. — Во что тогда превращает человека размягчение сердца в Иерусалиме? Может, пугает меня это, может, я не согласен испытывать никакие изменения натуры своей. И пусть остается все как есть: пусть концы одних событий смыкаются с началами невероятных других. Пусть не будет у меня отнята память об испытанных некогда обладаниях, как это было, к примеру, в заброшенной таджикской деревушке под тяньшаньскими отрогами, пусть всегда волнует меня жажда творчества. Э, нет, Давид, позволь уж заявить мне свое несогласие с твоим основным догматом: даже сейчас, когда я низринут в жестокую немоту, мне предпочтительней думать о собственном творчестве, нежели постигать чужое, чье бы оно ни было.

Свисток, пробежка, вбрасывание мяча с боковой линии.

— Семь дней я владел однажды монополией на беспредельное творчество. Я расскажу тебе, как это было в той деревушке, с чего началось, ибо всего, что было со мной потом, я уже не помню. Не передать мне того ощущения. Разве расскажешь, что такое власть над словом и духом?

Свисток, два штрафных броска по корзине «курдских шпионов».

— Кругом была весенняя, изумрудная травка, поляна, полыхавшая кроваво-яркими маками, и дождь шел. Мы лежали в серебряной палатке на надувных матрасах, слушали громы в горах, смотрели, как кочуют меж скал тучи. Потом она вышла на поляну и стала собирать камни — сложить очаг и сварить нам похлебку. А я смотрел на ее мокрые волосы и мокрое платье, и так пришло это, так началось. Очень просто пришло, как приходит всякое чудо, — она ходила и собирала камни. Я увидел очаг из камней, скалы и пропасть.

Внимательны иерусалимцы к печали и памяти пришельцев. Отвлечшись от игры, целиком захватившей его воображение, озирает стражник Давид кусок пространства, лежащего за обрывом баскетбольной площадки. Видит он высокое небо с голубыми куполами и жгучим солнцем, долину глубокую с яблочной плантацией на дне. А дальше — конечная остановка восемнадцатого и четвертого автобусных маршрутов, бензоколонка, лестница в гору из богатых вилл, холмы, гряда за грядой, поросшие пиками редких елей — до самого Бейт-Лехема. Дорогой этой пришли однажды к горе Мория патриархи Авраам и Ицхак для великих искушений.

— Как много ненужных эмоций у капитана «курдских шпионов» Хаима Элькаяма, — с глазами полными грусти, говорит Давид. — Еще я вижу, что у него слабые ноги и полное отсутствие тактического расчета. Представь себе, приятный мой господин, вот этими слабыми ногами Хаим пешком пришел из Ирака! Добрался до курдских повстанцев, где лояльная к евреям граница, и вот он в Иерусалиме!

Свисток, пробежка, вбрасывание мяча с боковой линии.

— Ты продолжай, господин мой приятный Зеэв, — говорит Давид. — Речь твоя так приятна! Я очень люблю русскую речь и русские песни.

— Язык! С чем бы тебе сравнить мой язык, Давид? Увы, в одном, мне сдается, ты прав: печали в этот мир я больше уже не прибавлю, ничего не напишу. Во всем твой иврит виноват. Иврит, на котором говорят стражники врат Судилища, когда мы к ним приходим. Быть может, для этого нам и надо его изу-

чать?! Конечно, я мог бы удрать отсюда куда-нибудь в Австралию, и там, среди кроликов и кенгуру, мне снова могло бы явиться чудо, как в той деревушке под тяньшаньскими отрогами! Но нет, разве сбегу я отсюда? Из Иерусалима я никуда не сбегу, здесь я умру!

Свисток, два штрафных броска по корзине «курдских шпионов».

Крутит Давид на пальцах две свои пейсы — признак высшего волнения у стражника! С большим разрывом проигрывает команда Хайма Элькаяма, дерзкого мальчика из Багдада, пешком пришедшего в Иерусалим через два фронта и четыре вражеские границы. Каких только чудес не услышишь в Иерусалиме?!

Пейсы у Давида длинные, по самую грудь свисают, да в локоны еще завитые. Две пейсы, будто два органа дополнительных, две антенны, чтоб тоньше постигать творчество Господа Бога. Что ответишь учителю спорта на эту пламенную исповедь, чужую, музыкальную речь? Так просто все, так понятно!

— Станешь ли упрекать меня, если я вмешаюсь в твои расчеты и планы? — спрашивает стражник.

— Я слушаю, говори!

— Увидев сейчас блестящие прорывы «русских» мальчиков, их точные броски и грамотную защиту, я думаю, что «красные комиссары» способны одолеть в финале команду класса йуд-бет «марроканских потрошителей». Но когда ты возьмешься составлять сборную школы для городских состязаний — не забудь, прошу тебя, Хайма Элькаяма. В нем столько огня и воли: дай побегать ему большие кроссы с гантелями до Катамона и обратно, поупражняй его в зонной защите и дальних прорывах, и ты не пожалеешь. Позволь мне надеяться, приятный мой господин, что ты простишь ему сегодняшний проигрыш!

Глава III

В ту минуту, когда, окончив телефонный разговор с Юлием Мозесом и потрясенный жестоким разочарованием, Зеэв Паз опустил трубку, ему вспомнилась вдруг длинная песчаная коса Ланжерона на берегу Черного моря, и та ночь в палатке, когда Анка открыла ему тайну своего отца и тайну своего рождения.

Вспомнил, как подошел после этого к берегу, плескавшему тихой волной, и, обратившись к далекому горизонту, где мрак пустынного неба сливался с мраком воды, сразу представил себе почему-то, что именно здесь пятнадцать лет назад Юлий Мозес погрузился в море с маской и аквалангом, а вышел уже на том берегу, в Турции! Вспомнил, как захваченный этим видением и тем, что рассказала Анка о своем отце, Зеэв Паз тут же поклялся себе во что бы то ни стало привезти в Гиватаим Анку и ее мать, Валентину Петровну, определив себе это смыслом и целью всей жизни.

Подвиг Юлия Мозеса так взволновал его, что, устремившись взглядом в ту ночь в сторону Турции, Зеэв Паз сумел даже представить себе их встречу в малейших деталях.

И первая встреча их выглядела так:

... Вот приедет он в Гиватаим, пойдет по шумным, кипящим людьми и машинами улицам. Будет заходить в магазины и лавочки, каждого расспрашивая: где здесь находится клиника хирурга Юлия Мозеса? Будет смотреть по сторонам, слушая разноголосицу города, вдыхая с наслаждением запахи родины — соленую свежесть Средиземного моря и ароматы апельсиновых плантаций.

Войдет наконец в вестибюль, сверкающий белыми колоннами и мраморными стенами. А у колонн будут стоять кадучки с пальмами.

Он представится дежурной сестре за стойкой, еще раз осведомится: действительно ли это клиника Юлия Мозеса? И в двух словах ей все растолкует.

А девушка просияет вся, встрепетается и полетит в операционную доложить шефу о дорогом, необычном госте.

Юлий Мозес будет в это время на операции важной и сложной. И Зеэву Пазу придется ждать его в вестибюле битый час, а то и больше. Будет прохаживаться между колонн с пальмами, и на душе у него будет легко и радостно, будет в волнении потирать руки, подмигивая сам себе: ах! Какое известие сообщит он сейчас этому мужественному человеку!

Вдруг сильно и настежь распахнется дверь из операционной, и, срывая с себя на быстром ходу, в крови и слизи еще, резиновые перчатки, появится он...

За то короткое мгновение, что Юлий Мозес бросится ему на шею, Зеэв Паз успеет узнать его по той

маленькой, обломанной фотографии, которую Анка показала ему в палатке на берегу Черного моря: все та же черная, взлохмаченная шевелюра, и те же точно очки с толстыми стеклами...

— Так это вы? — закричит Юлий Мозес. — А где мои дорогие дочь и жена? Боже мой, ребенку было тогда четыре годика!.. Я так спешил, так рвался на родину! Простите хоть вы меня?! Я вышел тогда на базар с одной лишь сеткой-авоськой, «купить помидоры» — сказал я Вале! Да, я обманул их, но поймите — не мог я иначе!..

Зеэв Паз крепко обнимет его и тоже закричит:

— Не надо просить прощения! Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Они здесь! Я привез их обеих...

Все так же тесно обнявшись и плача от радости, они выйдут из клиники, сядут в собственный автомобиль главврача и немедленно помчатся в ульпан, где-нибудь под Ашкелоном. А Анка и Валентина Петровна будут их там в нетерпении дожидаться...

Так рисовалась ему первая встреча с Юлием Мозесом, и рисовалась очень долго, ибо все это походило на готовый роман: завязка, развитие и счастливый конец...

Вспомнив о счастливом конце, Зеэв Паз нашел в себе силы горько усмехнуться, все еще стоя у телефонного аппарата, после первого и последнего своего разговора с Юлием Мозесом. И потому он так усмехнулся, что был и второй вариант встречи в Гиватаиме, который тоже не состоялся.

На обдумывание второго варианта в распоряжении Зеэва Пазы был целый год, сладчайший, неповторимый год любви.

Во втором варианте, с драматическим концом, он снова приезжал в Гиватаим. Шел по улицам, вдыхая запахи моря и апельсиновых плантаций, заходил в прохладный, мраморный вестибюль с кадушками в пальмах, обращался к девушке. А Юлий Мозес снова вылетал из операционной, срывая с рук резиновые перчатки. Все так же тесно обнявшись и плача, они выходили к подъезду, садились в машину и летели в ульпан, где дожидалась их теперь одна только Анка.

В летящей на бешеной скорости машине, мимо цветущих садов и полей, кибуцов и мошавов, Зеэв Паз объяснял Юлию Мозесу, почему не поехала в Израиль Валентина Петровна: ее ненависть к помидорам, евреям

и сеткам-авоськам пересилила соблазн лучшей судьбы. И как эта женщина ни дралась за Анку, Зеэв Паз все-таки женился на ней, женился и привез к отцу!

Так и не узнал Зеэв и никогда теперь не узнает — сохранилась ли у Юлия Мозеса черная шевелюра и очки с толстыми стеклами. Терпения не хватило приехать в Гиватаим! Оказавшись в ульпане на берегу Средиземного моря, он в первый же день приезда в страну нашел в телефонной книге его имя и позвонил прямо домой.

— Господин Мозес? — сказал Зеэв. — Простите, что говорю на идиш! Быть может, русский вы позабыли, а ивриту я еще не учился... Да, я оттуда... Нет, не муж... Я с вашей дочерью жил! Нет, дружил, любил... Ах, это ли важно? Я хочу сообщить вам нечто более странное: теперь уже никогда, понимаете — никогда!.. — И Зеэв Паз разрыдался прямо в трубку.

В ответ на его безудержные слезы, послышались из Гиватаима смех и пустые слова утешения.

Сытый, рокочущий голос поведал Зеэву Пазу, что Юлий Мозес давным-давно забросил свою хирургию и состоит сейчас владельцем заводика по производству мороженого: надо же обеспечить скромное существование семьи: двух сыновей, дочери и жены по имени То-ва! Юлий Мозес не счел для себя любопытным спросить Зеэва Пазу: как выглядит Анка и что с Валентиной Петровной? Как вообще обошлась тогда его шутка с сеткой-авоськой и помидорами, которую он выкинул им пятнадцать лет назад, так и исчезнув бесследно? Ничего такого он не спросил, потому что стал очень почтенным господином. Он стал приглашать Зеэва встретиться с ним за чашкой кофе в семейном кругу, но предложил это сделать не сейчас, а в более отдаленное для этого время. Потому что сейчас, если верить прогнозу, ожидается большая жара, хамсин, а бедный его заводик и без того трещит от натуги, едва справляясь с многочисленными заказами.

Сквозь потрясение и сумятицу рвущихся на язык вопросов Зеэв Паз нашел в себе силы вежливо распрощаться с Юлием Мозесом, дал обещание позвонить непременно после хамсина и опустил трубку.

Вот и поговорил он с человеком, к которому рвался всей душой, с человеком — если уж прямо сказать, — изменившим всю его жизнь! И Зеэв Паз услышал звон во всем теле... О, ужас! Прав оказался Вадим — кра-

мольный сказочник: «Был Вухарест у Юлия Мозеса, была конференция медицинская...» Правы были Анка и Валентина Петровна: «Подлец и гнида твой Юлий Мозес!». Все оказались правы: Юлий Мозес никогда не входил в море с маской и аквалангом, не появлялся в Турции! Не переплывал Днестра темной ночью под свет кинжальных прожекторов и пулеметную стрельбу! Ничего такого не было у его героя.

Хорошо, но почему он ни разу не написал им, не дал о себе знать? В чем тут дело?

А, может, здесь, в Израиле, на Святой Земле, на человека действуют иные законы и силы? И эти законы снимают с тебя все долги, все обязанности? Освобождают от всего, что было за этой чертой?

И Зеэв Паз представил себе, какой огромный багаж памяти, быть может, совершенно ненужной ему памяти, привез он сюда. И позавидовал Юлию Мозесу — так быстро посетило его забвение!

Глава IV

Сразу после седьмого урока удивительно быстро пустеют этажи и двор белокаменной школы.

Зимнее солнце повисает над мягким рельефом Иудейских гор, заливая золотом и последним теплом холмы, долину и ту тропу со стороны Бейт-Лехема, по которой шли первые патриархи.

На тяжелых ногах тащится Зеэв Паз в раздевалку, волоча за собой скамью, столик судейский, кучу баскетбольных мячей в сетке: изнеможенный, нервы расстрепанны, а в сердце особенно четко ощущается острое лезвие будущего инфаркта... Благословен Ты, Господи, дающий силы усталому!

Спрашивают школьные коллеги: на что он зарплату тратит, все эти тысячи? Почему автомобиль не купит? Это же так естественно! А может, он праведник великий, учитель наш спорта? Может все у него на благотворительность уходит?

Молчит Зеэв Паз на эти вопросы. А хочется крикнуть, ой, как хочется: «Да, господа коллеги, исключительно на благотворительность! На шубки, манто, горжетки, палантины... Такие мы, «русские», чокнутые!

Пуста стоянка автомобильного стада при школе.

Даже стражник Давид отчалить успел на своем «фиате», куда появился на дороге Зеэв Паз: — душ горячий принял, переоделся, запер двери парадные.

«Какие счастливые, — думает он о школьных коллегам, шагая к автобусной остановке. — Ни вам стона глухого от схватки иврита с русским, ни вам бокса, к которому вы все здесь так равнодушны, ни Анки!.. А только арабы на уме, террористы, милуим, цены на бензин и сахар. Ну так это же на всех поровну, и на меня в том числе!»

Ближе к вечеру особенно тяжело ехать мимо горы Сион. Вечером никто не защищен от странных сил, что начинают действовать здесь на человека. Ведь это так рядом с долиною Страшного Суда, где вдруг разверзается память до последних глубин и так настойчивы мысли о бородатых стражниках, черных лицом.

«Допустим так, — начинает вертеться в нем старая пластинка. — Допустим, обрежет Анка сына, обрежет мужа, и все четверо, вместе с Валентиной Петровной, примут иудейство. Приедут ли сюда?.. Или иначе: умрет сын, умрет муж, умрет Валентина Петровна, а я высылаю ей вызов, и она моя!.. — И сразу же отбрасывает прочь от себя эту мысль. — Нет, нет, не приведи Господи еще раз умереть кому-нибудь возле нее! Пусть лучше остается как есть. Пусть стелется сейчас там поземка, как это бывает в январе, пусть стоит она на троллейбусной остановке или в очереди в гастрономе. А завтра утром снова идет себе на работу...

«Помилуйте, — восклицает Зеэв Паз, — к кому ей ехать сюда? Разве я написал ей, что я здесь, что жду ее, надеюсь когда-нибудь увидеть? Нет! Молчу, как молчал Юлий Мозес — ни письма, ни открыточки... Нельзя же так: зло и ненависть порождает такое молчание. Одно только слово напиши им Юлий Мозес в свое время, и, может, простила бы ему Валентина Петровна все? И Анку бы воспитала иначе, внушая ей совсем другое о народе ее отца и этой маленькой стране, пахнувшей морскими приboями и цитрусовыми?! Тысячи раз прав тот мудрец, сказавший однажды, что нельзя воровать и мошенничать еврею, чтоб другие потом не сказали: нет Бога и правды у них, негодяи они все! Вон что вышло из-за обмана Юлия Мозеса: прибавился лишний евраг моему народу, и потерялась Анка, живая душа!..»

Тут возникает новый вопрос у Зеэва Пазы. «А что,

кабы не помер тогда Моня, от которого она ребенка ждала? Тот самый Моня, ученик мой с красивеньким, косеньким пробором, с которым спуталась Анка с отчаяния, когда я в Ленинграде женился?

«Уж Моня никак не стремился в Израиль, не разило от него помидорами да сеткой-авоськой! Думаю, и Валентина Петровна против Мони ничего не имела... Так вот, женись на ней Моня тогда, была бы, интересно, возможность увидеть их тут когда-нибудь?»

Глава V

Улететь с первой попытки у него не вышло.

Чудо просто, как он еще в криминал не влип. Зато бес вислоусый так и вертелся, так и подталкивал в спину: тот самый, с белых солончаков.

Когда садился рижский рейсовый, он вышел к чугунным решеткам, отделяющим заснеженное поле — увидеть, сколько из самолета сойдет пассажиров и кто именно?

Спустилось человек тридцать транзитников — приличная группа — размяться и перекусить в буфете. Зеэв Паз смешался с ними и тоже пошел в буфет. Купил пачку печенья. На пачку печенья денег еще наскреблось.

Потом объявили посадку и продолжение рейса, он развязал шарф на шее, разворошил себе волосы и побрел вместе со всеми к самолету.

Поднимаясь на трап, он вскрыл пачку и принялся грызть бисквиты: так оно было убедительно, это ему бес неплохо придумал.

— Билетик ваш? — спросила его стюардесса.

— Вы уж простите! — Зеэв Паз показал рукой в самолетную дверь. — В портфеле забыл, там, на кресле...

Мелькнуло сомнение на хорошенькой мордашке: много их, всех не упомнишь! И пропустила, поверив.

Вошел он в салон, отыскал в хвосте свободное место, уютное, с иллюминатором. Сидел, тихо радуясь. Потом заревели турбины, уже трап собирались откатывать — вроде бы пронесло! Тут и нашла его девушка с хорошенькой мордашкой.

— Простите, гражданин: билетик?

Так и застонало в нем все. Зеэв Паз сорвался с

места, побежал по салону и успел напрыгнуть на отъезжающий трап. Ну просто чудо, что подошла стюардесса, когда турбины ревели, когда милицию нельзя было вызвать!

Ночь провел здесь же, в аэропорту, на мягких креслах.

«А может, тебе не лететь к ней? — пытался он бороться с соблазном. — Все кончено, давно изменилось, ты же видишь: тебя не пускают к ней! Скажем, она ничего не знает — ни о Марсовом поле, ни о Юзе, ни о челюсти твоей расквашенной, — сидит и ждет! Господи, а сколько же она ждет меня? Год, сто лет, сколько же это продолжалось? Нет, самое честное дело — вернуться сейчас в Ташкент, поступить на работу воспитателем в сиротский приют, где вырос...»

Утром он снова вышел к чугунным решеткам.

Снова сажился рижский рейсовый.

— Алло, ребята! — Остановил он летчиков. — Простите, ребята, можно вас задержать на минуту? Вот взгляните — справка из психбольницы, справка об излечении: выписать — выписали, а вот деваться мне в этом городе совершенно некуда, торчу я тут, как пес на холоде, да без копейки денег к тому же. Подбросьте меня до дома, а? А я вам за это часы подарю. Видите — швейцарские, плоские, с голубым циферблатом! Я их в Москве обменял у боксера иностранного. Я чемпион вообще-то, может, слышали такую фамилию? Смешная у меня фамилия, совсем не боксерская, верно? Мне челюсть сломали, видите пластины во рту? Врезали по мозгам что надо, на всю катушку, как говорится. Так и угодил в психушку... Да, была такая история... Холодно здесь ужасно!

Летчики взяли его прямо в кабину.

Сидел Зеэв Паз рядом с радистом на узком сиденьи. Поминутно хватал за руки то штурмана, то пилота, умоляя их принять в подарок часы: такие хорошенькие, импортные, с тоненьким будильничком, ну просто куколка, а не часы! Сплавить бы их на толкучке в Одессе, а там и прокутить всем экипажем в ресторане.

Он им всерьез мешал вести самолет, а те не знали, как от этого придурка отделаться. Ну просто сумасшедший! Поди знай, уж не липовая ли справка об излечении!

— Ну что, часов мы не видели? Дай дойти до по-

садки! Смотри-ка вниз лучше, Молдавия твоя пошла! Что же ты, чемпион, в таком зачуханном месте прозябаешь? В жизни бы не сказал, что тут приличное что-то водится. Да нет, брат, ты уж не обижайся, пожалуйста, сам посмотри, какая земля неприглядная!

...Зеэв Паз выскочил из троллейбуса, в два прыжка достиг цементного крыльца и позвонил.

Анка открыла дверь — ахнула, оцепенела, потом схватилась за лицо скрюченными пальцами: будто привидение выросло перед ней чли мертвец.

— Тсс, — прошептала наконец. — Мама в ванной купается!

Зеэв Паз припал к ней, раскрыв халат на груди.

— Аня, кто там пришел? — раздался из ванной голос Валентины Петровны.

— Никто! — ответила она. — Детишки позвонили, балуются.

Задыхаясь от мучительно памятных запахов горячей кожи, он стал целовать ей груди, застонал, обкусывая соски, потом припал губами к шее.

— Чего ты мне голову морочишь? — крикнула Валентина Петровна. — Я же слышу, кто-то пришел!

— Ну, Володя, Володя это!

Желая оторвать его от себя, она уперлась ему в подбородок; разбитый, совсем еще хрупкий подбородок. От боли внезапной возникло огромное солнце, величиною во все сознание.

— Не слышу, скажи громче?

— Ну Володя, Володя!

Ноги стали ломаться у него, и, теряя сознание, Зеэв Паз почувствовал руками окаменевшие от напряжения ее ягодицы...

— Какой Володя? Провизор из аптеки нашей?

— Да нет! Который боксер! В Ленинграде который женился!

Как при нокауте, из ног уходила сила. Чтоб не упасть, он крепко обхватил ее, а Анка все отступала назад, пока оба они не стукнулись о дверь ванной, где сразу перестала плескаться Валентина Петровна, вспомнив его и одновременно поняв значение этого глухого удара в дверь.

— О, горе мое! — взревела она оттуда. — Ну почему липнут к этому дому одни жиды?! Чего им надо от нас? Аня! Выгони его немедленно!

— Сейчас, сейчас он уйдет, мама!

Анка перестала упираться ему в подбородок, и все десять острых ее ногтей впились ему в лицо. Боль же в челюсти стала утихать, а солнце сразу уменьшаться, уступая место слуху и мыслям.

— Чего он хочет от нас? Если он немедленно не уйдет, клянусь, я выгоню тебя из дома, ты с голоду умрешь, ты института никогда не закончишь!

Все еще боясь упасть, он крепко держал ее. По лицу побежали струйки крови, мешаясь с холодным потом боли. Тогда Анка вцепилась ему в горло и стала душить. Она душила его самым серьезным образом, невероятно сильными пальцами, и он удивился этой ненависти в ее пальцах, это его озадачило.

— Мама, он очень бледный! — закричала Анка, рыдая.

— Не слышу! Почему ты не хочешь сказать, чего вы там делаете?!

— Он страшно худой и бедный, еле на ногах держится!

— Аня, я вены себе вскрою сейчас! Вот этой бритвой, что подмышки бреем!

— Дай я его покормлю хотя бы?!

— Все, я бритву взяла! Корми его моей кровью!

— «Лучаферул» — сказал он Анке. — Завтра в полдень. Иди, отними у нее бритву!

Назавтра опухший от пьянки и бессонницы, со следами ногтей на лице, Зеэв Паз пришел на улицу Ленина, к гастроному «Лучаферул».

Был человек, кого он обрадовал своим возвращением в этот город. На крутой Рошкановской горке жил Вадим. Изголодавшись по другу и слушателью, он промучил Зеэва Пазу всю ночь, читая новые сказки.

Его тошнило от сказок, тошнило от этой дешевой кислятины «алб-де-масе» в высоких бутылках с сургульными головками. Но настоящая пытка была от челюсти: ничего не зная о пластинах во рту, Анка чего-то там растревожила вчера. Дробно и мелко челюсть стучала сейчас на морозе, и голову он старался упрятать поглубже в шарф, но это плохо согревало его.

Анка появилась с улицы Стефана Великого: он увидел ее издали в зеленом, легком пальто и поразился, что нет на ней белой шубы.

— А шуба? — спросил он. — Где твоя шуба? Ну это самое, длинное такое и теплое?

— Ты с кем-то меня спутал, — насторожилась Анка. — Быть может, со своей женой?

— Ах, прости, я кажется болен, все еще болен, черт знает чего несу!

В бревенчатой хате на Рошкановской горке остался с ночи спертый табачный угар, валялись кругом пустые бутылки, окурки от сигарет, пепел, залитые вином листы рукописей.

Сам же Вадим спал на кровати в одежде и ботинках.

Было холодно в нетопленной хате. Они сели за стол, не раздеваясь, как и вошли.

— Шуба! — вдруг вспомнила. — Белая шуба! Стидно в институт ходить в этой дряни зеленой!

— Бедная моя, бедная! — воскликнул он. — Будет у тебя шуба, все, что душа пожелает — у нас с тобой будет! Давай к отцу добиваться?!

— А мама?

— Ну вот, снова об этом! Анка, любимая моя, решишь же наконец: мы или она? Она же губит тебя, растоптала в тебе все отцовские корни, лучшую твою половину! Ты наша, Анка, ты его дочь!

— Володька, замолчи, — закричала она. — Отец у меня негодяй, а ты — скотина, скотина...

Зезв Паз подошел к ней и обнял примирительно.

— Да, согласен, что скотина: тысячу раз — скотина! Но я же развелся, снова вернулся к тебе, снова умоляю на коленях — поедem к этому великому человеку. Свое наказание я уже получил: челюсть, психбольница. Я даже доволен, что наказан немедленно...

Она его перебила:

— Зачем я тебе такая? Ну что ты от меня хочешь?

Ему почудился вдруг в вопросе этом отголосок вчерашней ненависти, что была в ее пальцах, и это опять его озадачило.

— Умоляю тебя, Володька, — не мучай, скажи, что ты уже все знаешь.

— А что мне знать? Знаю, что лучше ему не писать, пусть не таскают вас тут за связь с изменником родины, и вообще позабудут о вашем существовании... Нет, ты только представь себе его подвиг! Быть может, он Днестр переплывал глухой ночью, быть может — Дунай! А там — собаки, вышки, засады, прожекторы через каждые сто метров...

— Не может быть, чтоб тебе не сказали этого,



— отрешенно твердила Анка что-то свое. — Ты просто садист, издеваешься...

— Меня ты ругай сколько угодно, я того заслужил, — горячо убеждал ее Зеэв Паз. — Только отца, прошу тебя, не трогай! Откуда нам знать, какие владели им чувства? Туда он рвался, в пески Синайской пустыни, спасать под шквальным огнем солдат своей родины. Конечно же, там ему виделось место врача...

— Разве Вадим ничего тебе не сказал?

Анка вскочила на ноги, задрала спереди всю одежду, выпятив Зеэву Пазу свой живот.

— На, любимый, смотри! Вот что ты сделал своей женитьбой!

И Зеэв Паз все увидел.

— Неужели Вадим? — прохрипел он.

— Нет, — сказала она. — Вадим тебя любит.

Потом он перестал понимать свои вопросы и ее ответы.

Если бы Моня остался в живых, все бы могло обернуться иначе, и сейчас по дороге домой Зеэв Паз не вспоминал бы в муках своего ученика с красивым, косеньким пробором, а просто знал, что все равно они придут. И любовался бы спокойно легкой сиреновой дымкой, что опускается в вечерний час на гору Сион, слышал бы звоны певучих колоколов, играющих первую вечерю на башне монастыря Сердце Христово, и звоны бы эти навевали на него совсем иные воспоминания, очень приятные воспоминания...

Глава VI

Удары гонга, разносимые мощными усилителями во все уголки Дворца спорта, вязли в ревущих кольцах трибун, но особенно нервно воспринимались тут, в раздевалке: — оставшиеся финалисты, ожидая выхода на ринг, готовились каждый к своему бою.

Удары гонга приближали и его выход на схватку с Товмасыном. Он места себя не находил, все больше отчаиваясь, потому что никак не появлялся мальчик.

Белыми, бескровными губами Зеэв Паз все твердил себе:

«Во имя подвига твоего, во имя памяти твоей, во имя всех нас — приди же помочь мне!..»

Слоноподобный тяжеловес Нурмухамедов сидел на табурете возле умывальника с запрокинутой головой, выгнув вперед толстую, бычью шею. Руки его, поросшие густыми черными волосами, безжизненно свисали, касаясь перчатками пола. Он так и не снял после боя перчаток, а люди, окружившие его, были настолько испуганы, что никто из них так и не догадывался содрать их с него. Уже позвонили куда следует — с минуты на минуту ожидали прибытия скорой помощи. А пока с головой казаха возился врач, суетясь и нервничая, ибо место его было не здесь, не в раздевалке, а сидеть у ринга, фиксируя технические нокауты, останавливать кровь между раундами, совать под нос тампоны с нашатырным спиртом.

Бинтуя руки и пританцовывая, Зеэв Паз приблизился к рассеченному тяжеловесу и ужаснулся его ране: точно хрястнули топором по массивной брови, лбу и скуластой щеке. Густой, черной щеткой бровь висела над глазом, обнажив глубокую, до белой кости, расщелину с трепещущей жилкой и дымящимся фонтанчиком крови.

«Господи, мальчик, неужели и мне проиграть так? Ты же всегда приходишь по первому зову... — И снова взялся шаманить: — во имя смерти твоей, во имя жизни твоей!»

На другом конце раздевалки, у высоких зеркал, счастливый и плачущий, сидел Женька Бадалов, засыпанный букетами цветов, — только что выиграл у великого Тамулиса! Мировая сенсация! Когда он кончит плакать, толпа возбужденных поклонников, что ломаются сейчас в раздевалку, напирая на милиционера у входных дверей, поднимут Женьку на плечи и по центральным улицам, через всю Москву, понесут его до гостиницы.

А мальчик все не приходил.

Было похоже, что он вообще забыл о Зеэве Пазе.

Зеэв Паз заглянул в открытые настежь двери с широкой ковровой дорожкой, ведущей к помосту, увидел на ринге чей-то жестокий бой, а в уши ударила волна шума от ревущих трибун. От этого он совсем расстроился: нельзя смотреть чужие бои перед своим выходом — забыл даже такое простое правило!

Продолжая разминаться, Зеэв Паз напрягал всю

свою волю, не теряя надежды вызвать этого худенького ребенка со смертельной скорбью в глазах. Где бы мальчик сейчас ни находился, он обязан был услышать его.

«Ты видел сейчас, что на трибунах творится? — стал он жаловаться мальчику. — Одни армяне, одни армяне! Я слышал, будто прилетели они на этот бой двенадцатью специальными самолетами из Еревана, болеть за этого надменного, хвастливого Товмасына. Знал бы ты только, что он заявил журналистам обо мне? Жаль, что ты газет не читаешь!.. Так где же ты, мальчик? Кроме тебя — здесь нет у меня никого. Неужели ты не хочешь понять, насколько я одинок?!»

Ринг стоял посреди зала на плоской конструкции, затопляемый голубым светом мощных юпитеров. Зрителей было тысяч пятнадцать — битком набитый Дворец спорта, а кругом наставлены уйма телевизионных камер — шла прямая трансляция на всю страну и страны Восточной Европы.

Зезв Паз попытался представить себе, как далеко отсюда сидит у телевизора Анка и ждет, страшно волнуясь, его выхода, а рядом сидит за столом Вадим и перед ним бутылка «алб-де-массе», к которой он припадает прямо из горлышка время от времени, — единственные люди на свете, кто волнуется в этот час за Зезва Пазу.

Все финалисты разминались в одной раздевалке — безобразное упущение организаторов чемпионата! Помещение было огромным, но никак нельзя было укрыться от глаз противника, чтоб тот не видел всех твоих движений: удары, комбинации, атаки. И это страшно действовало на нервы; просто желания не было разминаться по-настоящему.

Товмасын же все время торчал у него за спиной, и что-то там вытворял. А чего именно, Зезв Паз не мог узнать. Едва поворачивал голову, тот сразу все прекращал и дрыгался с невинной физиономией. Быть может, заговаривал в спину какими-то особыми армянскими заклятиями?

Решив наконец узнать это, Зезв Паз пошел на хитрость. Направился к большим зеркалам, где плакал на табурете Женька Бадалов, и все увидел. Зеркала отразили ему Товмасына — тот избивал его сзади в нескольких сантиметрах от спины: разминался в свое

удовольствие, скотина. Это совершенно взбесило Зеэва Паз.

«Ах, мальчик, ты всегда приходил, когда нужно, — взмолился Зеэв. — На самые задрипанные соревнования приходил выручать меня! Ну где же ты?»

А гонги звенели, и время шло. На Зеэва Паз и Товмасына набросили по махровому халату, зашнуровали перчатки им на руках. Оба поступили в распоряжение массажистов.

Ладони у массажиста были сухие и ловкие, а на твердых местах плеч и ног становились железными, расслабляя бугры мышц.

Зеэв Паз сидел с закрытыми глазами, расслабив, как положено, лицо и даже язык во рту, но в мыслях стал читать про себя этот коротенький рассказ с самого начала, чего не делал уже очень давно. Читать так, как и был он записан в одном из отчетов послевоенного трибунала:

«...Обвиняемый Роберт К., прослуживший долгое время в конвоях концлагеря Аушвиц, утверждает, что жертвы двигались в газовые камеры безо всякого сопротивления. Голые, они вообще не помышляли об этом. Но приводит случай необычного поступка. Некий еврейский мальчик, с виду совсем еще ребенок, сумел пронести на себе противотанковую гранату до самых дверей душегубки. И, выбежав из колонны насколько было возможно, — метнул ее в скопище солдат, собак и офицеров. Имя его навсегда останется неизвестным, поскольку взрывом огромной силы мальчика самого разбросало на части».

Зеэв Паз ступил на ковровую дорожку и пошел к рингу.

Шел он, опустив глаза, не вышаривая по трибунам друзей и знакомых — здесь ему некого было искать.

Двумя шагами сзади шел за ним Товмасын. Закупившие лучшие места, поближе к помосту, армяне вопили ему от восторга. Товмасын доставал из-под халата руку в перчатке и махал им.

Стоя в ринге в назначенном углу, Зеэв Паз дожидаясь удара гонга к началу боя.

Тренер привалился из-за канатов к самому уху, шептал что-то очень важное, но Зеэв Паз не понимал его. Глубокая печаль, невыразимая покинутость сковали его. Он лишь подумал, что тренер забрызгал ему

слуюю все лицо, и нельзя это вытереть, чтоб не обидеть его.

«Ну что же, быть может, в эту минуту ты занят кем-то другим, кому ты больше нужен, кому надо спасать жизнь, — подумал Зеэв. — Все равно: во имя памяти твоей, во имя подвига твоего — живи вечно! А я уж как-нибудь обойдусь, не думай обо мне!»

По-прежнему погруженный в свою печаль и покинутость, Зеэв Паз не расслышал удара в гонг, а Товмасын вылетел на него свежий и наглый, точно пантера.

Зеэв Паз настроен был на классическую завязку боя: разведка, прощупывание уязвимых мест, демонстрация техники. Так он настроился на завязку первого раунда, когда сидел с массажистом, когда шел по ковровой дорожке. Но из этого ничего не вышло. Забыл Зеэв Паз, что Товмасын всегда вылетал на противников, как голодный зверюга, ломился вперед и только вперед, сокрушая в пух и прах все классическое. Он орудовал исключительно сериями, затяжными сериями одинаково хорошо с обеих рук и во всех трех плоскостях — прямые, крюки и апперкоты. А иссякнув, делал короткий отскок назад и тут же кидался с длинными внахлест свингами. Боец он был высокого класса, ничего не скажешь. И не было приема, которым бы Товмасын не владел в совершенстве. Боец высокого международного класса! В ударах же его была приращенная сила нокаутера. Даже придясь по защите, любой из них болезненно отзывался во всем теле.

Следует сказать, что в этом убийственном для него первом раунде и Зеэв Паз кое-что показал. Все из тех же классических запасов. Однажды он отшагнул и Товмасын пролетел мимо, врезавшись в канаты и путаясь там, и это вызвало смех на трибунах, и жидкие аплодисменты. Потом удачно сблокировал увесистую серию апперкотов по своему животу, «связав» эту машину, а Товмасын по запарке нанес ему сзади два удара по почкам, на это судья развел их по шагу назад и дал предупреждение Товмасыну. Но все это шло за мелочь, — из носа у Зеэва Пазы выбежала струйка крови. Он догадался об этом, слизнув с губ что-то соленое и обильное. От нижнего справа ребра поднималась жуткая боль: видать, ребро было сломано.

Весь раунд казалось, что вопило на трибунах миллионы десять армян. Они стояли, ладно скандируя все вместе, а после запели мотив, похожий на гимн. Они

ждали нокаута, ибо к нокауту оно и шло. Рефери давно полагалось прекратить избиение: Зеэв Паз был обложен глухой защитой, а Товмасын таскал его из угла в угол, как чучело, стараясь прорваться своим последним, сокрушительным ударом. Он тоже хотел нокаута. Но прыгучий, в бабочке, рефери никак не давал победы «за явным преимуществом».

Окончился первый раунд.

Зеэв Паз пришел в свой угол; от синяков и шишек набрякло лицо. Тренер обмахивал его полотенцем, обливал холодной водой затылок и грудь, снова орал что-то в самые уши, предлагая, должно быть, сложные и хитрые маневры. Зеэв Паз ничего не соображал. Махнул на себя рукой — ну и что же, если серебряная медаль?!

И вдруг почувствовал его присутствие: дохнуло на Зеэва Пазу прохладной сыростью и дымом с каким-то горьковатым привкусом — так от него пахло, когда он стоял рядом. Окрепло разом в сломанном ребре, и мысли сделались четкими, ясными.

Он открыл галза и увидел его.

« Не надо глухих защит, — сказал мальчик. — Правой рукой вразрез. Длинный прямой справа, когда он кинется после отскока».

Товмасын вылетел из угла, чтобы тут же покончить с Зеэвом Пазом. Доделать то, что не успел в первом раунде.

Товмасын мог орудовать в бешеном темпе все три раунда, от гонга до гонга, ну просто сатанинская неутомимость! Хоть сто раундов! Никому из больших бойцов страны не удавалось такое.

Зеэв Паз удивился совету мальчика: прямой справа! Это же ничто для такой машины, против такого зверя!

Но мальчик знал свое дело — это не раз было проверено. В советах его ничего не подвергалось сомнению. Значит, так надо!

Оставив глухую защиту, Зеэв Паз поднялся повыше на носках, чтобы зорко следить за всеми действиями противника, развернул плечи, приклеив нацеленный правый кулак к подбородку.

И несколько мгновений спустя, вот что увидели зрители на трибунах, Вадим и Анка в Молдавии, обладатели телевизоров в Восточной Европе, прочитали люди в завтрашних газетах: Товмасын заканчивал ура-

ган апперкотов по туловищу Зеэва Пазы, иссяк в атаке, потом сделал изящный, безукоризненный нырок на выходе в боевую позицию слева, мгновенный отскок и снова бросился было в атаку, но тут Зеэв Паз выстрелил нацеленным кулаком справа, попав точно по подбородку. В удар этот вложил он резкий разворот тяжелых плеч, поддавшись далеко вперед, и последний грамм его веса сработал на дело. Летевший же в атаку Товмасын добавил сюда и встречную свою тяжесть, поэтому сражен был мгновенно еще в воздухе.

Он обрушился Зеэву Пазу на грудь, обхватив за шею мертвыми руками: со стороны казалось, что он бросился с поцелуями, но миг передумал, свесив набок поникшую голову. Потом вздрогнул и, как тонущий, стал тянуть Зеэва Пазы на дно. Зеэв Паз легонько отпихнул от себя этот груз. Товмасын упал на колени. В наступившей гробовой тишине загудела металлическая конструкция помоста. Потом плашмя, всем лицом, ткнулся в брезент, и ринг гуднул во второй раз.

Рефери открыл счет, досчитал до десяти, потом подошел к Зеэву Пазу и вскинул вверх его руку.

Рефери мог считать еще и еще, а Товмасын отвечал бы ему с пола хрипом и слабыми судорогами ног.

«Поздравляю, сказал мальчик, все с той же смертельной скорбью в голосе. — Теперь ты чемпион, очень большой чемпион!»

Но голоса его никто не услышал. Ни тысячи зрителей, ни корреспонденты, припавшие со всплывками аппаратов к рингу, точно пиявки.

Глава VII

«Блажен человек, пускающий хлеб свой по водам, — сказал однажды школьный вахтер Давид, — по прошествии многих времен возвращается хлеб этот с прибытком».

Когда и по какому случаю изрек он эту мудрость, потерялось в памяти Зеэва Пазы. Да и неважно, речь не об этом.

Прошлой зимой, после заключения перемирия на Южном фронте, Зеэв Паз выходил из казармы, а кругом среди дюн и песков, до самого горизонта, лежали трофеи с той стороны канала — деревянные ящики исключительно русского производства.

В масле и заботливой упаковке, были в ящиках ручные гранаты последних марок, противопехотные мины, ракеты ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, мины донные и плавучие, снаряды для танковых орудий — цельные, бронебойного назначения и отдельно с запалами, авиабомбы для подвески атакующим штурмовикам и бомбардировщикам, ракеты класса «воздух-воздух», «земля-земля», «вода-вода». Особенно много пространства в пустыне занимали ящики со снарядами типа «катюша», наплечные ракеты «шмель», пулеметные ленты в запаянных коробках. Ну а простых ружейных и автоматных пуль, вполне хватило бы на истребление всего животного мира в лесах, тайге, тундре, джунглях, пампасах, всего, что плавает в воде и летает по воздуху, и — конечно же — каждому человеку на земле. И еще много бы осталось.

Трудилась в пустыне дюжина парней, горсточка изнеможенных солдат, родной язык которых когда-то был русский, знающих смысл скупых сокращений: «Кнопка — пли!», «Зрачки — вместе», «Нож — вложен», и даже «ОТК — Вера Любочкина».

Красили парни ящики из зеленых в коричневые, а после клали поверх когда-то родного русского трафареты с языком пророка Исайи и царя Соломона. И очень спешили — там, на плато Голан, еще гремела война с сирийцами. Туда и слала их дюжина транспорт за транспортом, день и ночь.

Зеэв Паз ходил здесь в сплошных расчетах — тайно, исключительно для себя, переводил содержимое ящиков на доллары: брал по самым низким расценкам и вскоре насчитал первый миллиард. А к концу службы вышла цифра, о которой лучше молчать.

Потрясенный, он припомнил слова Давида. Где-то здесь, между гор и километров трофеев, лежал его кровный хлеб, пущенный по водам России. Скорее — у него отнятый... Все равно — голова шла кругом, дыхание замирало. Уж не вернулся ли в Израиль с прибытком весь хлеб русских евреев за пятьдесят пять лет советской власти?

Качал Давид головой на баскетбольной площадке, когда поведал ему Зеэв Паз о трофеях в Синае и цифру под большим секретом назвал.

— Течет, течет молоко народов! Елей — вместо плача, украшение — вместо пепла! Из царских грудей сосем!

Не понял ничего Зеэв Паз.

— Господин мой приятный Зеев, — сказал Давид. — Найдешь голодного, накорми его, найдешь нагого, одень его, от бедного не укрывайся: вот кому имя — блаженный! Там, в пустыне, вернулось совсем другое...

Каждый вечер, приехав с работы домой, Зеэв Паз чистит свои башмаки, утюжит костюм и рубашку, а после спускается вниз, в бакалейную лавку, разменять восемнадцать лир.

Никто не знает, почему этот «русский» парень меняет деньги? Лишь лавочник понимает — идет сосед веселиться в дансинг: крутить рулетку, пытаться суетное счастье. Ведь там, в стране своего Исхода, он был лишен подобной романтики! Да, лавочники всегда о соседях все знают, а потому подмигивает он Зеэву Пазу, удачи желает.

Восемнадцать же лир в цельных, металлических монетах — это ровным счетом восемнадцать иерусалимских нищих, расположенных по разным частям древнего Яффского тракта. Не двадцать и не пятнадцать, а именно восемнадцать, и число это всегда неизменно — зимой и летом, утром и на вечернем закате.

Быть может, возникнет у кого сомнение на этот счет? Ну что же, воля ваша, проверьте. И не такие тайны откроются вам в Иерусалиме!

Вместе с Зеэвом Пазом выходят вечером из квартиры и два его спутника по этим прогулкам: один из них — строгий и добрый, в черной ермолке, а другой — бес вислоусый.

«Ты не удивляйся, — как-то объяснял Давид. — Каждого человека сопровождают по жизни два таких спутника. Ничего из наших поступков не исчезает бесследно, всему строгий учет ведется».

Значительна и таинственна должность нищего в Святом городе — не кланчут они у прохожих, не юродствуют, не надо им этого.

Говорят еще, возлюбил когда-то Господь Бог убогих да нищих, потому-то так много их в этом мире. И наделил их будто особой целительной силой. Через них дается одним совершенствовать душу свою покаянием, а другим — еще больше закаменеть в жестокости сердца.

— Начнем как обычно, — говорит Зеэв Паз. Сначала поедем на автобусную станцию, спустимся оттуда

к рынку Махане Иегуда, а часам к девяти как раз и подоспеем к кинотеатру «Оргиль». Вы же знаете, зачем я стремлюсь туда к этому часу!

— Еще бы не знать! — отвечает бес. — Может, Анка снова появится, а нет — так других баб там хоть пруд пруди.

— Ни за что! — обрывает Зеэв Паз. — Только Анка!

— Разумеется, только Анка! — смеется бес. — Они все там Анки. И вообще тебе будет там чем подзаниматься: конец сезона как раз, распродажа со скидкой... Помнишь, приглянулась тебе вчера шубка одна в витрине богатой? Длинная, из тонкой замши, а по полам — беличьим мехом оторочено? Анке бы эта штука — ох как понравилась!

И помирившись на этом, все трое прибывают благополучно на центральный автобусный вокзал.

Первый нищий стоит у обложенных мрамором стеклянных дверей, напротив спуска под землю. Пустые, незрячие глаза устремлены через дорогу, на каменный обелиск — грубую квадратную колонну — «ЗАПОМНИМ», высечено там на самой макушке.

Опускает Зеэв Паз первую лиру в жестяную баночку.

— Ну и дурак! — возмущается бес. — Он на самом доходном месте стоит! Совесть последнюю потерял, даже трепья не носит. Да они в Иерусалиме вконец обнаглели! Взгляни: шляпа, костюмчик шикарный, жених, да и только! Ромашки в петлице недостает... Слушай, тебя арифметике учили? Учили, думаю, я же помню, как ты по трофеям лазил с карандашом и блокнотиком! Так вот, возьмем среднее. Косит он, скажем, лиру в минуту. Сколько это в час получается? Шестьдесят? Стоит он, скажем, восемь часов в день, больше ему и не надо. Четыреста восемьдесят, верно? Умножай теперь на месяц, на года?! Чуешь теперь, в какие деньги понесло? Учти еще, налогов они не платят — ни военного, ни подоходного... Это тебе, отозвавшись на стук в жестянке, пожелал он дожить до ста двадцати, но столько прожить удастся как раз ему. Нет у него острого лезвия в сердце, нет работы твоей, и нет головорезов... А знаешь, что люди говорят? У слепыша этого миллионы в банке! А люди знают, что говорят.

Расстроенный, смотрит направо Зеэв Паз. Кива-

ет ему молча добрый в ермолке: все, стало быть, в порядке, пусть себе бес разоряется.

Входят они на станцию. И Зеэв начинает шарить глазами. Где-то здесь, меж длинных хвостов к кассам или у платформ посадочных, слоняется старик, видом своим внушительным похожий на библейского патриарха. Ага, вот он! Спешит к нему Зеэв Паз, вручает свою монету. А тот принимает лиру надменно как-то, показывая вскинутыми бровями, до чего это странно ему и унизительно.

Отошли от старца, а бес как шмякнет Зеэва по ноге, как взвизгнет:

— Ну зачем, зачем ты сунул сейчас гусю этому? Да ведь ермолка его, пейсы, борода до пупа — маскарад чистейший! Зеэв, опомнись, на кого это рассчитано? На простофиль, да туристов... Да он же свинину жрет и курит по субботам!

Потирает Зеэв Паз ушибленное место. Никак ему в толк не взять: в какой бы одежде он ни был, а бьет его бес всегда по голому телу. Хвостом ли шваркнет, копытом ли — непременно по коже живой.

Зато добрый в ермолке снова кивнул одобрительно: дескать, видишь, какой порядок заведен — сделал добрый поступок, а он и другой за собой влечет. Точно так и порок следует за пороком...

Вступается добрый за Зеэва Паз:

— Визжать, брат, визжи, — выговаривает он бесу. — Сколько угодно визжать можешь, но лапам своим воли не давай!

— А я и не бил его вовсе, — лжет, как обычно, бес. — Это у него тик такой нервный.

Идут они после по улице Яффо. Идут вниз, к больнице с названием «Ворота Справедливости». Старинное кладбище за каменной оградой, долина Крестоносцев справа, буйный зеленый лесочек на холме, Кнесет, здание офицерского клуба с игровыми площадками для тенниса и футбольным полем...

У маленькой калиточки толпится народ скорбящий и плачущий. И две старушки здесь в черном, нищенки. Именно в этот час выдают отсюда покойников, что скончались сегодня в больнице. Каждый вечер здесь новые плачущие и новые покойники. Зато Зеэв Паз и две старушки — всегда на месте. А две его лиры им, будто дань скорби по умершим в этот день в Иерусалиме соплеменникам, будто он сам им родственник.

Бес же молчит: нравится ему это место. И старушки не раздражают...

У рынка Махане Иегуда расходятся последние посетители. И будто обнаженные редющей толпой, видны Зеэву Пазу здесь все его нищие. Двое — на входе в зеленый ряд, двое — в мясной да рыбный, двое — в мануфактурный, и еще один — возле спортивного магазина.

— Ну, хорошо, буду говорить на вашем же языке! — начинает бес. — Известно ли вам, что вся эта свора сбежала из дома престарелых, где нянечки их холили да ублажали? У них пенсия, что твоя зарплата! Зачем вы их развращаете, Зеэв? Вспомни, как в Торе писано: подношение прими, сказано там, и в землю закопай, чтоб душа в тебе не обленилась!.. Ты бы за место денег им слово истины поднес! Просветил бы этих паразитов, а не помогал им в преисподнюю катиться! Уж если так тебе хочется выслужиться перед стражниками врат Судилица, — мой тебе верный совет: заходи ты разок в конце недели в синагогу, да оставляй там сотенную. Там знают, кто истинную нужду терпит. Или скопил бы за год приличную сумму, да отдал ее... Мало ли куда для общественных нужд отдать можно?!

— Вот и ошибаешься, брат! — поймал его добрый. — Настоящее милосердие пребывает там, где каждый день выходят на улицу с хлебом своим. Именно такой человек зовется праведным, а не тот, кто жертвует много, но редко!

К девяти часам вечера, в самый разгар веселья и гуляний, прибывают все трое к кинотеатру «Оргиль».

Раздав по дороге к центру города все свои восемнадцать лир, кому и положено было, испытывает Зеэв Паз большое удовлетворение.

— О, Зеэв, — с горечью восклицает добрый. — Зачем влечет тебя к такому грешному месту?

— Плюнь ты на него, на этого святошу, — заводится бес. — Клянусь тебе белыми солончаками: именно блудницы и спасут тебя! Вспомни хотя бы ту же Тору: дважды упоминаются там блудницы, и оба раза во благо Израилю! Вспомни Раав, блудницу иерихонскую, вспомни Тамар, невестку Иегуды, праматерь прославленного колена Израилева.

— Хоть не смотрел бы ты жадно через дорогу! — умоляет добрый.

— Нет, смотри сколько угодно, смотреть можешь! Ты холост и молод, и сильные соки так и гудят в твоём теле! Не стой же, как чучело, Зеэв! Иди к ним, смело пересекай дорогу. Каждый вечер ты вынуждаешь меня повторять тебе, как это просто делается! Ах, был бы я во плоти живой, сам бы сейчас с удовольствием склеился: «Шуры-муры, трали-вали, пошпилимся, что ли?!» А она бы меня спросила: «А где у тебя машина стоит?» А я бы ей ответил с достоинством: «Да нет у меня машины, оле хадаш я!» «Оле хадаш! — пришла бы она в восторг, — отдамся со скидкой, пусть это будет вкладом моим в русскую алию!» И тут ты её цепляешь, рыбоньку, и домой волокешь...

— Не слушай, Зеэв, ты этого похабника! — наставляет добрый. — Почему ты не взыщешь с него за прошлые его преступления? Он же всю тебе жизнь покалечил!

— Какая наглость, — возмущился бес. — Какой поклеп! Может, и Анку на этом углу я ему подсунул?

— Анку — нет, Анку я сам увидел, — вступает за правду Зеэв Паз. — Знаете что, ребята, кончим ссориться, забудем прошлое. Давайте малость постоим у этих афиш, может, снова она появится, как в тот раз. Выйдет из-за угла в своём простеньком ситцевом платье, каблучками застучит мне навстречу, улыбнется, рукой помашет!..

— Ну да, «улыбнется, рукой помашет», — передразнивает добрый. И вздыхает тяжело: — Когда же ты, Зеэв, образумишься, наконец? Ведь это вовсе не Анка была, а одно наваждение! Тьфу ты, напасть!.. А ты и не понял ничего. Помнишь, она юркнула вдруг под самым твоим носом в это отделение почтовое? А ты — за ней следом! И стал под столы заглядывать, за портьерами её искать. А в отделении почтовом ни души не было, одна лишь уборщица с ведром и шваброй — закрывали вот-вот... И ты все спрашивал: куда твоя Анка подевалась? Собственными глазами видел, рукой лишь дотянись! И вот нету! А уборщица божилась тебе детьми и жизнью: никто сюда не заходил минуту назад, никто!

— Заходила, заходила! — развеселился бес. — Анка вечно здесь шляется! Подлец Юлий Мозес, не принял её в Гиватаиме, а твоего адреса она не знает. Да вон, вон она стоит через дорогу, видишь? Ну там, среди блудниц?!

— Скажи, Зеэв, — говорит добрый. — Ты не нар-

коман, не пьяница, и в Ленинграде, мне помнится, мозги до конца тебе не расшибли, — так почему же ты бегаешь за привидением, за тенью ее? Почему в тот раз ты больше всего удивился, что Анка вышла к тебе в простом ситцевом платье на зимнем ветру, а не то, что это все тебе вообще померещилось? И тут же из почтового отделения ты помчался в дорогой магазин покупать ей шубу? И все продолжаешь их покупать, продолжаешь?

— Кстати, Зеэв, — снова встрял в разговор бес. — Ты шубку ей собирался купить сегодня. Ту самую, из беличьего меха. замши мягкой! Как раз идет распродажа по дешевке, вот и набрал бы ей манто, капюшонов, горжеток!..

— Забудь ты ее! Отпусти наконец Анку! Ты ведь и сам уже согласился: пусть же останется как есть, пусть стелется в ее городе поземка, пусть будут живы муж, и сын, и Валентина Петровна, и Боже упаси еще раз кому-нибудь умереть возле нее... Вспомни-ка лучше, с чего это все началось, почему так вышло у вас?!

Глава VIII

Началось то утро с легкой пробежки.

Вставало тусклое солнце с тяжелым бронзовым отливом, ключьями поднимались молочные пары с Невы, от расколотого ледоколами фарватера.

Облачение команды составляли кроссовки и шерстяные костюмы с вышитой голубой надписью на груди «СССР», выдаваемые исключительно членам сборных команд.

Сначала бежали по мягкому, нетоптанному снежку, выпавшему за ночь, потом — через березовую рощу до моста лейтенанта Шмидта. А возвращались с другой стороны стадионного пруда. Километров пять вся пробежка!

Возле берега, под заиндеветой ивой, была выбита в пруду полынья, величиной с баскетбольную площадку. Группа любителей зимнего плавания — мужчины и женщины — босиком бегали по снегу, а после кидались в черную, дымящуюся воду и плавали, фыркая от удовольствия. А мороз стоял градусов под тридцать!

После пробежки и легкой разминки Зеэв Паз принял горячий душ, позавтракал. А вернувшись в номер стадионной гостиницы, завернул в газету свои башмаки, и боковым горбатым мостиком вышел прямо на Васильевский остров.

Повезло ему удивительно быстро. Первый же сапожник, к которому он вошел, оказался евреем. Таким уж выдающимся носом обладал дядя Петя!

Зеэв Паз с ходу обратился к нему на идиш:

— Возьметесь евреею подбить каблуки? Подбить до завтра, и не тянуть мне вольнку три недели, как это ведется у вас зимой в Ленинграде.

Дядя Петя снял с носа очки и оглядел с интересом Зеэва Пазу.

— Эть, какой шустрый еврей! Откуда ты взялся?

Становилось забавно: с его ряшкой бурлацкой, бульжными плечами и ростом — ну никак не вязался отличный идиш. Зеэв Паз все это знал, поэтому любил порой поразить еврея. И будет вопрос: откуда ты, да кто? А он брякнет небрежно: мастер спорта, чемпион такой-то... Так начиналось и сейчас. И Зеэв Паз почувствовал, что будет веселенькая сцена, когда он все это выдаст.

Дядя Петя кончил изучать все, что ему было положено: ряшку, рост, плечи, и углубился в работу.

— Из Ташкента! — сказал Зеэв Паз.

Лицо сапожника сделалось кислым, он заметил брезгливо:

— Наконец я вижу еврея из Ташкента! Правильно говорят: кто живет, тот до всего доживает. В войну, стало быть, в Ташкенте прятались, за Ташкент воевали?

У Зеэва Пазу от возмущения даже дыхание остановилось: наглости такой он еще не встречал! Уж этого соплеменнику он простить никак не мог.

— Полегче, любезный, полегче! Вы что, пережили блокаду в этом городе? Хронический дистрофик? Подагра у вас, ревматизм, цинга? Вы пережили здесь голод и морозы, схоронили детей и близких? Копали окопы в гнилых карельских болотах? О, да зачем же так мрачно? Вы же герой войны, герой Советского Союза...

— Да! — воскликнул сапожник. — Именно так, как ты сказал: герой Советского Союза!

Зеэв Паз совершенно вскипел:

— Перестаньте, дядя, трепаться! И вообще, —

успокойтесь, успокойтесь! Знали бы, кто я такой — мигом бы извинились!

Тогда сапожник отложил инструмент, встал, распустил у себя сзади тесемки фартука и убил Зеэва Пазу.

Нет, такого еще не бывало — впервые при встрече с живым соплеменником Зеэв Паз был сам сражен наповал. Там, за фартуком, сверкала самая настоящая золотая звезда боевого героя.

С Зеэвом Пазом все было кончено: номер сапожника был высшего класса, похлеще идиша, бульжных плеч и всякого чемпионства! Артист высшего класса, ничего не скажешь: так ловко довел он его до бешенства, до белого каления, и — бенц! Звезда героя! Купил, точно последнего простака. Купил и убил.

Кончался же номер тоже внушительно.

— Честь имею! — щелкнул он каблуками и взял под козырек. — Майор Петр Волков, Пиня Зямович Волков! Можешь просто звать меня дядя Петя. Так что ты делаешь в Ленинграде, такой молодой и заносчивый еврей?

Зеэв Паз снялся с высокого пьедестала чемпиона страны и ступил на землю, сразу ощутив непонятную тоску на душе. Там, в облаках, уже нечего было делать против золотой звезды дяди Пети. Но спасти кое-что он еще мог. Ведь, кроме всего прочего, за ним числилось высшее образование и интеллект!

— Я журналист, дядя Петя.

Тот снова углубился в работу. Ответ Зеэва Пазу не вызвал в нем никакого удивления. Дядя Петя вел его сейчас ко второму убийству, потому что, кроме золотой звезды, у него было и еще что-то в запасе. Короче, он бил Зеэва Пазу по всем статьям.

— Какое глупое, легкомысленное занятие для еврея! — Потом спросил: — И ты что-нибудь законченный?

На идиш это прозвучало «агикончитер». В другой бы раз Зеэв расхохотался бы еврею в глаза над этим словом, но сейчас ему было не до смеха. Он мялся с ноги на ногу, скис, чувствуя неодолимое желание уйти вон из мастерской.

— «Агикончитер» филологический факультет. Я могу написать в газету о вашей жизни и ваших подвигах, дядя Петя.

— Теперь я вижу, что ты не особенный умник, — сказал тот. — Ты погоришь на этой затее, а у меня

отобьешь «парнасу». Я — вор, ворую у этой страны, которая имеет меня за героя с зимы сорок третьего года. Когда ты увидишь мой дом, что я пью и кушаю — эту роскошь, в которой живет дядя Петя, — ты тут же поймешь, что обо мне ничего не надо писать. Молчать, и все!.. А сейчас передай сюда свою обувь, и я обещаю не тянуть с ней волюнку!

Дядя Петя вытащил из газеты его ботинки, долго вертел их перед глазами, тщательно изучая. Затем извлек из-под верстака большую лупу, здоровенную лупу кабинетного ученого, и пошел следить ею по линиям и трещинам на башмаке Зеэва Пазы. И вдруг стал читать оттуда вслух, как хиромант читал бы по руке клиента.

— Ты много вешишь, но душа у тебя пустая и легкая, — начал он бессовестным голосом. — Такого солдата я никогда не взял бы с собой в разведку. В самый решительный момент в тебе что-то ломается, кто угодно может иметь сильнейшее влияние на ход твоих мыслей и поступков. Как слепца или собаку тебя должен вести по жизни поводьрь!.. Какой несчастный еврей, какую жалость он вызывает!.. Посмотрим теперь союмку — твоё прошлое. Вот я вижу сиротский приют! Ты вырос в сиротском приюте и получил сомнительное воспитание. Вернее — никакого воспитания толком! А вот ремесленное училище, филологический факультет... А вот написано и происхождение твоих плеч и этой сутулости профессиональной...

Осененный простой догадкой, Зеэв Паз выпел из первого шока, полученного им от этой неслыханной хиромантии.

— Блефуете, дядя Петя! Вы держите меня за круглого идиота! Вы вычитали все это из газет, вы узнали меня по газетам!

Дядя Петя освободил свой нос от очков. Глаза его выражали неподдельную грусть.

— Еврей Володя, — сказал он. — Я никогда не читаю газет и не слушаю радио. Я могу читать с обуви моих клиентов даже последние известия...

И снова приложился лупой к его башмаку. Номер выходил жутковатый, дело пошло всерьез.

— Я прошу у тебя прощения, Володя, я зря напал на тебя за Ташкент. Я увидел сейчас трагический конец твоих родителей. Они никогда не приезжали в Ташкент, а были отправлены в концлагерь. Они ушли

в концлагерь, а как и где погибли — на это нет и намека. Смотри сюда, линия предков и родителей всегда читается здесь, на рантах у носков...

— Концлагерь Транснистр, — подсказал Зеэв. — Они успели отдать меня, когда я был в пленках, молаванам через проволоку!

Об этом уже не писала никогда и никакая газета. Печалью и состраданием исполнилось лицо дяди Пети, а в душу Зеэва Пазы вошла жалость к сиротской своей судьбе. Казалось, сам воздух в этой маленькой мастерской заразился печалью.

— В зиму сорок третьего года, — сказал дядя Петя, — этот маленький невзрачный еврей, который сидит напротив тебя, спас от гибели весь Сталинградский фронт. Да, представь себе, такой я был дерзкий, отчаянный хлопец! И вот я вас спрашиваю: неужели же в эту зиму я не смогу спасти всего-навсего одного молодого еврея, который до сих пор не прибил к хорошему берегу? Спасти одного человека, говорится в наших книгах, это то же самое, что спасти весь мир... Так я же имею шанс заработать еще одну золотую звезду! Как ты думаешь, Володя, на том свете выдают звезды?

Дядя Петя не спешил отделаться от клиента, он явно куда-то клонил. И Зеэв Паз улыбнулся. Ушла непонятная зависть к золотой звезде соплеменника, перестал он топтаться, точно баран, а привалился грудью к стойке и улыбнулся на вопрос о наградах на том свете.

— Давай попробуем так: я сведу тебя с Юзей, племянницей?! Сведу с Юзей, и ты войдешь в дом, где водятся свежайшая осетрина, золотистый усач и копченый балык. Тебя усадят за стол, где принято кушать красную икру столовыми ложками. Да, столовыми ложками из большой фарфоровой миски, потому что Митя Волков, мой младший брат, состоит директором крупнейшей рыбной базы в этом городе. Ну, а дальше... Дальше сама судьба нам подскажет. Может, именно тебя дожидается пустая трехкомнатная квартира на Марсовом поле, которую надо заставить мебелью по прихоти последней моды, и вашего собственного вкуса. И там, в тепле и достатке, о котором может мечтать сам Лев Толстой, ты возьмешься сочинять свои рассказы о подвигах. О чьих угодно подвигах, только не моих и Митиных. Скажу больше! Садись со мной за

верстак, и ты потрясешь мир. Самый разбитый туфель, самый гнилой чувак — неповторимый шедевр, сиди и строчи романы! Я начитаю тебе такое с моих клиентов, что трех Нобелевских премий будет мало за это!

Дядя Петя оделся и запер свое заведение.

На входе он повесил картонку «пошел на обед», но в этот день в мастерскую уже не вернулся.

Он решил пойти на стадион и посмотреть полуженную тренировку: как готовится к ответственному международному матчу сборная команда страны.

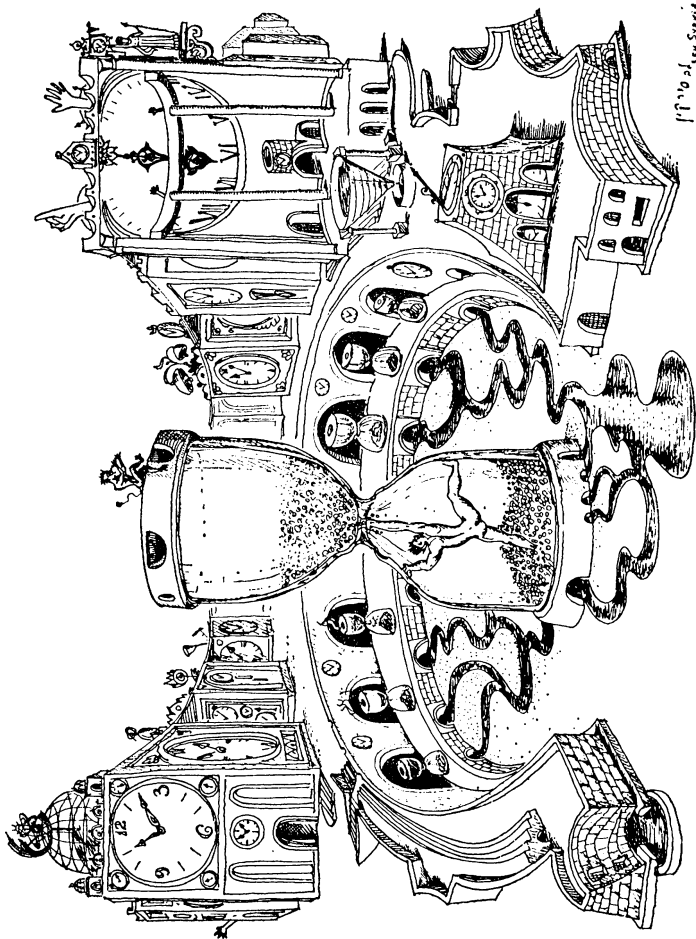
На стадионе они сдали свои пальто в гардероб. Со сверкающей золотой звездой на груди дядя Петя был представлен тренерам как человек, спасший от гибели Сталинградский фронт, а значит — и изменивший весь ход второй мировой войны.

Дядю Петю провели на галерку, посадили над рингом, где сидят обычно пресса и почетные гости.

Сидел дядя Петя один на пустой галерке, поедая ринг жадными глазами, а внизу полтора десятка парней прыгали на скакалках, обрабатывали мешки и груши и после надели боевые перчатки и взялись за настоящую работу, каждый раунд меняясь спарринг-партнерами.

Зев же Паз иступленно соображал: какой же дать ответ этому человеку, час назад предложившему ему новые берега судьбы и измену?

«Етит твою в Юзю мать!» — возмущался он, войдя в клинч и обрабатывая с обеих рук корпус Толика Татаренко, оренбургского средневеса. — Свежайшая осетрина! Красная икра столовыми ложками! Квартира на Марсовом поле! Да знаете ли вы, что подарила мне Анка в ту ночь на Ланжероне? Взяла меня за руки, вошли мы в волну, ласкавшую наши тела, и... И я испытал такое, чего не испытал еще ни один мужчина со дня сотворения мира... Етит твою в дяди Пети племянницу! Да если вы разворуете хоть всю енисейскую осетрину, всех усачей Аральского моря, вам никогда не купить меня, слышите?! С той ночи на Ланжероне мы связаны с ней навеки! Какая там к черту Юзя?! Клянусь все той же клятвой своей, что непременно привезу Анку к хирургу Юлию Мозесу, и это для меня важнее всего на свете! И где-нибудь под Нетанией, на таком же пустынном пляже, мы будем с ней много раз входить в родную волну Средиземного моря, и будут у нас свои



усахи, и своя осетрина. Все, что душа пожелает, — будет!»

К концу тренировки дядя Петя неузнаваемо изменился.

Два часа поднимались к галерке горячие испарения мускулистых тел лучших боксеров страны. Надыхавшись волнуемыми кровью испарениями, дядя Петя превратился в дерзкого, отчаянного хлопца зимы сорок третьего года, и ни за что не пожелал вернуться за свой грязный верстак на Васильевском острове.

Сначала он повез Зеэва Пазу в ресторан «Астория» и заказал там роскошный обед. Дорогой обед в отдельной кабине с парчевыми занавесями и букетом тончайших кавказских вин.

Потом они вышли на Невский проспект и поднялись к Центральному универмагу. Здесь дядя Петя купил ему новые ботинки на белом меху, черный костюм, пальто-реглан с заячьим воротником, теплые, кожаные перчатки, шапку-ушанку «пыжик», фетровую шляпу, три смены белья, дюжину различных сорочек, коробку носовых платков, нейлоновый плащ «болонья», пачку различных носков, импортный портфель коричневой кожи с блестящими медными застешками, и, наконец, зонтик — совсем непонятно зачем.

И всю эту гору было приказано увязать в один пакет, отослать на адрес стадионной гостиницы.

Как ни странно, Зеэв Паз не высказал никакого удивления. Подобная щедрость должна была поразить его, воспитанника бедного сиротского приюта на окраине Ташкента, выпускника ремесленного училища, а ныне — прописанного в крохотной комнатке на стадионе «Динамо», в далекой Молдавии.

Но — нет! Ведь если внимательно разобраться, это давно ему причиталось: чемпионом страны он сделался исключительно во славу еврейского народа, и этот народ до сих пор ничем его не отблагодарил. До сих пор евреи оставались преступно равнодушны к подвигам своего национального героя. Но рано или поздно — и Зеэв Паз в это очень верил — они должны были опомниться. Евреям полагалось приготовить ему трехкомнатную квартиру с постоянной пропиской в Москве или Ленинграде, полагалось прибить его к хорошему берегу.

Где они были, все эти богатые евреи, когда стоял Зеэв Паз в углу, один с чудовищем Товмасыном? Ни

одного из них не было на трибунах Дворца спорта! Зато вопила там целая куча армян, приехавших из Еревана двенадцатью специальными самолетами.

Из всех евреев пришел к нему лишь худенький мальчик, по виду совсем еще ребенок...

Дней через десять после знакомства с дядей Петей, Зеэв Паз уезжал в Кохла-Ярве на матч со сборной командой Эстонии; что-то наподобие тренировочных боев для приобретения лучшей формы. Словом, подготовка к ответственному международному турниру в Польше, не более того.

Оба брата Волковы, дядя Петя и дядя Митя, а также умная девушка Юзя, все трое сразу вызвались ехать вместе с ним.

Зеэв Паз сначала пытался разубедить их: ничего интересного не будет в этом зачуханном, шахтерском городке. Большого бокса они не увидят, а только скучную возню «в одни ворота»!... Увы, куда там, они и слушать его не стали! Им непременно хотелось присутствовать в зале, болеть у ринга, чтоб больше никогда Зеэв не томился от одиночества, а ощущал бы всегда и везде тепло и соучастие родного народа.

Дядя Митя обнаружил значительный талант и умение обращаться с национальным героем. Едва Зеэв Паз был введен в их дом, как тот принялся устраивать все наилучшим образом, легко расставаясь с бешеными деньгами.

Дядя Митя зафрахтовал до Кохла-Ярве и обратно специальное такси. Зеэв Паз ехал на матч в отдельной машине, а не в автобусе со всей командой, тренерами и массажистами, и испытывал тайное удовлетворение.

Там, в автобусе, ехал сейчас впереди Анвар Икрамов, национальный герой узбекского народа, имевший дома собственную новую «Волгу», — скромный подарок от своего народа и правительства. Ехал Гога Думбадзе, национальный герой грузинского народа: в городе Сочи, на берегу Черного моря, стояла у Гоги двухэтажная вилла, — тоже скромный подарок от правительства и народа. Потом — Толик Тараненко, получавший в Оренбурге на каком-то военном заводе колоссальные деньги: числился там инженером, а сам не знал и таблицы умножения. А вдобавок — владел

усадебой и яблочным садом в полгектара. Короче говоря, полный автобус национальных героев, которым Зеэв Паз начинал утирать нос.

Сидя в просторном такси, между Юзей и дядей Митей, он предавался тягостным воспоминаниям. Кем он был до сих пор в сборной? Точно овца приبلудная, точно пасынок! Служил предметом насмешек и издевательств! И в самом деле: молдавский народ, за который он дрался, вовсе не считал его своим представителем. Ни народ, ни правительство молдавское... Зарплата чемпиона была девяносто рублей — он едва сводил концы с концами. К тому же «пахал» за нее в тяжелом поту: в качестве тренера на стадионе «Динамо». Один лишь молдаванин вроде бы признавал заслуги Зеэва Пазы — автор крамольных сказок, безумец и алкоголик Вадим.

Но все это уходило в прошлое, в небытие, как уходит дурной сон. Зеэв Паз обрел наконец материнское лоно своего милосердного народа, и, судя по началу, этот народ обещал ему устроить замечательную судьбу.

Срашно подумать, какие страдания достались бы на долю Зеэва Пазы, если бы это такси не дожидалось их возле фойе клуба, где проходил матч. В Кохла-Ярве не оказалось ни госпиталя, ни больницы, а помощь требовалась самая срочная и совершенная.

Разрезая белый мрак начавшейся вьюги, беспрерывно сигналив встречному транспорту, такси летело в Ленинград на предельной скорости.

Чудовищно распухало горло, раздробленная челюсть была подвязана шарфом. От тряски и скорой езды челюсть колотилась о верхние зубы, отчего сознание погружалось в хаос боли и ужаса.

«Господи! Какой жуткий проигрыш! Какой позорный проигрыш никому не известному, затруханному эстонцу!»

К чертовой матери под хвост летело теперь участие в международном турнире, заманчивая поездка в Варшаву... И, вообще, само его членство в сборной: самое меньшее он выбывал из бокса на целый год!

Насмерть перепуганные Юзя и дядя Митя не знали, чем бы его утешить. И слышалось ему на самом краешке тускло мерцающего сознания:

— Успокойся, сынок, все еще будет у нас хорошо. Я говорю тебе это как отец. Теперь ты можешь назы-

вать меня «папа»... Сколько раз меня настигало несчастье, однако, ни разу — ты слышишь меня? — ни разу не впадал в отчаяние. А жил всегда в вере и доброй надежде...

Стояла в глазах сцена шахтерского клуба, куда втиснули с трудом квадрат ринга — четыре стойки и белые канаты, крохотная сцена, раздевалка, эстонец... Он помирал со страху, белобрысый, выходя на бой с чемпионом страны, кандидатом на европейский титул. «Господи! Ну почему я забыл все? Почему оказался таким идиотом — ни разу не вспомнил о мальчике?!»

Пыталась утешить и Юзя.

— Помнишь, папочка, тот случай с «Глазом Клеопатры?» Пусть Володя знает, что мы тогда пережили...

— Ты слышишь, сынок, — сказал дядя Митя. — Хотя бы возьми «Глаз Клеопатры», тот случай с нами в шестьдесят третьем! Тогда я не был директором рыбной базы, а вертел большие гешефты по производству дамских нейлоновых поясков. В один прекрасный день они накрыли меня и я все потерял: перевернули квартиру вверх дном, описали и конфисковали. Но самое страшное было не это. Они нашли и то, чего и не искали. Единственный в своем роде бриллиант, известный в мире под именем «Глаз Клеопатры», я вмонтировал в электрическую розетку! Чего, казалось бы, может быть проще и гениальней, чем электрическая розетка?..

... Он был настолько уверен в легкой победе, что совершенно забыл о мальчике, ни разу не назвал его имя! И начисто позабыл о вислоусом бесе с проклятых солончаков. Он полагал провозиться со своим эстонцем все три раунда, и выиграть без особых усилий одной голой техникой. Именно так и выигрывали у них все эти остальные национальные герои...

А добрая, умная Юзя так и старалась отвлечь его чем-то.

— А почему вы молчите, дядя? Почему не расскажете о своих сапожниках?

Дядя Петя сидел на переднем кресле, рядом с шофером.

...В первых двух раундах Зеэв обыгрывал эстонца, как хотел. Был просто великолепен на всех трех дистанциях — дальней, ближней и средней, демонстрируя публике высший класс техники. Ну а если и приходилось маленько «всадить», — то бил резко, отрывисто, го-

ная эстонца по всем углам и канатам. Бил, «как Бог черепаху», успевая при этом видеть зал, братьев Волковых и Юзю, которых сам усадил поближе к рингу. Улыбался им сверху, подмигивал...

— Что такое твой проигрыш? — сказал дядя Петя с переднего кресла. — Выиграл, проиграл! Мышиная возня, игра в бирюльки! Взгляни на меня, Володя, взгляни на Митю. Ты видишь этих бойцов? Нас били наповал, мы падали вместе, но каждый раз поднимались и жили снова. И это всегда — всю нашу проклятую, сознательную жизнь. Ты слышал сейчас, что сказала девочка? Я кормил своих сапожников, как родной отец, они жили со мной, как у Бога за пазухой... С таким трудом, с такою опасностью я наладил сеть сапожников-инвалидов, доставлял им работу на дом. Они лепили мне обувь, а я сдавал это в магазин с фабричным клеймом. И все кушали с этой малины, всем доставался кусок хлеба с маслом: мне, сапожникам, директору магазина... И что же? Этим горьким пропойцам вздумалось меня заложить: дескать, я их эксплуатирую, наживаюсь на инвалидах! Теперь они жрут сеledку с луком, и запивают водой из крана, как все честные граждане!

...Паршивый брезент был натянут кой-как, брезент был весь в складках, а ноги так и скользили по нему. Чтобы не упасть, все внимание пришлось сосредоточить на кончиках ног. Техника Зеэва Паз держалась на исключительном чувстве дистанции — малейшее нарушение ее обошлось бы ему очень дорого.

Это случилось в третьем, последнем раунде, на самой последней минуте. Зеэв Паз был по-прежнему свеж, все видел, все вокруг слышал. Бой он выиграл, это ясно было по судьям... Последнее, что запомнилось, были канаты слева: он стоял у канатов во фронтальной стойке, вызываясь открыв подбородок. Эстонец должен был броситься на него с ударом, а он собирался в это мгновение уйти от него с шагом вправо, с правым же контрударом — очень красивый маневр, дающий сразу три очка. Он дернулся вправо плечами, но правой ноги от пола еще не отнял... И тут случилось странное что-то с самим брезентом — будто рванули его под ним! Теряя опору в ногах, он косо, неуклюже поскользнулся, а удар эстонца пришелся как раз по вызывающе открытому подбородку — скользкий, навыворот удар, мгновенно раскрошивший челюсть... За-

помнились еще белесые, расширенные в неподдельном ужасе глаза эстонца, табурет в раздевалке, и все пытались найти врача... Да, страшно и подумать, что бы случилось с ним дальше, если бы не стояло на улице это такси, умчавшее Зеэва Пазу через несколько минут в Ленинград, в лучшую травматологическую клинику.

— Ты помнишь, Юзинька, — говорил дядя Петя, — помнишь, как всем казалось, что я повис, что больше меня не увидят? Но, слава Богу, что есть в Ленинграде синагога у Садового проспекта, есть евреи со связями и деньгами. Что есть у меня золотая звезда и папка в коленкоровом переплете за подписью Сталина. Что было и кой-какое припрятанное золотишко!.. Ты слышишь меня, Володя, уж если такие бойцы, как я и Митя, говорим тебе, что челюсть — это еще не конец света, так это действительно не конец света, сынок!

Даже сейчас, чувствуя помутнение рассудка от свалившейся на него беды, Зеэв Паз ощущал в глубине души спокойствие и равновесие: он знал, что соплеменники всегда поддержат его. Поддержат сильной рукой, ибо нет такого боксера, который шел бы всегда вверх и только вверх по этой шаткой и изменчивой спортивной дороге.

Настоящее удивление Зеэв Паз испытал рано утром, когда Юзя была допущена к нему в палату.

Его привезли из операционной, вся шея была обложена высоким, гипсовым воротником, а в челюсть вжили отвратительные пластины.

Он увидел в палате женщину в белом мантио, длинном, импортном, неслыханно дорогом, — и это потрясло его.

Всю ночь, лежа на операционном столе, усыпленный наркозом, Зеэв Паз был переполнен различными видениями: перебирал свое детство горькое и безрадостное. Вспоминал он Голодную степь, где пристал к нему бес, вспоминал свою Анку, ее бедность, свою клятву на Ланжероне — привезти ее в Гиватаим... И это желание за ночь еще больше окрепло в нем, он видел это главной целью своей жизни...

Но почему же, глядя утром на Юзю и ее дорогое мантио, он долго не мог ничего постичь?

Все это очень легко понять, если открыть наконец, что жизнь в трехкомнатной квартире на Марсо-

вом поле, виделась Зеэву Пазу с Анкой, и ни с какой другой женщиной на свете. Есть там свежайшую осетрину и прочие вещи — опять же с ней, и только с ней. Иначе, на кой черт, скажите сами, сдался ему этот город, вечно пронизанный сырým, омрачающим душу туманом? И шел он еще на это, чтобы оторвать подальше свою любовь от этой дуры Валентины Петровны. Разбудить в Анке загдохший отцовский корень, вызвать в ней интерес к маленькой стране на берегу Средиземного моря, насквозь пронизанной запахами морских прибоев и апельсинов. Ну а после — потихоньку собрать манатки да отчалить к Юлию Мозесу.

Возмущившись вначале, что в этом манто, несомненно принадлежащем Анке, пришла в палату совершенно незнакомая женщина, Зеэв Паз впал в отчаяние. Уронил на подушку ослабевшую голову, чувствуя, что это манто ведет его к тихому помешательству.

Однако здоровая психика и закаленные нервы замечательно тренированного организма спасли Зеэва от всяких покушений на его рассудок. И очень скоро все расставилось по своим местам.

В этом же самом шикарном манто, вызывавшем острую зависть у персонала всей клиники, стала приходить к нему Анка.

Сидела любовно и терпеливо у кровати больного до быстро бегущих ранних сумерек, а после приходил санитар и выпроваживал Анку. А Зеэв Паз в томлении сердца принимался ждать наступления следующего дня.

Не позволяя прикасаться к своему сокровищу нянечкам с равнодушными, грубыми руками, она сама меняла на нем белье, перестилала постель. Каждое утро Анка приносила в кастрюльках удивительно вкусные бульоны, различные пюре, кормила его ложечкой, ибо Зеэв Паз был начисто лишен возможности принимать твердую пищу. Склонившись оба к ложечке, они дули в нее презабавно, а губы их сами собой сливались в поцелуе, и ворковали, и щебетали друг другу всякие глупости.

Продолжая ворковать и нежно целуясь, они успевали обсуждать и тысячи ужасно важных вещей: в какой форме и с каким текстом печатать им пригласительные билеты, какие кольца заказывать? Мебель на Марсовом поле — что в спальню и что на кухню? Ну

а гостиная в сорок метров? Фата, костюмы? Куда идти на регистрацию?..

Пролетели быстро дни и недели, Зеэв Паз поправлялся: снят был воротник гипсовый, мышцы и связки на лице окрепли, появилось ощущение прикуса между зубами, привычным стало и ощущение пластин во рту — пластины эти было предписано держать на деснах еще месяцев шесть после выписки из клиники.

Первая странность случилась с ним, когда, будучи облачен в черный костюм, белоснежную сорочку и галстук, купленные ему еще дядей Петей, Анка взяла Зеэва за руку и пошла вместе с ним по мраморной лестнице вверх, в огромный, с золотыми купидонами зал, где был потолок старинной лепки, а из тяжелых, распахнутых дверей покатались на них торжественные звуки полонеза Огинского, записанные на магнитную ленту.

Излучавшая девичье счастье, Анка стремилась вверх, тянула его, а звуки музыки что-то вдруг разбудили в нем. Особенно назойливы стали запахи, и кто-то уснувший заворочался в нем, возмущился:

«Что-то тут, брат, не так! Что-то происходит очень неправильно, — загудел этот засоня. — Странно пахнет от бабы? Лошадью пахнет! Ну, скажем, не лошадью, а жеребенком, жеребеночком, что-ли...»

Глава IX

Стояла глубокая осень и было далеко за полночь.

За черными окнами лил унылый дождь, переходящий временами в ливень: бил по крыше и стенам, заставлял Зеэва Пазу и Вадима отрывать от последней беседы, прислушиваться к непогоде.

Коптила у них на столе керосиновая лампа, скудно освещающая избу, потому что много высоких бутылок «алб-де-массе» было уставлено вокруг лампы, загораживая свет.

Валялись рукописи сказок, расшвырненные пьяной, беспечной рукой автора. На мокром столе, на полу, на подоконнике — кругом были сказки.

Зеэв Паз приехал увидеть в последний раз этот город, измучивший его сны и явь, ибо весь его удивительный дар легко проникать в свое будущее и про-

шное, даже такое прошлое, как тени предков, позвавшие его в Иерусалим, — этот дар подсказал ему, что все пережитое в этом городе было и останется самым значительным, что отпущено ему в этой жизни.

И самое главное — хоть краешком глаза увидеть Анку! Взглянуть на Анку, которую оставляет здесь навсегда. И это надо было еще осмыслить, согласиться с этим.

Стояли слезы в горле, он мог их выплакать только завтра на груди Юлия Мозеса, в его клинике в Гиватаиме. О, как было обидно и горько: никто не вышел вчера из квартиры на улицу Пирогова, не спустилась Анка с цементных ступеней, не пошла она на троллейбусную остановку — мертва была квартира, задвинуты дубовые ставки на окнах. А после обеда, прячась у ворот физического факультета, он тоже ее не нашел, когда выискивал глазами косяки студентов... Взглянуть бы только в лицо — спокойна ли она, или по-прежнему бедна и несчастна? Взглянуть издалека, не вступая в разговор, не объясняясь! О большем Зеэв Паз и не мечтал, большего и не просил...

И не тянуло вовсе провести последнюю ночь в этом городе, на оставляемой навсегда земле, в ветхой хатенке, ушедшей по самые окна в крутую Ропкановскую горку, не слушать дурацких сказок, слушать к тому же внимательно, ибо требовал Вадим непременно оценки и восхваления. Не пить ненавистой кислятины «алб-де-масе» в высоких бутылках с сургучными головками. Да, так уж вышло, черт побери!

Всю ночь выл и скулил за окнами дворовый пес Вадима по кличке Жид. Да так пробирал, будто скончался в избе дорогой ему человек, и ни о чем другом не думалось под этот скулеж, а все мерещилось Зеэву Пазу, все больше он убеждался, что именно по нем и плачет собака! Он-то и умер!

Будто поставлен между ним и Вадимом здоровенный гробище, и с этим покойником надо что-то делать — даже такая чертовщина!

И становилось понятно — не зря он был приведен в эту избу, не зря воет пес за окном: в высокий час расставания с прошлым судьба уготовила ему этот гроб, в который надо многое свалить, оставить в этой земле, а не тащить, как хвост, в Иерусалим.

— Стой! Не пей! — воскликнул Вадим, вскинув к

потолку палец и взывая к вниманию. Слышишь, чего мой Жид вытворяет, слышишь?

Гроба Вадим не видел сейчас. Пьяный и возбужденный, он только мешал Зеэву Пазу. Борода у Вадима была в мокрых, рыжих сосульках, пил он сильно трясущейся рукой, а в глазах сверкало безумие.

— Как ты думаешь, о чем он там разрывается? О, я всегда говорил: мы с ним одна душа, одни мысли! Нет на свете пары существ, что так понимали бы друг друга!

Зеэв же Паз сидел угрюм, неподвижен, точно рыбак на берегу: текла перед ним река его прожитой жизни, а он извлекал оттуда всякую всячину для погребения. Крышка от гроба лежала на лавочке возле печки.

— Он просит от тебя ребенка, он видел, как ты пришел с сеткой-авоськой и вмиг все понял! О, брат, если б ты только знал, как мы любили тебя, как любим, — ты бы не оставил нас! Я тоже хочу от тебя ребенка! Не можешь ты покинуть нас, не оставив взамен что-то живое, существенное. А мы с Жидом обещаем тебе не делать абортот!

— Аборты — это убийство! — сказал Зеэв. — Категорически выступаю против абортот!

Гроб захватил все его воображение. Казалось даже, что по всей избе разит свежим, смолистым духом от досок и стружек, на которые положен покойник: так и хотелось провести пальцем по жилкам и сучкам на косой, обращенной к нему, трапеции гроба. Зеэв Паз тоже был сильно пьян и понимал это.

— Не видел ты нашей любви, не принимал ее!.. Вечно был поглощен самим собой: из кожи лез вон — везде и всегда быть первым! — Жидом Номер Один! Номер один в боксе, номер один в постели, номер один в прозе... Да и сейчас ты вышел в Жиды Самого Первого Номера — первое и не было, самый первый едешь туда!

— Это уже неверно! — возразил он. — Юлий Мозес обошел меня ровно на пятнадцать лет, я только повторяю его подвиг.

Вадим перегнулся через стол, налил ему полную кружку.

— Э, нет, простите, я знаю, что говорю: именно ты первый! А Юлий твой Мозес — дерьмо и мелкая гнида. Завтра ты сам это узнаешь... Ха! Еще бы не

подвиг: перебрался поближе к границе, женился на русской бабе, ребенка себе родил... Ну и пустили на конференцию медицинскую! А почему бы и не пустить? Все как положено — семья ведь заложниками остается! Вроде бы рядом, доплунуть можно до Бухареста! Ан там уже — за кордоном... Ах, как он любил свою доченьку, как он любил женушку! — «Я на базар, Валечка, помидорок куплю, на часик, не больше...» Это тебе, брат, хвала да слава, это ты их тащил отсюда обеими руками и зубами, себя не щадя!

Покойник лежал в гробу, облаченный в зеленую фланелевую куртку и шаровары: точь-в-точь, что носил Зеэв Паз в психлечебнице. И он обрадовался: покойник уходил в могилу, изъятый, стало быть, в момент своего самого страшного наказания, и уходил к тому же со всем набором ленинградских своих соблазнов: ведь под фланелевым облачением понимался и черный дяди Петин костюм, и свадьба, и квартира на Марсовом поле, где Зеэв Паз прожил с Юзей пару дней, угодив прямехонько в лечебницу с диагнозом травма вестибулярного аппарата. Радуясь, что все это уйдет от него, Зеэв Паз заметил себе: «Не напиться бы в стельку пьяным к концу этой ночи, а вспомнить еще о крышке! Крепко заколотить ее и нести гроб на кладбище!».

Они выпили, ударив кружками за здоровье.

— А знаешь, чего он воет сейчас, чего Жиду хочется? Чтоб я отпустил его вместе с тобой! Страшно тебе завидует!

И оба они прислушались к собачьим стонам и воплям во дворе. Вадим выбросил кулак в сторону черных стекол и крикнул:

— Нет, нет, ни за что! Мало мне, что Жид Номер Один сбегает?! Никуда ты из Молдавии не уедешь, псина паскудная, не отпущу я тебя! Мы еще дождемся с тобой последнего слова молдавского народа, увидим, как выйдет он в великие нации!

«Уж если заколачивать его, так заколачивай все! — заметил себе Зеэв Паз. — Ни одной дряни не вези с собой туда... Так, а что же было с тобой после куртки этой фланелевой? Ага: летчики веселые, добрые в рижском рейсовом! Валентина Петровна в ванной со своими венами дурацкими и бритвой! Анкин живот в этой избе... А после ты в Ташкент вдруг подался туда тебя занесло! Туда, в Ташкент, откуда ты весь

и вышел! Поступил воспитателем в тот же самый приют замызганный на Тахтапуле, и слово себе дал: откуда начался, там и кончишься, только из Ташкента в Израиль уедешь... Да, как бы хотелось свалить еще в этот гроб и ремеслуху, и сиротский приют мой, и Голодную степь с вагончиками, и беса с проклятых солончаков! Все, все бы вырвать из памяти живой!»

Вадим снова наполнил кружки, они тут же выпили, чокнувшись.

— Когда ты в Ленинграде женился, Анка часто приходила сюда. Узнавать приходила: что с тобой, да где ты. А Жид мой принимался скулить во дворе — так мы все о тебе и знали. Нет, что ни говори — поразительный пес, самый способный из всех Жидов, которые у меня были. Одна лишь досада с ним: ничего не знает о будущем молдавского народа! Так что, сам понимаешь, — сказки свои я сам сочиняю!

Зеев Паз оживился.

— Ну, а брезент в Кохла-Ярве? Кто тогда рванул подо мной брезент? Отвечай, если все вы тут знали.

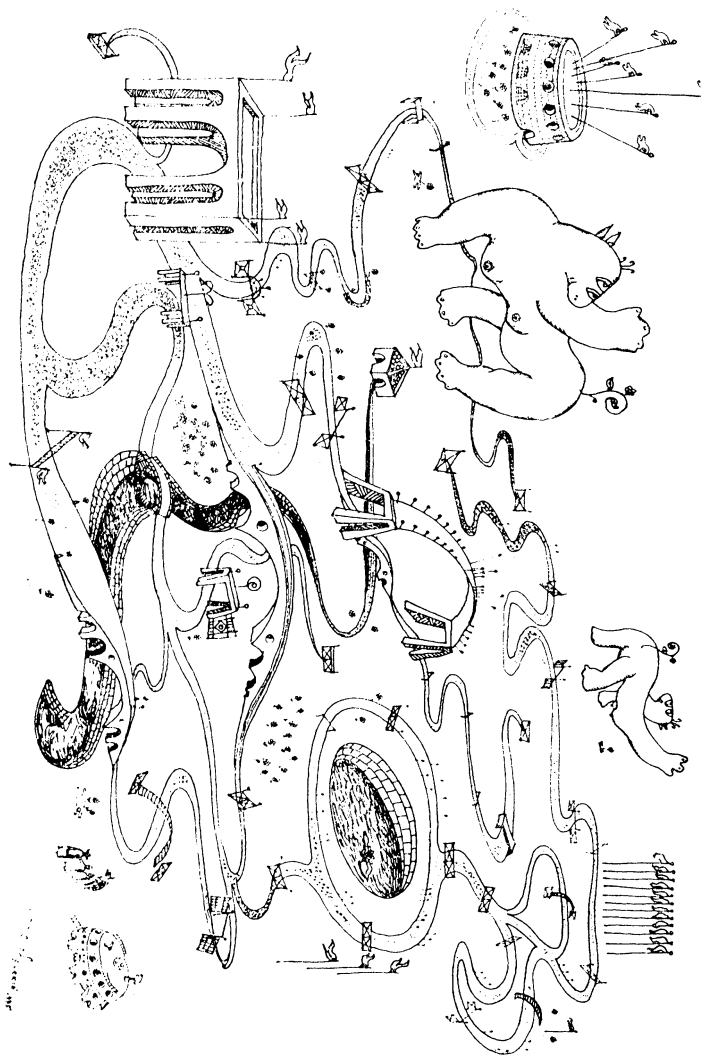
С минуту Вадим сидел, хмурно насупившись.

— Творчество Жиду не отпущено! Чье-то, видать, хитрое творчество было тогда с брезентом. Тебе лучше знать, что это за фокус-покус был.

И Зеев Паз ушел в мрачные воспоминания. Снова представил себе, как летит на него жестокий удар эстонца, от которого нельзя увернуться, как лопнула с хрустом нижняя челюсть и, взыв по звериному на весь зал, чемпион схватился руками в перчатках за лицо. И белесые, полные ужаса от содеянного, глаза никому не известного доселе эстонца... Заметив, что Зеев Паз снова уходит от него в свои мысли, Вадим взял бутылку и налил ему полную кружку.

— Забудь ты, брат, все это, — воскликнул Вадим. — Хочешь, мы удивим тебя с Жидом по-настоящему, Я стану переводить, чего вещает моя скотинка бездарная о твоей будущей жизни!

...Солончак начинался сразу же за вагончиками. Тянулся метров на триста мертвым, белым полем, упираясь другим своим концом в высокую насыпь дренажного коллектора. А посредине торчал мазар — гробница по тюркски — замурованные с четырех сторон стены и купол, слегка обвалившийся на макушке. Старики-аксакалы из совхоза «Кукумбай» чуть ли не



в первый день настрого запретили пацанам из ремеслухи подходить к саксауловой изгороди солончака. Захоронен там, дескать, первый палач Чингисхана! Тот самый, нарубивший курган голов с самаркандских сартов. Ну и сам впоследствии пострадавший за эту услугу, как и ведется у приличных тиранов. Собственноручно Чингисханом погребенный палач, как святой какой-нибудь... Заклят, мол, мазар с того времени! Даже соль вокруг ядовита... Девять месяцев трухали пацаны приближаться к изгороди, помнили жуткий курган черепов! Зато напоследок об заклад побились: айда, хлопцы! Кто принесет с мазара горсточку праха? С самой что ни есть могилы вислоусого?.. Зеэв Паз, понятное дело, первым и вскинулся: знай, мол, наших, породу жидовскую!.. Ночь была лунная, ясная. И, чтоб лучше наблюдать его вторжение на солончак, залезли пацаны на крыши вагончиков. Собственными глазами убедиться, не обманул чтоб, а взял бы соли с самой могилы, там побывал, в мазаре... Он выломал кривой шест саксауловый, прошитый бычьими жилами, и пошел по соли, как по коврику. Сначала полез на стену, цепляясь за выступы; это было совсем не трудно. Потом пополз к куполу, полагая за что-нибудь ухватиться там в проломе и спрыгнуть вниз. Он подползал все ближе, ощущая под руками сухие колючки и растительность. И вдруг все под ним рухнуло... Увлекая за собой остатки купола, он свалился вовнутрь, сильно побившись... Но принес-таки этим трусам на вагончиках горсть праха с могилы... С тех пор и пошло: то за бедро схватит голой, холодной лапой, то по плечу саданет. Вроде бы тик, судорога, а кожа дергается, как на лошади, когда ее тронешь. А после и совсем обнаглел бес...

Кружки стояли полны вином. Они выпили.

— Сознайся же, сукин ты сын, ты бы никогда не приехал попрощаться с другом, кабы знал, что одолела тебя Валентина Петровна, отвадила вашу породу от дома?! Что Анка замуж пошла за Коську, за дылду сиволапого?!.. О, Коська парень что надо, уж он-то на ней не загнется, в нем керосину не меньше твоего!

Зеэв Паз прислушался: Вадим говорил что-то новое об Анке, чего он не знал вовсе. Вот оно что! За мужем, стало быть!.. Нет, не зря пришел он в эту избу,

далеко не зря: он узнавал сейчас страшно важные вещи!

— Такого критика и друга судьба уже не подарит мне! — сокрушался Вадим. — Сознайся хоть напоследок: ты ведь за графомана держал меня. Так знай же — в эту ночь ты услышишь настоящую вещь, и я тебе ее прочту! И вспоминая меня, ты будешь говорить там: да, этот пьяница, бездарь, создал-таки настоящий шедевр!.. Но прежде — выпьем! Там тебе не придется пить молдавское наше «алб-де-маше» из больших гланяным кружек! Многих радостей жизни ты будешь лишен. Итак, где она, рукопись?

«А что же будет с мальчиком? — вспомнил Зеэв. — Ни в коем случае нельзя оставлять его здесь! Не может же он идти и идти бесконечно в этой колонне, обреченной на смерть, между собак и солдат с оружием на животах! Надо оборвать это шествие, помочь и мальчику... Я вот что могу для него сделать: приеду в Иерусалим, зайду в Музей памяти шести миллионов Яд-Вашем, и постараюсь узнать его имя. Там-то уж непременно должны знать о его подвиге с гранатой. Не могут быть у евреев безымянные герои, такое заведено лишь у народов с небрежной памятью и ленивым сердцем... Узнаю его имя и высажу в Иудейских горах рощицу в его честь. И пусть он себе живет в этой рощице, выходит помогать людям, как мне помогал. Пусть он живет на родине, а не в колонне, обреченной и скорбной... О, еще очень многим людям предстоит ему выходить на помощь!»

Вадим отыскал рукопись сказки, вернулся к столу. В глазах его вспыхнуло вдохновение, и он начал:

— Называется сказка «Сердце из плоти». Итак: «Жило-было на земле племя, забытое Богом и отданное во власть сатаны, и у племени этого родился великий сын...»

Но тут взвыл во дворе пес, взвыл особенно протяжно и громко. Вадим прекратил чтение, злобно глянул в сторону окна.

— Оставь ты его в покое, — попросил Зеэв Паз. — Дальше читай.

— Да как же тут читать? Ты знаешь, чего он там воет?

— Ну и пусть себе воет, любой бы выл на его месте в такую погоду!

— О тебе, брат, вещает! И знаешь что? Говорит,

что ты будешь жить в Иерусалиме. А окружать тебя — существа в антеннами из голов. Ну, не чушь ли? Чего он, интересно, имеет в виду? Уж не станешь ли ты заниматься там подготовкой к космическим полетам?! А что, вполне вероятно! С твоими мышцами и здоровьем — вполне возьмут в космонавты! Звучит, брат: первый еврейский космонавт! И там, значит, первый будешь!.. Или так: приземлятся, допустим, в Иерусалиме существа с иных планет и выведут вас в первый народ на земле, просвещая и наставляя... В Иерусалиме все может быть, любые чудеса! Не так ли?

— Не надо нас никому просвещать, мы сами и есть существа, рожденные от небесной идеи!

— Фи-и-и, — поморщился Вадим. — Замухрышки вы самые обыкновенные! За редким исключением, правда, вроде тебя... Помнишь, занимался у тебя на «Динамо» еврейчик один, звали его?.. Тьфу ты, козья рожа, из головы выскочило!.. Ну, красивенький такой, усишки тонкие, прибор косенький?..

— Моня, что ли?

— Во-во, он самый! Который Анку у тебя перегнул, когда ты в Ленинграде пропал... Сидим мы, значит, однажды с Анкой, а Жид во дворе вдруг возьми да взвой по особенному, точно так, как сейчас. Наточил я уши, прислушался. И говорю ей тогда: не ложись Анка с еврейчиком своим, беда будет! Кишка, говорю, у него слаба, не вынесет он тебя, очокурится!.. И что бы ты подумал? Так и вышло, как Жид ей накаркал! А после шум на весь город, следствие: отравила, мол, соколика, стерва! Покуда не выяснила экспертиза: «крайнее истощение нервов на почве сердечной недостаточности!»... Вот тебе и особенные, вот тебе и сверхлюди! Да и ты, брат, хилjak приличный, паникер, истеричка, скажу я тебе. Думаешь, спал тогда Вадим на блевотине своей? Э, нет, не спал! Не мог я такое удовольствие упустить, весь ваш разговор слышал. Чего, спрашивается, в Ташкент вдруг рванул? Свои-то грехи мы быстро себе прощаем, а баба, как чуть свихнется с обиды, — так сразу в Ташкент?! Чуть ли не сразу после деру твоего и решилось. Р-раз! — Моня концы отдал! Р-раз — и сводила ее мамаша куда следует, всю начиночку от покойника выскребли... Эх-эх, малость бы тебе терпения тогда! Сидели бы сейчас с Анкой вдвоем да дожидались бы утренний самолет на Мо-

скую! А Валентина Петровна вам: тю-тю ручкой: «... глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пеньем муз!»

«Почему же он умер, Моня? Господи, да что же это мне за загадка такая?.. Как я любил их тогда, учеников моих! Как это бесило мое начальство на стадионе, всех этих полковников на персональных мотоциклах?! «Ты что, паря, нам тут синагогу развел, разгони своих евреев немедленно?!» Бедный Моня, это я виноват в его смерти! Не жеңись я тогда на Юзе, он бы жил себе до ста двадцати... Кстати, а куда ты собираешься положить этот гроб? Положи его рядом с Моней, на Ботанике, рядом с любимым учеником. Ты так виноват перед ним!»

— Неужели в последний раз видимся?! — воскликнул Вадим. — Ни за что не соглашусь, что потерял тебя навсегда! Давай же, брат, напоследок напьемся! Напьемся, как свиньи! Был бы я бабой — знал бы, как провести нам последнюю ночь! Ты бы оставил мне хорошенького ребеночка!..

— А ты, я погляжу, вовсе не промах, — заметил Зезв. — Это ты ловко придумал с ребеночком! А я вам после вызовов пришлю обоим, верно?

— Не надо мне вызовов, — обиделся Вадим, — я из Молдавии не уеду, здесь умру! Думаешь, кроме вшей и клопов, мы ничего путного не рожаем? Все вы глубоко заблуждаетесь, полагая так. Мы еще выбьемся в мировую державу, моя сказка последняя как раз и говорит об этом. Слушай же сказку, космонавт ты ползучий! Итак: «Жило-было на земле племя, забытое Богом и отданное во власть сатаны, и у племени этого...»

Вдруг снова взвыл пес за окном. Да так, что все похолодело на душе. Померещилось вдруг Зезву Пазу, что не выйти ему отсюда. Будто сама изба эта, вбитая в землю по подоконник, станет ему могилой. Не увидит он Юлия Мозеса, Гиватаима, Иерусалима, не пойдет по улицам, вдыхая всей грудью запахи родины...

— Прости, брат, — перебил он Вадима. — Ты слышал? Слышал, как воет Жид за окном? Мне страшно вдруг стало!

Вадим прислушался к темной ночи, замешанной на звуках ливня и собачьем вое. На его лице проступила мстительная ухмылка.

— Bravo, Жид! Вот теперь ты мне нравишься, те-

перь я доволен! Знаешь, о чем вещает? К боксу, говорит, к боксу своему ты ни за что не вернешься. Нельзя, говорит, в Иерусалиме поднять руки на человека. Даже чистого спорта ради. Не могут там человеки лупить друг друга. Ну что, выкусил? Так и будешь всю жизнь страдать, что ушел из бокса побитый каким-то эстонцем затруханным. Ну, брат, передумаешь, может, ехать? С нами останешься??

Вадим налил ему кружку вина. Чокнулись, выпили. Зеэв Паз взял с тарелки кусок мамалыги. Они закусывали маслинами и мамалыгой.

— Зачем ехать в беду заведомую? — продолжал Вадим. — Оставайся! Жида моего всерьез принимай. Лично я во всем слеую его советам. Угождаю ему, занскиваю. А ведь лопнуть можно с досады, как низко пал человек! Во что меня пес поганый превратил? И все стараюсь любви его не лишиться, дружбы его! Ты понимаешь теперь, почему я всем псам своим дворовым даю подобные клички? А после отъезда твоего — подавно их называть так буду, разведу себе псов великое количество, и никому из Молдавии не позволю уехать, тут пусть подышают. О, мы еще покажем миру свой гений, вы еще убедитесь, где проходит ось мира, пуп земли! Все вы вокруг нас вертеться будете да на поклон приходить. Слушай же эту сказку! Слушай, и оставайся!

«А что же мне делать с Анкой? — подумал Зеэв. — О, я знаю, что делать! Возьму ее с собой: покажу отца, Гиватаим, Иерусалим... И пусть она тоже насладится малость видами той страны, которой принадлежит наполовину. Куплю ей манто, шубу — все, что душа ее пожелает. Я так мечтал купить ей это. И пусть она живет там со мной сколько захочет... Так уж, видеть, нам написано было!»

Тем временем Вадим читал свою сказку:

— «Жило-было на земле племя, забытое Богом и отданное во власть сатаны, и...»

Тут снова раздались за окном жуткие собачьи вопли.

— Цыц, жидовское отродье, — взвился Вадим. — Дай человеку сказку дочитать! Вот я выйду во двор сейчас, да выну из тебя душу: зарублю, как всех Жидов зарубал до тебя!

И Вадим отложил от себя сказку в большой досаде. Снова налил вина обоим. Выпили.

— Тебя ни в коем случае нельзя отпускать! — сказал он Зеэву. — Нет, брат, отсюда ты никуда не уйдешь, плохи твои прогнозы. Знаешь, что Жид сказал? В Иерусалиме, говорит, ты ослепнешь, оглохнешь и онемеешь! Снова, говорит, в психушку там попадешь, снова бредить будешь: «О, Юзя, зачем ты пришла? Отойдите все от меня...» Если чуда, правда, не случится с тобой в Иерусалиме!

Зеэв Паз посмотрел на часы и встал с табурета.

Голова была свежая, но ноги подламывались: так устроено было «алб-де-маса», дешевая кислятина.

— Все, — сказал он. — Пора забивать крышку!

Вадим тоже вскочил.

— Куда же ты, брат, куда?

— Мне в Иерусалим пора! Помоги забить крышку.

— Куда среди ночи, останься! Самолет на Москву утром уходит.

— Я же говорю то же самое. Помоги крышку забить! Да и гроб на Ботанику нести — тоже час нужен!

— Какой еще гроб выдумал, вот угорелый! Садись, выпьем!

— Э, нет! Не могу я хари твоей больше видеть! Накормил ты меня нутром своим, все, что имел — выложил!

Вадим бросился к печке, вытащил из щели тяжелый колун.

— Вот я тебя и оставлю! — пошел он на Зеэва. — Вот я тебя убью! Зачем тебе на кладбище топать, я тебя в погреб положу, всегда ты при мне будешь! Иди же ко мне, иди ближе! Тут я с тобой на равных, с чемпионом кулачным! Это мне давно хотелось...

Налетая на табуретки, спотыкаясь о бутылки на полу, они кружили вокруг стола. Зеэв увидел дверь и метнулся во двор. Мгновенно промокший, он понесся прочь с Рошкановской горки. Бежал вниз, утопая в раскисшей глине, скользя, падая, поднимаясь снова.

А сверху, над мертвым городом, полетели вослед вопли покинутого друга:

— Брат мой, вернись! Я умру без тебя! Оставь мне ребенка? Ой-ай, ой-ай! Буду я кричать, как Анка: оставь нам ребенка! Клянусь, ты вернешься сюда! Вы все еще вернетесь за гробом!

Зеэв Паз был уже на нижней дороге, когда настигли его эти вопли.

О, ужас! На столе остался гроб с его телом, и все

его прошлое! Осталось незаколоченным, и все это надо везти с собой в новую жизнь?!

Зеэв Паз упал на асфальт, в холодные, кипящие лужи, и разразился в неутешных рыданиях.

Тут он ощутил возле себя нечто живое. Пес по кличке Жид с оборванной веревкой на шее принялся лизать ему уши и руки и тихо скулить. Пес ходил вокруг Зеэва Пазы, все опутывая его веревкой, будто просил забрать с собой в Иерусалим.

Глава X

Кто сеет со слезами, пожинает с радостью... Вернутся с полными снопами... Веселиться будете на улицах Иерусалима... — всплывают обрывки из Танаха.

В девять часов вечера, в самый разгар гуляний и веселья, стоит Зеэв Паз возле кинотеатра «Оргиль», ощущая в груди трепет оживающего сердца.

Смотрит кругом себя: поток сверкающих машин плывет вниз по улице, мотоциклы, мотороллеры. Идут по тротуару, качаясь в любовном томлении, парочки в обнимку. Витрины богатых магазинов, играющих неоновым светом рекламы. Кафе и рестораны. Толпятся туристы возле киосков, выбирают открытки с видами страны и Святых мест, сувениры и безделушки. Солдаты с автоматами и солдаты, полицейские... Ну, не диво ли? Еврейские солдаты и полицейские! А с обеих сторон из высоких каменных домов слышится музыка из окон, танцующие тени за гардинами.

Радостью возвращения начинен вечерний воздух веселящегося Иерусалима, восторгом обретенной родины!

Один лишь Зеэв Паз не ведает в этот час покоя, сдается ему в обиде — кого угодно имел в виду пророк древний, но только не его! Пригрел и обласкал великий город на своей груди всех этих пришельцев из изгнания, но только ему неуютно, Зеэву Пазу.

Смотрит на стойбище блудниц через дорогу. Ишь, какое веселье стоит там! Помилуйте, а с какими снопами пришли сюда эти бесстыжие, пестрые твари? Почему так хорошо им в Иерусалиме? Почему не изгонят их из святой столицы, камнями не забросают? Или

забыл народ повеления Торы, оглохло ухо Израиля, справляя карнавал возвращения!?

И слышат, как исходит в подобных праведных воплях душа Зеэва Пазы, оба спутника его — добрый в ермолке и вислоусый с солончаков. Все они слышат! Кому же, как не им утешить его? И заводят такой разговор:

— Пора отпустить его, — предлагает бес. — Пусть он идет к своей Анке. Вон та рыжая ему и назначена. Ах, до чего хороша, мне бы такую на вечер!

— Да будет так! — соглашается добрый. — Ей он отдаст свою шубу сегодня, и да плывет его хлеб по этим мутным и сточным водам. Все равно он возвратится к нему чистым, благоуханным.

И вот толкает в спину Зеэва Пазы похотливый, решительный бес.

— Ступай, — говорит, — Зеэв, к этим славным труженицам, они помогут тебе. Ступай, куда другой не перехватил. О, никто не знает их должности в этом городе! Тяжкое бремя сионизма несут они...

Заручившись согласием своих спутников, благословением их, снимается Зеэв Паз с места и переходит дорогу.

Видит Анка, как он идет к ней, петляет в потоке машин, мотороллеров. Давно следит она за Зеэвом Пазом.

— Шалом тебе, робкий «русский»! — смеется Анка и жует жвачку. — Как поживают коллеги наши на Яфском тракте? Ты обходил их сегодня?

— Я все ломаю себе голову, — отвечает Зеэв Паз. — Почему вас всегда по восемнадцать — блудниц и нищих? Что это за цифра такая?

Анка достает сигареты из сумочки, закуривает неторопливо, загадочно улыбается.

— И все-то ты хочешь знать, так и открой тебе наши тайны! Восемнадцать — цифра жизни. Любой младенец в Израиле знает это. Сегодня ночью ты и сам все поймешь.

— И что же будет сегодня ночью?

— Вел бы ты счет нашим девочкам, да шубам своим — тогда бы догадался. Я у тебя — восемнадцатая!.. Ну-ну, дурачок, не выкатывай так глаза, и рот закрой — ворона залетит.

— И в самом деле — нет, не считал...

— А знаешь, у меня хорошие новости для тебя,

— оживилась Анка. — Эти скряги из Земельного фонда согласились на участок под рощицу, полдунама тебе отвалили! Мы-таки добились своего, уломали их звонками своими бесконечными. Полдунама на Арсенальной горке!

— На Арсенальной горке? — Зеэв Паз сник, разочарованный. — А я мечтал в Иудейских горах... Кто придумал мальчику это место, чья это идея была?

— Чики придумала, ее это идея! Помнишь Чики? Совершенно безграмотная шлюшка, но какое воображение зато! Это же замечательно — высадить рощицу там, где шли самые жестокие бои за Иерусалим! Я думаю, что и мальчик будет доволен жить на Арсенальной горке. Послушай, «русский», а ты выяснил что-нибудь? Кто он, откуда?

— Хаим Гольдман. Хаим Гольдман из Бессарабии, — сказал Зеэв Паз. — Так они думают в «Яд-Вашем». А сейчас уточняют одну деталь: если ход поездов из концлагеря Транснистр совпадает со днем его подвига в Аушвице, то может статься, что мальчик — мой старший брат. Не могли же родители сказать молдаванам, что есть брат у меня! Отдали через проволоку и все, одну лишь фамилию успели шепнуть — Гольдман! Ну а имя мне уже в приюте навесили — Володя. Так им, видать, понравилось.

Анка всплеснула восторженно руками.

— Это же потрясающе! О, тогда мы тоже войдем с долей расходов! Тебе одному не потянуть, саженцы сейчас безумно вздорожали!.. Выходить с хлебом на улицу, гоняться за милосердием — да это же и есть прямое наше назначение! О, «русский», неужели ты лишишь нас доли в этом деле? Как это все сюжетно, занимательно! Ты будешь писать роман об этом?

Зеэв Паз смутился, скромно потупясь.

— Я еще не решил. Мне было бы легче, чтоб мальчик остался символом. Писать о символах гораздо проще.

Из общего потока машин отделился в эту минуту роскошный «понтиак» спортивной марки, подъехал к тротуару, притормозил у ног Зеэва Пазы и Анки. Опустилось стекло на дверце, и выглянул почтенный господин в голубом костюме с седой шевелюрой. Недвусмысленно, умоляюще посмотрел на Анку.

— Занято, занято! — замахал руками Зеэв Паз.

И красивый, почтенный господин откатил к другой блуднице.

Анка восхищенно взглянула на Зеэва Пазу, будто спас он ее Бог весть от какой опасности, а не шуганул клиента богатого.

— Ну, спасибо! Да ты, я вижу, и не такой уж робкий. Я бы с ним все равно не пошла. Я же сказала — тебе назначена! Ну, будет, нечего здесь торчать, поехали!

Оставляют они греховодное место, длинным темным переулком выходят к магазину готовой одежды «Ата». Стоит здесь на обширной стоянке голубенький, потрепанный «фольксваген», ключами от которого владеют все восемнадцать иерусалимских блудниц.

Анка ловко вырывается на улицу Бен-Иегуда, берет к площади Цион и оттуда по улице Яффо — в направлении Старого города.

Пристально впившись в дорогу, Анка спрашивает Зеэва Пазу:

— Ну, а деньги? С какого ремесла ты зарплату имеешь?

И Зеэв Паз оживляется, приходят на память слова Вадима.

— Я космонавт, — смеется он. — Меня окружают на работе люди с антеннами из висков.

Анку такой ответ приводит в умиление.

— Дай я тебя поцелую! — и целует Зеэва Пазу. — Конечно же, космонавт! Все вы, «русские», — космонавты, позабывшие впопыхах забить крышки на гробах своей памяти!

— Да он бы зарубил меня, этот погромщик! — восклицает Зеэв. — Как пить дать, зарубил бы тогда! Слава Богу, что не помчался за мной до дороги, когда я на асфальт свалился!.. Допустим, я бы сцепился с ним, хряснул бы его табуретом по башке! Но ты одно пойми: тот, кто уверен в своих кулаках, всегда боится оружия! Направь на меня вилку обыкновенную, и я побегу от тебя...

— Нечего огорчаться, это хорошо, что ты убежал, — назидательно отвечает Анка. — Тут радоваться надо, что горел в тебе свет Иерусалима. Говорят, что к таким, как ты, еще в утробе матери приходит ангел и снаряжает знаниями для будущей жизни, вкладывает инстинкты, как магниты. А потом, когда выходит человек на белый свет, этот же ангел нажимает пальцами

на уста, чтоб все твои знания остались в тебе запечатанными, не рассеялись. Видишь ямочку на верхней губе? Это и есть след его пальца. Спас тебя тогда от Вадима тот свет, что показал тебе ангел!

Летит потрепанный, старенький «фольксваген» мимо мшистых стен Старого города, обложенных зеленью веков.

А снизу подсвечены стены странным желтым огнем. И фонари вдоль дороги — тоже желтые.

И думает Зеэв Паз: не ради красоты и экзотики это, не ради туристов. Иной, возвышенный смысл здесь! Точно свеча во вселенной, сияет вовеки Иерусалим. Негасимой, желтой свечой правды и истинной веры! Под точно таким же светом лучин и свечей сидели в пещерах отшельники, освещали в ночи свои углы и каморки древние пророки, ученые мужи и ревнители Закона! Конечно же, Анка права: именно к этому свету тянулся душой Зеэв Паз всю прошлую жизнь. Знал, что нужно идти к нему, и пришел!

И снова наклоняется к нему Анка, снова целует.

— Сколько вас прибывает сейчас — космонавтов! Благословенный «русский», ты привез из галута парочку безобидных комплексов: предметы верхней женской одежды и стражников врат Судилища, но даже не знаешь, какие бывают среди вас инвалиды!

— Разве похожи мы на ублюдков? Почему вы не видите этих тучных снопов, с которыми пришли мы на родину? Неужели все наши прошлые приобретения никого здесь не интересуют?

— Видим, мой милый! Все видим! Но дело в том, что ваши снопы еще замурованы. Только мы, блудницы, можем тут что-то сделать.

У Шхемских ворот, у вырубков царя Соломона, Анка притормаживает машину. Ждет, когда сменят на перекрестке красный фонарь на зеленый. Откинувшись от баранки, закуривает сигарету.

— В картотеках наших значится уйма дел. У меня есть подписка о неразглашении, но кое-что тебе можно открыть. Взять, к примеру, господина Леонида. Он приближается к восемнадцатому сеансу, к выздоровлению... Это же цирк, умора одна, на что похожа его спальня! Громадный стол казенного вида, ковровая на полу дорожка, а у окна — стальной шкаф несгораемый, как в банке... Сажу я, обычно, по эту сторону стола, а он — напротив, на табурете... Ты будешь смеяться:

в России бы мне полагалось дать за эту работу по крайней мере чин капитана! Я знаю, как бить по рукам стальным прутиком, чтоб пальцы остались целы, оглушать подследственного кишкой с песком по башке, и всякие другие штучки-дрючки, из бескровных пыток. А когда он мечется, когда отчаяние его вот-вот перейдет в истерику, тут я его разом и облегчаю. Или на столе, или на дорожке ковровой.

Загорается зеленый свет на перекрестке, Анка трогает с места «фольксваген», входит в поток, набирая большую скорость.

— Ну а больницы, диспансеры? — спрашивает Зеэв Паз. — Где они эти психоаналитики, аппаратура современная, лекарства?

— А мы и есть все это вместе взятое. И даже большее!.. Ты и понятия не имеешь, какие у нас связи, какие возможности! Но в том-то и загвоздка, что этих людей одолевает собственная, дремучая память, ничего извне сюда не пристегнуто. Взять хотя бы другой случай. Господина этого зовут Сергеем: ни разу в тюрьме не сидел, не стар, не в пожилом даже возрасте. Спальня у этого обтянута сплошь колючей проволокой. И проволоку эту он подключает к напряжению, по необходимости. Заместо двери — опять же колючая проволока. И все это толкуется, как символ обнесенной границы и безысходной запертости... Всю ночь с господом Сергеем играем мы в такую игру: появляюсь я, скажем, в калитке, а он кричит мне из дальнего угла, сидя на «нарах»: кто там? Гляжу я в бумагу у себя на руках и отвечаю, на выбор: директор научно-исследовательского института прикладной математики Василий Сомов! Или: начальник районного отделения милиции Варвара Ивановна Скуратова! Или: зав городским ОВИРОм капитан Кожakov!.. Господин Сергей выскакивает на меня из угла своего и зверски насилует! И знаешь, что в этой комедии самое неприятное? — Кричать ему без акцента все эти русские фамилии: пару часов перед каждым сеансом — стой и выдрючивай голос!

— Удивительно! — говорит Зеэв Паз, — третий год живу в Иерусалиме, да так ничего в нем и не пойму! С такими порой встречаешься вещами, что просто свихнуться можно! Ну почему бы вам не работать открыто, чтобы знали все о вашем труде? Статьи в газетах, интервью на радио и телевидении? — Да просто чтобы

знали адрес и телефон, куда обратиться? Поразительный город?

— На то он и Иерусалим, — говорит Анка, продолжая следить за дорогой. — Нельзя объять его разумом, нельзя запомнить, описать, унести с собой. Все духовное — неуловимо! Быть может, после ночи сегодняшней тебе повезет: сойдет на тебя миг сопричастия с Иерусалимом!

Минуя ворота царя Ирода или иначе, ворота Цветов, Анка круто берет влево. Въезжают они в арабские кварталы из ветхих домишек с плоскими крышами, маленькими двориками в виноградных лозах. Улицы, тупики, проулки скудно освещены здесь. Близость чужого, враждебного мира, затаившегося в обиде за уходящую родину, заставляет умолкнуть в машине обоих — обратиться мыслями к тягостям жизни.

— Ты молишься по утрам? — задает Анка вопрос.

— Нет, — отвечает Зеэв Паз.

— Начни молиться! Мне кажется, что только на наших молитвах держится наша страна. Отпусти себе бороду, пейсы... Нам надо платить зарплату по самым высоким ставкам. Платить за то, что каждое утро мы читаем наши газеты и слушаем радио, где кровь, резня и смерть за смертью. За то, что мы вообще не бежим отсюда. Но мы еще вкалываем, как последний раб на египетских пирамидах! Воем против тьмы врагов, что наплодил нам Господ Бог в своей неумной щедрости.

Закончились темные улицы с арабскими домами и показалась впереди Арсенальная горка. Заполыхал опять над высокими домами желтый, родной свет. Вернулись мысли к покою.

— А я ведь, признаться, тоже больна, — говорит ему Анка. — Больна грызущей меня обидой. Едем мы, да смеемся оба: космонавт, космонавт!.. Последний кретин побывал уже на луне, а только мы, как всегда, должны быть везде последними! И это там, где наши предки витали мысленно еще тысячи лет назад! О, как мне хочется, чтоб какой-нибудь ладный парень взялся за это дело. Закрутил бы и у нас с ракетами и космодромом! Ты не знаешь наших евреев — их может оставить без колыхания любое земное, но идея, устремленная к небу, потрясет их рассудок. Так он устроен, этот народ, сам родившийся от небесной идеи. Ну сам посуди: для того ли пришел ты сюда, чтобы мечтать о возрождении в Иерусалиме варварства кулачного

боя? Вот бы нам заключить союз: я излечу тебя, ну, а ты — меня: договорились?

С погашенными огнями въезжает «фольксваген» на стоянку у высокого белокаменного дома.

Выходят они из машины, запирают дверцы.

Смотрит Анка на дом, задрал голову. Причудлива, необычна его архитектура. Линии древних, рыцарских замков мерещатся глазу на его изгибах, багдадские башенки, балконы... Вечным покоем веет от желтого света с его этажей и окон.

— А знаешь, когда его взялись строить? — спрашивает Анка.

— Знаю, — говорит Зеэв. — После Шестидневной войны! Это я знаю.

— Благословен Ты Господи, приготовивший человеку все необходимое! Когда ты начнешь молиться, тебе откроется смысл этих слов, что произносят по утрам. Вспомни, когда был заложен твой дом в Иерусалиме? Именно в тот день, когда ты был изгнан с Марсова поля и угодил в психушку. Когда казалось тебе, что сошел ты прямо в преисподнюю во всем своем ничтожестве!

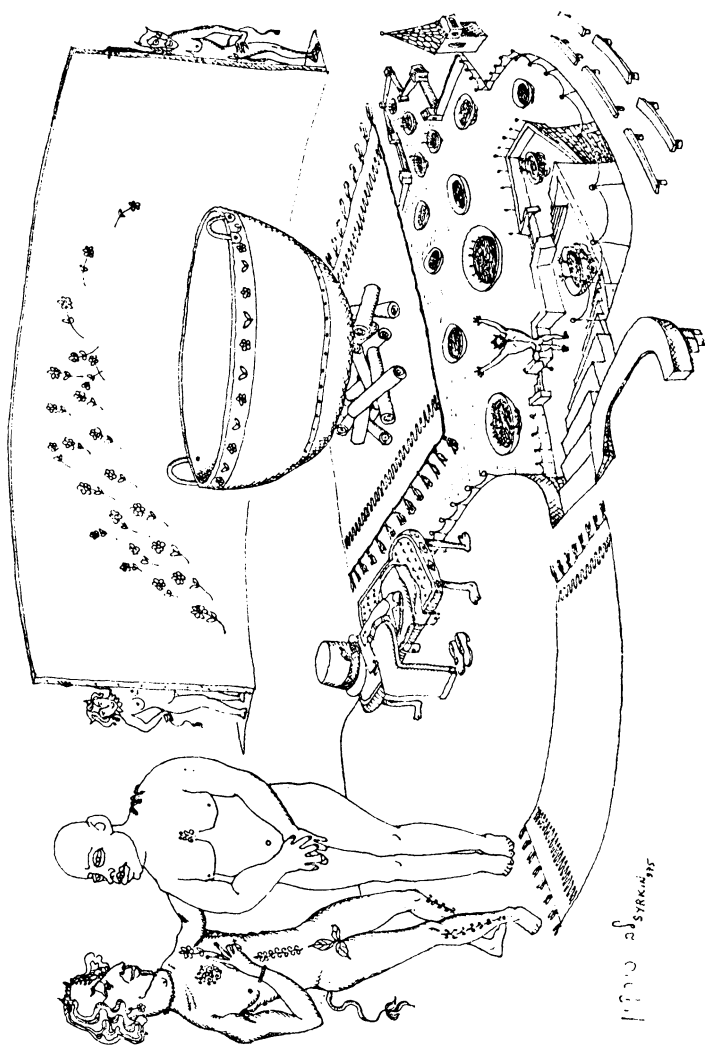
Заходят они в подъезд, поднимаются в квартиру.

Анка сразу направляется к шкафу, раскрывает его настежь.

Множество шуб, пальто, накидок, горжеток и капюшонов висят здесь в тесноте и обилии в прозрачных нейлоновых чехлах.

— Н-н-да! — говорит Анка. — Тут можно с шиком и блеском одеть всех израильских блудниц! Теперь я понимаю, почему не справились с первых сеансов ни Юдит, ни Чики, ни Пали... Вид этих шуб ослеплял их. Они давали тебе самое примитивное: «ой-ей, ой-ей!» и уходили утром с хорошенькой штучкой! Ты не сердчай на них, они так бедны, наши девочки, совсем малограмотны. Многие не кончили даже начальной школы. Многие не сдали зачетов по Танаху и Талмуду, — понятия не имеют о стражниках врат Судилица... Ну а сейчас веди в спальню!

Зеэв Паз берет свою гостью за руку, вводит в соседнюю комнату. Железную сохнутовскую кровать видит здесь Анка, жесткий матрас отшельника, голые стены, грязь, окурки. Зеэв Паз включает свет. Стопки книг возникают в углах, печатная машинка на табурете, множество рукописей кругом.



1970 SYRANIUS

Но Анке этого мало, она упорно ищет что-то еще. Пытаясь прочесть ее мысли, Зеэв Паз заливается краской стыда за свою бедность.

— Какая же это дикая страна, — наконец произносит она.

— Какая страна?

— Да Россия твоя! Там что, после смерти людей на костре сжигают? Или просто так в землю кладут?

— Да нет, в гробах, вроде бы, хоронят!

— Так где же он, гроб-то твой?

— Ты что, спятила? На кой чорт он мне сдался! Он там, у Вадима остался.

Это лишь отчасти Анку удовлетворило. И снова она пустилась искать глазами кругом.

— Хорошо, а где же врата тогда? Калитка? Столбы? Арка?

— Да за кого ты меня принимаешь? — начинает злиться Зеэв Паз. — Что я тебя, язычник какой-нибудь африканский? Понятия не имею, как они выглядят!

Тогда достает Анка карандаш и блокнотик из сумочки. Испещрен ее блокнотик какими-то записями. И начинает она читать, ставя там крестики.

Первое: — привезти необходимый инвентарь — крестик!

Второе: — вести допрос, облачившись стражником — крестик!

Третье: — ни в коем случае не отдаваться — крестик!

Четвертое: — в случае неудачи, позвонить...

На пункте четвертом карандашик повис над строчкой. На Анкином лице возникло вдруг восхищение от внезапной простой догадки, будто на ум ей блеснуло.

— Господи, так тут и делать-то нечего! Только позвонить!

— Куда это звонить? — насторожился Зеэв Паз.

— Ах, какая же я недотепа! Слетать на гору Сион да позвонить! И пусть пошлют за этим его же бабу, пусть сам он увидит все!

— Какой Сион, какую бабу? — вскипает Зеэв Паз.

— Ну что ты злишься, мой милый?! Ты был хоть раз на горе Сион? Ты знаешь, что рядом с могилой царя Давида висит самый загадочный телефон в мире? Ну там, в прокопченных лабиринтах, где лестница идет к куполу? Я скажу им одно только слово, и сразу меня поймут!

Анка убрала в сумочку блокнот и карандашик, решительно направилась к двери.

— Куда же ты? — взмолился Зеэв. — Не покидай меня!

— Ах, какие же вы нетерпеливые все! Это рядом совсем, минут через двадцать буду назад.

— Ты что, сама к Вадиму заявишься? Возьми тогда шубу. Сейчас там поземка. В январе там всегда снега и морозы.

Уже с лестницы, за дверью, Анка ответила:

— Да нет, вовсе не так это делают! Иди лучше спать, сам все увидишь!

Глава XI

Зеэв Паз бросился на кухню, раздвинул окно: там, далеко внизу, бежала к «фольксвагену» Анка. Отомкнула дверцу, завела мотор и уехала в сторону Храмовой горы.

Непонятное волнение охватило его: нет, он вовсе не сомневался, что она вернется — предвестие какого-то освобождения пронзило его! Чувство это, казалось, вот-вот сорвет с привычных устоев все основания его души. Пытаясь постичь это чувство, Зеэв Паз стал глядеть на город, мерцающий огнями.

«Ну и чудеса, ну и город! Спокойно, Зеэв, спокойно, иначе чокнуться можно!.. Вот висят над городом звезды, обычная полная луна. А вот ты видишь напротив гору Скопус со сторожевой башней. Говорят, что в ясный день можно видеть оттуда Иудейскую пустыню до самого Иерихона, а если обратиться в другую сторону — увидишь всю страну до Средиземного моря. Ну что же, обычная башня, очень хорошая башня!.. Теперь ты видишь из своего окна Масличную гору, с садом Гефсиманским на склоне. Та самая Гефсимания, где повязали две тысячи лет назад парня по имени Иисус Христос. Церквушка там в русских, расписных куполах, сад масличный: — очень хорошая Гефсимания, очень интересный Иисус Христос... Еще ты видишь из кухни своей золотой купол Наскального храма, под которым лежит камень Святая Святых, и на камне этом лежали скрижали завета, что получил Моисей на Синае, стояли на этом месте Первый и Второй наши Хра-

мы. Да, такие вот дела творятся у тебя на кухне!.. А еще говорят, что к этому месту приходили Каин и Авель с первыми жертвами Господу Богу, приходил сюда Ной, когда окончился тот самый большой дождичек, именуемый потопом, и тоже возносил жертвы благодарения за спасение рода человеческого и всего на земле живого. А потом приходили сюда Авраам и Ицхак — первые евреи на земле — получили то самое благословение на всех своих потомков, благодаря которому я и сам пришел сейчас в Иерусалим. Да, ну и кухня, дальше! Ну, а дальше ты видишь заурядную горку, холмик эдакий под названием гора Сион, из-за которой столько возни в мире. И есть там могила царя Давида. А в прокопченных лабиринтах висит телефон... Кстати, куда это она звонить помчалась? Что еще за телефон такой?»

Вспомнив телефон и Анку, Зеэв Паз прервал свои размышления, пошел к холодильнику. Когда он нервничал, ему страшно хотелось есть.

Тут он почувствовал неодолимое влечение ко сну. Он разбил над сковородкой три яйца, поставил вскипятить чайник. С трудом борясь со сном, Зеэв Паз проглотил яичницу, выпил чашку чаю, съел кусок копченой индюшатины.

Мысли сделались вязкими, стали рваться и путаться.

Нашаривая руками дорогу в спальню, Зеэв Паз убеждал себя:

«А почему бы и не висеть там телефону с прямой связью на небо? В Иерусалиме все может висеть, все может быть? Подумаешь, бином Ньютона — телефон с небом! Я бы еще удивился, узнав, что существует книга жалоб на небесное ведомство, что есть на горе Сион контора по переделке мира, сидит там консультант по судьбам, есть бюро свиданий с давно отошедшими предками!..»

Вернулась Анка, минут через двадцать, как и обещала.

Зеэв Паз лежал на койке в спальне, погруженный в глубокий обморочный сон.

Анка дотронулась до его плеча, потрясла сильнее.

— Ну вот! — сказала она. — Теперь этот псих храпит! А я — мотайся по городу, придумывай им спектакли, жги бензин казенный! Этот же чурбан ничего завтра помнить не будет!

Зеэв Паз не слышал ее ворчаний, не слышал, как пошла она в ванную, напустила там воды и долго мылась — была она девушкой бедной и мылась исключительно у своих клиентов.

Не слышал Зеэв Паз, как пришла она в спальню, разделась и легла рядом с ним.

Ничего этого Зеэв Паз не видел и не слышал, ибо весь был захвачен тем, что сейчас происходило на крутой Рошкановской горке. Поднимаясь в горку, шла к бревенчатой избе Анка. Зеэв Паз задыхался, сердце его учащенно билось, вот-вот готовое разорваться. Шла она сюда, облаченная в самое лучшее манто, которое он купил ей в Иерусалиме. Это была единственная на свете Анка, та, что собирала камни для очага на маковой поляне под тяньшаньскими отрогами, та самая, подарившая ему волшебную ночь на длинной песчаной косе у Черного моря и страсти, не испытанные ни одним мужчиной со дня сотворения мира... Ни Анка — Юдит, ни Анка—Чики, ни Анка—Пали — никто из тех грязных, дешевых блудниц, торгующих собой возле кинотеатра «Оргиль». И шла она с невыразимой скорбью на лице, отчего у спящего Зеэва навернулись слезы и вырвались рыдания.

Анка подошла к калитке, ступила во двор. Потом обогнула пустую собачью будку и появилась наконец в избе.

Стоял здесь тот же гроб на столе, и крышка от него по-прежнему находилась на лавочке возле печки.

— Она пришла! — послышался чей-то возглас.

Зеэв Паз увидел, что вся изба полна народу. Едва скользнув беглым взглядом, он тут же их всех узнал. То были иерусалимские нищие — хорошо ему знакомые — восемнадцать человек ровным счетом! Стояли они у стен, в почтительном отдалении. И лица их вовсе не казались угрюмы и замкнуты, как это бывает по вечерам, когда обходит их Зеэв Паз по Яффскому тракту. Сейчас их лица светились, жили возвышенной мыслью.

Слезы у Зеэва Пазы миготом высохли, прекратилось всхлипывание. Он тоже проникся торжественным ожиданием этих людей. Потом стал прислушиваться к шепоту меж ними, стараясь постигнуть тайну их превращения. И вообще, зачем они здесь?

— Ах, как идет ей это манто, коллега! — услышал Зеэв Паз.

И удивился — ведь это сказал слепой слепому! Тот, что стоит на площади Цион в солдатской рубаше и черной бархатной ермолке, — тому, что стоит в костюме жениха у центрального автобусного вокзала. Но, судя по возгласу, — сейчас они все хорошо видели. Быть может, видели лучше всех остальных.

И тот же слепой с площади Цион добавил:

— Прошу, коллега, лишний раз убедиться: никогда не следует человеку пренебрегать никакими водами! Главное, чтоб было желание опустить хлеб свой!

— А какое мужество было прийти сюда! О, как она его любит!

Это заметил старик, похожий на первых патриархов, которого обвиняли в субботнем курении и употреблении свинины.

— Любила! — поправил кто-то с рынка Махане Иегуда.

— Да, — согласился патриарх. — Она так любила его! Он так измучил ее за эти три года! Наконец они будут свободны!

Все с тем же выражением скорби на бледном, прекрасном лице, с выражением муки, Анка приблизилась к столу и поцеловала лежащего в губы.

Он снова заплакал, ощутив соль и сухость ее губ. Почувствовал всю горечь ее страданий, что причинил в жизни своей любимой.

— Идемте, они попрощались!

Зеэв Паз увидел у гроба черных старух, которые каждый вечер стоят у больницы «Ворота Справедливости», где выдают родственникам умерших в Иерусалиме людей.

Один за другим нищие потянулись к столу. А черные старухи — принимать от них всякую всячину и укладывать на стружки по обеим сторонам покойника, аккуратно, со знанием дела.

Вот положили в гроб сиротский приют, что был на улице Тахтапуль возле чайханы: бюстик Ленина на высоком серебряном цоколе и длинную надпись по фасаду: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Потом — ремесленное училище, вагончик в Голодной степи, солончак, мазар палача Чингисхана, стадион «Динамо» в Молдавии, комнату-душегубку, где жил он на стадионе. Затем мелькнул дом на улице Пирогова с узкими цементными ступенями, сапожная будка на Васильевском острове, а после — целыми

охапками все, что купил ему дядя Петя в Центральном универмаге на Невском, Юзина свадебная фата, обручальные кольца, бальки, усахи, красная и черная икра в фаянсовых мисках. И, наконец, — квартира на Марсовом поле и ленинградская психушка!

— Он готов, госпожа приятная Анка, — сказали старухи. — Можете заколачивать!

— Э, нет, секундочку! Хороним-то все же еврея!

И к гробу подскочил последний нищий. Развернул, как простыню, как саван, новенький и благоухающий талит и покрыл им Зеэва Паз. Потом старательно подоткнул талит со всех сторон под усопшего — в ногах и за затылком — и тоже отступил от стола.

При Анке оказались молоток и гвозди. Она еще раз коснулась губами лежащего, теперь уже через талит, но Зеэв Паз и тут ощутил ее соль и горечь.

Когда крышка была забита, к столу подошли мужчины. Сильными, молодыми руками подняли на плечи здоровенный гроб, будто и не было в нем всей этой тяжести, что так обременяла жизнь Зеэва Паз в Иерусалиме.

— Ступайте впереди, госпожа приятная Анка, вы лучше нас помните дорогу на Ботанику. Он просил положить его рядом с Мoneй, такова была его последняя воля.

— Вы тоже идите рядом с ней! — было сказано черным старухам. — Женщинам положено всегда идти перед гробом, ибо вы производите род людской и ответственны за него!

Глава XII

Проснулся Зеэв Паз задолго до рассвета.

Давно он завел привычку вставать без будильника, чтоб лишними звуками не беспокоить своих соседей. У соседей его были сплошь автомобили, они поднимались на час, а то и позже Зеэва Паз. А стук его печатной машинки по ночам и без того доставлял им изрядное беспокойство.

Проснулся он с удивительным ощущением крылатой легкости на душе, какой-то непонятной еще радости.

Едва шевельнув рукой, был тут же озадачен: на

кровати лежала голая женщина! Пораженный таким открытием, он сел, склонившись, пристально ее изучая.

«Откуда она взялась, рыбонька?!»

Была она с рыжими, жесткими волосами, выдававшими сварливый характер. А сквозь смуглую кожу лица отчетливо проступала печать ее гнусного ремесла. Словом, дешевая, грязная блудница, способная отдаться где угодно: в темном дворе, в подъезде, готовая исполнить любую животную прихоть в автомобиле клиента. А набрякшая желтизна под глазами выдавала в ней хроническую наркоманку.

Зеэв Паз растолкал ее.

— Эй ты, как зовут тебя?

Женщина открыла глаза, зевнула и сладко потянулась.

— Сузи! Ну что, схоронили, пришла твоя баба?

Зеэв Паз рассвирепел.

— Слушай, Сузи, катись-ка ты из квартиры, пока соседи мои не проснулись! Тут кругом одни религиозные люди. Влипну я еще в скандал. И вообще — мне на работу пора!

— Результат выше расчетного, — усмехнулась Сузи. — Я же говорила: этот болван ничего помнить не будет!

— Ты что там бубнишь себе?

Сузи спустила с кровати длинные, худые ноги.

— Мальчика ты хоть помнишь? Мальчика, рошу на Арсенальной горке?

Зеэв Паз пошел в ванную.

Плотно прикрыв дверь, он чистил зубы, чуть ли не до крови раздирая щеткой десны — никак не мог вспомнить, откуда же взялась в его постели Сузи?! Вчерашний вечер куда-то пропал, — что он делал вчера, где был? Господи, так нализаться, так низко пасть! Скорее всего подсунул ему эту Сузи по пьянке какой-нибудь ловкий сутенер, а сам стоит сейчас за дверью и дожидается гонорара!

— Прошу гонорар наличными! — крикнула в спальне Сузи. — Вчера я весь бензин казенный пожгла, без гроша осталась, да и жрать сегодня самой не на что!

В мертвой утренней тишине это прозвучало безобразно громко. С полным ртом, набитым пастой, Зеэв Паз высунулся из ванной и взмолился, как можно тише:

— Тс-с-с! Умоляю — тс-с-с! Я чек тебе выпишу, дома наличными не держу.

Вчерашний вечер совершенно провалился в памяти. Сузи облачалась в трусики, брюки, рубаху и принималась издеваться:

— Так что же было с гробом? Пришла или нет? Что мне девочкам нашим рассказывать?

Судя по этой бессмыслице, Зеэв Паз понял, что у нее начинается обычный утренний бред наркомана. Не задавая больше ни себе, ни ей вопросов, полагая, что весь этот случай сам по себе всплывет в памяти и объяснится, Зеэв Паз поспешил к шкафу за чековой книжкой.

Открыв его, он остолбенел! Шкаф был забит совершенно непонятными вещами. Долго не размышляя и над этой напастью, черт знает откуда взявшейся в квартире, Зеэв Паз содрал с вешалки самую большую шубу, распластал ее на полу. Потом стал срывать все остальное и бросать в нее.

Минуту спустя, с огромным тюком на спине, Зеэв Паз бежал вниз по лестнице. Сузи же вызывающе топала каблуками, по-прежнему неся всякую чушь:

— Ах, какие мы стали застенчивые! Сколько в нас нравственности! Браво, Зеэв! Браво, Сузи! Чистая работенка, ничего не скажешь. Ладно, будем считать, что вышел у нас перебор, в любом деле возможен перебор. А мальчика мы берем себе! Я думаю, что этого тряпья в тюке будет достаточно на сотню еловых саженцев...

У дома оказался потрепанный, голубой краски, «фольксваген».

Зеэв Паз как мог затолкал в него тюк с шубами.

Сузи ухватила его за руку и стала смеяться прямо в лицо:

— А ты не забыл своего обещания закрутить здесь дело с ракетами и космодромом? Только вы, «русские», сможете это поднять! Для начала советую обратиться прямо в Кнесет, проси участок в Негеве. Лучшего места для космодрома не сыщешь во всем свете! Ну неужели ты не выручишь бедную девочку Сузи? Я так для тебя постаралась! Я просто больна космодромом...

Зеэв Паз вырвался от нее и побежал к дому. Бежал, глядя пугливо на окна: не покажется ли чья-нибудь голова! Ах, до чего все выглядело мерзко с

этой девкой разнузданной, с этим тюком! Ну просто бандит, ограбивший рано утром квартиру!

В синий, рассветный час Зеэв Паз ехал в автобусе на Катамон. Ехали вместе с ним школьники, арабы-рабочие, погруженные, как обычно, в тяжелые размышления об уходящей родине, старики-чиновники из министерства здоровья.

Автобус тащился ужасно медленно, и это действовало на нервы: целый час пропадал впустую!

И вдруг он обнаружил, к величайшему удивлению, что во всем автобусе лишь он один молодой мужчина, а кругом — дети, старики, да бедные арабы!

Мужчины его возраста пролетали мимо автобуса в собственных автомобилях! Должно быть, за инвалида или слабоумного принимали его пассажиры в автобусе!

Господи! На что же он тратил все свои тысячи, куда зарплату девал?.. И стал думать, какая марка машины ему подошла бы...

Ощущая себя свежим и обновленным, будто избавился от какой-то болезни, омрачавшей ему душу и жизнь, Зеэв Паз стал любоваться нежной зарей, встающей над городом.

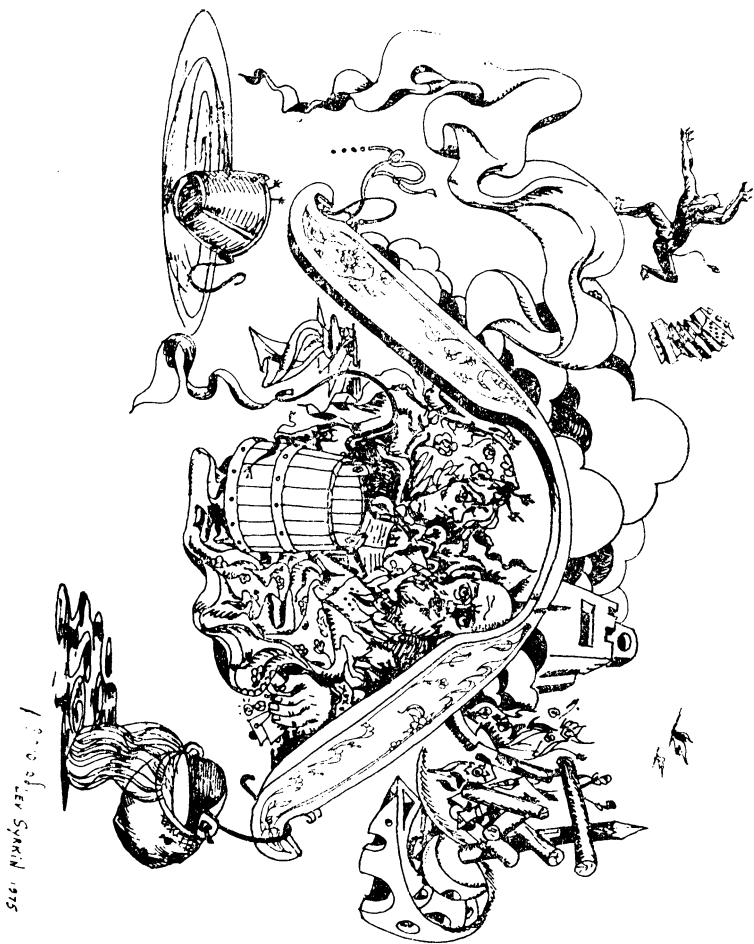
Он увидел гору Сион на повороте у мельницы Монтефиоре. Увидел, как первые лучи солнца разносят пласты сизоватого, как слизь, тумана. Увидел на чистом, умытом небе контуры монастыря Сердце Христова, купол над могилой царя Давида.

Далеко внизу, из долины Страшного суда тоже всплывали, тая и исчезая под солнцем, сизые, слоистые туманы, лежавшие там всю ночь. И это показалось Зеэву Пазу чем-то символическим. Но чем именно? Не стал он ломать себе голову.

Приближался автобус к школе, и надо было вспомнить, что сегодня состоится финальная встреча на первенство школы по баскетболу между командами класса йуд-бет, именующими себя «марокканскими потрошителями», и командой класса йуд-алеф «красные комиссары».

Вспоминалась вчерашняя просьба вахтера Давида — включить в состав сборной Хаима Элькаяма, его любимца, для участия в городских состязаниях. И подумал, что включит, пожалуй! Пусть побеждает Хаим

большие кроссы с гантелями, пусть подучится в дальних прорывах с мячом и боковых бросках по корзине... Не отказать же, в самом деле, чудаку пейзаисту, если Хаим действительно пришел в Иерусалим через два фронта и четыре границы. Целым дошел и невредимым.



МИШАНЯ

Велено — значит, надо, и Мишка проснулся сам, глаза открывать не стал: в доме все равно было темно. Шептались на родительской кровати, в качалке слышалось посапывание Сонечки, годовалой сестренки.

Потом поднялся отец и включил свет, пошел к печке за брезентовой сумкой. Мишка разлепил один глаз, увидел, что железные ходики на стене показывают шесть, а гирька с цепочкой болтается у пола.

— Поздно, сынок, хватит нежиться.

Мишка взял со стула рубашку, штаны, надел носки, влез в галоши. На одной отстала подошва, он поковырял ее пальцем, пробурчал:

— Хожу у тебя драный, как обормот. Сапожник еще называется.

— Не хнычь, починю. Сонечку разбудишь.

— Не ругай ребенка, — отозвалась с постели мать.

Она встала, подошла к Мишке, застегнула на нем пуговицы, повязала шарфом шею. Он стоял и доверчиво шатался в ее руках, а теплый дух ее тела обволакивал Мишку.

— Готов, Мишаня? — спросил отец. — Выходи, заспались сегодня.

Как обычно, с тревогой и болью, мать им сказала:

— Берегите себя, ради Бога. Я волноваться буду.

За ночь грязь в переулке подмерзла, окаменела. Мелкие лужи затянуло льдом. Разбежавшись, можно с удовольствием по ним прокатиться. Мишка быстро согрелся, увлекся, повеселел. Отец далеко отстал, куда угнаться ему за Мишкиной резвостью. У отца голова полна хлопот, он и вверх не взглянет. А луна на небе большущая, яркая, на ущербе, правда. Небо иссиня-черное, звезды на нем точно цветные яблоки. Голые деревья в переулке стынут в серебре инея. Тихо, живой, зимний сон. А дышится как! Всею грудью.

Домчал он до конца переулка, стал дожидаться отца.

— Пап, ты здесь голосовать будешь?

Отец посмотрел в чернеющую даль улицы. Мишка понял, что здесь им машины не дожидаться.

— Нет, сынок, идем-ка на Шахриязбскую.

Пошли они проходными дворами, сквозными подъездами, пропахшими кошками и керосином. Пугливо тут было Мишке, и жался он потеснее к отцу. Вышли на Шахриязбскую, отец стал поднимать руки навстречу грузовикам. Легковым машинам отец не сигнализировал, по опыту знал — редко какая шла в этот час к старому городу.

Вскоре одна притормозила у кювета. Отец побежал договариваться с шофером. Мишке зачем бежать: надо будет — отец кликнет, нет — вернется.

— Эге-е-еге, Мишаня!

Сидит Мишка в кабине, косит глазами на шофера: узбек — не узбек, киргиз — не киргиз. Гадает по скуластому лицу. А тот уткнулся в стекло, не улыбнется, не заговорит, закурить не попросит, будто и не люди с ним рядом сидят. Вот досада! Половину утренних удовольствий теряет Мишка! Ведь столько историй знают шоферы эти. Догадался, видать, кто рядом, в кабине. Евреи, спекулянты. Кто же еще в такую рань на барахолку бежит.

И Мишка тоже стал смотреть на широкий проспект. Черт с ним, с этим шофером! Маячили на пустынной дороге дворники, сметая тяжелую, зимнюю пыль в арыки, громыхали пустые трамваи, выплывали из парка троллейбусы, а с дуг их сыпались гроздьями искры.

Проспект кончался большой, круглой площадью, начинался старый город. Машина остановилась. Дальше путь держать можно было или пешком или на ослике. Они расплатились и вышли. Мишка увидел, что небо посветлело, луна поблекла, свет ее сник, стерся. И звезд почти не осталось, разве что самые спелые.

Пошли они вдоль глиняных дувалов, пошли быстро. И Мишка знал почему. Бывало приедут пораньше, а рядом другие на барахолку тянутся. Кто с сумкой, с мешком за плечами, кто со связкой картона. Подшучивают друг над другом, с «добрым утром» перебрасываются. И отец тогда в хорошем настроении. По-узбекски говорить пытается. Ну и комедия! Ничпуль — почем, пуль — деньги. Знает пару торговых слов и крутит ими невпопад. Вот Мишка — он знает язык, да. Послушает его речь узбек, языком от удовольствия

зацокает, головой покачает. Ай да кичкина, ай да ребенок! А что особенного? В их деле без языка, что без рук. Бесценный помощник отцу Мишка.

При барахолке есть у него постоянное место: в стене мечети, в проломе. Мишка там неприметен, да и сухо там. Отец товар закупает, а он сидит себе, ждет. Отец кулек гвоздей принесет, подошвы, дратву, всегда одно и то же. Вначале не понимал Мишка, зачем он тут нужен. То давно было, никакой он тогда хитрости не знал, дурачок был. А все просто: отцу с сумкой ходить опасно. Ему лучше, когда руки в брюках. Чуть что, — а я, товарищи, здесь ни при чем, вы тех ловите, что с товаром, с торбой. И если есть вещи в руках, швырк ее в сторону — невелик убыток. Самое главное — при Мишке, в сумке.

— Побежал я, — говорит отец. — К шапочному разбору пришли. А ты сам, знаешь, глаз не жалей.

Мишкино дело охотничье. Вот у кого жизнь, вот где опасность! Все по-настоящему. Тайну его в школе не знают. Язык за зубами держи, Мишка.

И в самом деле, что в настоящей жизни сынки маменькины понимают? Майнридов читают, шерлок-холмсов. Ух, мы бы в шпионы пошли, в пограничники! А узнай они про Мишкину жизнь, думаете похвалят, позавидуют? Тут же сбор совета дружины соберут, из пионеров выкинут, к школе не подпустят. До семьи доберутся, отца посадят.

— Ну как, Мишаня, тихо все? — спрашивает отец, заливая товар в сумку. Оглядывается тревожно.

— Тихо, пап.

Прямо против Мишки цементный бассейн, хауз — по-узбекски. Летом тут полно воды. И чайхана на берегу летом открыта, ивы плакучие, травка изумрудная, одно удовольствие. Летом сидят люди с чаем, лепешки, плов кушают, сладкую мешалду. Замечательная штука мешалда здешняя — белая, пенистая, нежная. Стоит, сволочь, дорого. Но Мишке отец не откажет, пожелай он только. Хочет-то мешалду он всегда, но и цену семейной копейке знать надо. Сапожник отец — и точка. С утра до вечера на фабрике, зарплата шестьдесят рубликов. Попробуй прожить, не калымить! Попробуй не вертеться!

— Тихо, Мишаня? — подходит отец. И снова товар в сумку. До середины уже полна. Достает отец тряпочку из кармана, вытирает пот со лба. Руки у

него дрожат. — Засекай все внимательно, — говорит. — Предчувствие у меня нехорошее сегодня.

— Скоро домой пойдем, пап?

— Скоро, еще разочек спушись.

Предчувствие, говорит, предчувствие. Вечно волнуется, в страхе. А все нормально обходится обычно. Ну и чудак! Как пришел, так шинель и не снимает. Другие давно сняли, а он нет. Солидность, говорит, придает, уважение внушает. Шинель, сапоги кирзовые, а на голове шапка гражданская. Что такой вид внушить может?

...Летом у хауза обстановка райская: дынями торгуют, арбузами. Лопаешь арбуз, красный сок за ушами. Бросишь потом корку в воду, она качается, как кораблик. А сейчас тут скучно, воды нет в хаузе, одна коробка бестонная. Ползают в коробке тараканы, белый пар стоит от дыхания. Многие закупили товар, ушли. Ходит отец, торгуется. Плохой товар купишь — сапоги потом продать трудно.

Вдруг замечает Мишка, что далеко отсюда, к огородам, подъехала черная, с крытым верхом, машина. Высыпали из нее человек восемь в гражданском и пригнувшись бегут сюда, стараясь взять коробку хауза в кольцо. Мишка вздрогнул, весь похолодел. Схватил сумку и бочком вдоль мечети отбежал к углу переулка. Вложил пальцы в рот и что есть силы как засвистит трижды.

Кривыми переулками побежал он к Акбар-ака, калитка его должна быть не заперта, оговорено так. Тяжелая сумка бьет по ногам, мешает бежать, да и заблудиться с перепугу ничего не стоит, кругом тупички глухие. А за спиной непрерывное верещание милицеских свистков, крики облавы. Вот и калитка заветная. С разбегу кидается в нее Мишка.

Акбар-ака стоит уже во дворе — все слышал, видеть. Ничего у Мишки не спрашивает. Выглянул старик за калитку, повертел головой туда-сюда — не привел ли Мишка хвоста. А Мишка бросил сумку на землю, сопит, дрожит, взмок весь. Акбар-ака потрепал его по шапке, бороду себе погладил. Степенный старик.

— Поднимай свою торбу, кичкина, — говорит, — идем в кибитку.

— Нет, — говорит Мишка. — Можно я отца здесь подожду?

— Э, кичкина, нельзя. Папашка сам дорогу найдет. Пошли, чай попьем, лепешку пожуюшь.

Акбар-ака ведет Мишку в дом. Оставляют они га-лоши на веранде, входят. На полу войлок верблюжий, спит семейство старика.

— Снимай, кичкина, куртку, сейчас папашка придет.

Старику легко так говорить, у него все семейство дома. А у Мишки страх на душе огромный. Слишком мал он для такого страха большого.

Маклером работает Акбар-ака, нет без него базара. Придет в воскресенье, атласный халат на нем, тубейка, ситцевым кушаком подпоясан. Потолкается среди сапожников, пойдет ковры посмотрит, на скотный двор заглянет. Покупатели кто? Председатели колхозов, парторги, чабаны богатые, сельский люд. Они лучше купить хотят, товар надежный. А тот, кто продает, товар прячет. Вот и сводит продавца с покупателем Акбар-ака. Обе стороны ему доверяют, процент со сделки кладут. Эх-ма, был бы Мишка постарше чуточку, запросто маклеровать бы мог. Вот работка! Ведь язык он знает и все базарные фокусы-покусы тоже. Но кто с таким шкетом работать будет?

Чу! Вскочил Мишка. На лестнице шаги слышались.

— Фу-уф, сердце! — говорит отец, хватаясь за грудь.

— Тс-сс! — показывает Акбар-ака на спящих. — Большая облава была?

— Большая! Славу Богу, первым смылся.

— Пап, отпусти меня, в школу опаздываю, — захныкал Мишка.

— С ума сошел? Мать что подумает, тебя одного увидит? погоди, утихнет на улице.

— Тихо вроде.

— Ну да! Ходят кругом, хапают, как голубей.

Сели они втроем за низенький столик, чай пьют. Мишка нервничает. Школа для него дело святое. Отец сам учит: жизни не щади, а стань человеком. Нашим промыслом не увлекайся, рано или поздно конец придет ему. Грязное это дело, унижительное. К красивой жизни стремись, Мишка. Инженером стань, врачом.

— Пап, контрольная у меня на первом уроке.

— Успеешь, Мишаня. Мне тоже к девяти на работу, не мешай с почтенным человеком беседовать.

Шепчутся оба. Не льстит отец, в самом деле дорожит дружбой. Ведь и в милиции Акбар-ака свой человек. Чуть что — сразу к нему беги. Зайдет старик в отделение, покалякает — глядишь, и выпустят человека. На такое Мишка не способен. Это для него тайна, загадка.

Вскоре вышел Акбар-ака на разведку.

— Думаю, можно, — сказал он, вернувшись. — Идите на речку Кара-су. Оврагами уходите из старого города.

Дома мать себе места не находила, не знала, что и подумать. Увидела их, слезы брызнули. Ничего ей про облаву не сказали. Матери в таких случаях врать надо. Только мать не обманешь, она все знает, плачет.

...Идет Мишка домой из школы, размышляет. Незаменимый он в семье человек. Отец придет вечером, все уже должно быть готово. Ведь сразу шить сапоги не сядешь. Вначале картон замочить надо, кратвы навошить, ранты подтачать один к другому. Много возни с заготовками: каждую на колодку посади, затяжку гвоздями сделай, клей завари. Работают они в подвале. Глубокий он, как колодец. И это очень хорошо. Попробуй стучать молотками в доме до полуночи, все соседи на ноги вскочат. Тетя Зина узнает, не дай Бог, что мастерская на дому, — тут же к участковому побежит.

Ужинают они плотно, по-мужицки. Другие отцы после этого в кресле сидят, газеты читают. Они — нет, сразу в подвал. Там у них печка-буржуйка, верстак, гора инструментов.

За работой отец поет потихоньку:

«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат!..»

Песня эта про войну, про весну, про любовь. Военная. О войне отец не любит рассказывать. Станешь настаивать, он голову поднимет и опять запоет:

«Эх, помирать нам рановато,

Есть у нас еще дома дела!»

Подмигнет по-озорному, и снова:

«Есть у нас еще дома семья!»

Мишка тоже песни знает. Пионерские. В подвале он не поет их. Неприлично как-то. В подвале дело постигать надо.

В воскресенье опять надо до рассвета подняться. Базар далеко, у аэропорта. Пораньше придешь — товар сплавить легче, стукачи сонные, не разохотились.

Мишкино место возле забитой на зиму дачи. Усаживается он прямо на сумку. Легонький он, ничего с товаром не будет, зато сумку под ним не видно. Отец берет один сапог под шинель, уходит за высокую железнодорожную насыпь. Один сапог иметь при себе обязательно надо. Клиент, чтобы далеко не тащиться, образец на месте увидеть хочет.

Раннее утро, туманец сизый, скоро солнышко поднимется, прогреет Мишку. Ревут самолеты на аэродроме. Конец взлетной полосы у базара. И взлетают самолеты так низко, что кажется — рукой по брюху их можно погладить. За штурвалами летчики в шлемах. Завидки берут, глаз оторвать невозможно, пока в точку самолет не превратится. Отец говорит — врачом будь, инженером. Дудки! Летать Мишка будет, душа в небо просится. Отец сам, небось, в войну при аэродроме служил. Не случись у него контузии, ни за что не стал бы сапожником, не ходил бы на базар месить грязь со всяким сбродом.

— Тихо, Мишаня? — подошел отец.

— Тихо, пап.

— На, лепешку пожуй горячую.

— Принеси семечек полужгать.

— Принесу. Не холодно тебе?

— Зябко. Как торгуется?

— Неважно, сынок.

Ерунда, расторгнется еще, терпение иметь надо. Всякое в их деле случается, приведет иной раз клиента отец, меряет, гад, меряет. Всю сумку перемеряет, так и не купит ничего. И не плюнешь ты тут с досады, глиной в морду ему не залепишь. Клиент всегда прав, говорит отец. А другого зато прямо расцеловать хочется: берет и не меряет, отсчитывает денежки, спасибо еще скажет. Случаются совсем чудеса. Приведет отец замухрышку, горбатый, шепелявый, двух копеек с виду не стоит. Вытряхивает отец ему в мешок все шесть-семь пар, и баста! Кончен базар! Тут у отца с Мишкой праздник.

Захоти Мишка плов — пожалуйста, домой на такси — пожалуйста.

— На семечек, Мишаня, полужгай.

— Что же, пап, не ведешь никого?

— Стукачей много, народ прячется. Ты тоже будь начеку.

Десять утра, а они еще без почина. Да, и такое бы-

вает: тащишь домой всю сумку, целую неделю потом работать не хочется.

Рядом с Мишкой лай, скулеж — собачий базар. Мечтает Мишка: давно ведь просит отца купить ему бульдожку. Маленького, по дешевле. Воспитает Мишка помощника себе, будет это чудовище, собака Баскервиллей. Такую и с сумкой оставить можно, ни один стукач близко не сунется. Хватать за горло мертвой хваткой, и амба стукачу на месте...

— Эй, встань, мальчик!

Обмер Мишка, всей кровью заглодел. Стоят перед ним сапоги хромовые, брюки галифе с красным кантиком. Голову поднять страшно — лейтенант Жакипов из детской комнаты. Прятался от него Мишка, хоронился и, на тебе, попался!

— Вставай, говорят, ты что — глухой?

Все в голове перепуталось, смешалось. Поднялся он.

— Мы, дядя, из Самарканда приехали. Папе сапоги купить надо. Еще один сапог.

— Очень хорошо, мальчик. Идем со мной.

Все, тюрьма тебе, Мишка. Детская колония трудовая. Чего же ты стоишь? Беги! Стоп, а сумка!? Товару в ней на полтысячи.

— Дядя, не жмите так крепко, руку ломаете. Все равно не убегу.

Теперь бить станут, пытать. Ни слова не говорить. Адреса, главное, не выдать, иначе с обыском домой поедут. Страшно, что у них там в подвале!

— Куда вы меня ведете? Мне домой надо!

В тюрьме Мишка на бандита выучится. Отец так и говорит: лишняя профессия не камень на шее. На бандита, так на бандита. Жакипов думает, что пацаненка ведет, сморчка. Э, нет! Смерть он свою ведет. Ведь Мишка из тюрьмы как выйдет, сразу на базар придет, изрежет Жакипова на мелкие кусочки. И все мальчишки и девчонки на базаре ему только спасибо скажут. Мишка тогда уже взрослым станет. А мать умрет.

— Куда вы меня тащите? Что я, спекулянт разве?

Мать этого не вынесет, умрет мать. Отец станет нищим. Он так и говорил: без тебя, сынок, ноги бы я протянул. Ты нам одно спасение.

«Будь проклята ты, Кольма,
Что названа чудной планетой,
Машины не ходят туда-а-а,
Бредут, спотыкаясь, олени...»

Так будет петь на базаре нищий отец. Шапка перед ним, штаны подвернуты, чтоб видели все его шрамы и ожоги. И Сонечка сидит на руках. Мишка подойдет к отцу: здравствуй, пап, убил я собаку Жакипова. Отомстил за себя, за мать, за жизнь нашу...

Ведет его лейтенант Жакипов, не торопясь, через весь базар, люди расступаются, вслед смотрят. Жакипов усами шевелит, лужи стороной обходит, сапоги хромовые бережет. Приходят они на скотный двор, в караван-сарай. Заходят в детскую комнату. Ни разу тут не был Мишка, оглядывается. Комната чистая, уютная даже. На полу кубики цветные, игрушки, медвежата. За столом тетя сидит, в журнал пишет. Синий берет на ней и форма с двумя звездочками. Тоже лейтенант, значит. Лицо доброе, как у директора школы. Над ней плакат на стене: «Спасибо партии за наше счастливое детство!» Совсем как в школе, и вспомнил он школу, расстроился, захныкал, глаза кулаками стал тереть.

Жакипов подошел к тете, показал ей сумку. Вместе они сапоги пересчитали, пошептались о чем-то. Кивнула тетя и обратилась к Мишке:

— Меня, мальчик, зовут Люба Степановна. А тебя как?

Пытают уже. Сначала говорят добрым таким голосом, а потом бьют.

— Ко-о-ля, — заплакал Мишка.

— Не плачь, Коленька. Сейчас кончим с Милочкой, потом с тобой побеседуем.

Увидел в углу Мишка девочку с бантиком красным в волосах.

— А платки мама с фабрики приносит или сама шьет?

— Сама, — сказала Милочка. — У нас дома машина швейная.

Раскололась, понял Мишка. Новенькая, видать. Ни разу не встречал ее на базаре. Да, посиди она с Милочкой пару раз, он натаскал бы ее, как вести себя на допросах. Что же, в тюрьме уже обучать придется. На бандитку выучится. Он Жакипова придет убивать, а она — Любу Степановну.

Тут приоткрылась чуточку дверь, увидел Мишка маклера Акбар-ака: полбороды и один глаз. Подмигнул глаз Мишке и исчез. Потом показалась рука и пальцем поманила кого-то. Лейтенант Жакипов вышел.

— А папа ваш где работает, Милочка?

— Нет у нас папки, не помню его. — И Милочка совсем разрыдалась, а Люба Степановна стала писать в журнал и утешать.

— Девочка ты вон какая большая. Не надо плакать. В каком классе ты учишься, в какой школе?

И Мишку про школу спросят, конечно. Про школу он все расскажет. Пусть знают, как учился Мишка, какой отличник был. Уроки ночами делал, к красивой жизни шел. Пусть стыдно им станет, что загубили правильного человека, пусть сообщат директору, учителям и этим маменькиным сыночкам. Эх-ма, что говорить, все пропало!

В комнату снова вошел Жакипов, стал шептаться с Любой Степановной. Потом взял Мишку и сумку его и вывел на скотный двор. Там стоял Акбар-ака. Жакипов передал ему сумку, передал Мишку и ушел. Тут же подлетел отец.

— Ну что? Жакипов что говорит? Сколько?

— Иди домой, — улыбнулся Акбар-ака. — Потом рассчитаешься, хватит вам на сегодня.

Отец прижал к себе Мишку, и пошли они через весь базар к трамваю.

— Мечтаешь, ворон ловишь. Я-то думал с серьезным человеком дело имею.

— А ты не ругай меня, — отвечал со слезами в голосе Мишка. — Посади лучше возле столовой. Там народу много, неприметней.

— Хорошо, подумаю, — гладил его отец по голове. — Домой поехали, плохая торговля была, скажем матери.

Даже матери не расскажешь, чтоб пожалела. Врать надо.

ПИСЬМО

Каждый вечер инженер Наум Шац запирает окно тяжелыми ставнями — ни свет, ни звук не должны просочиться. Двери запирает на замок. Соседи по квартире свои, слава Богу, маланцы, но их надо опасаться — не мучаются они тягостными снами о Иерусалиме.

Достает новенький японский транзистор, подключает к нему наружную антенну.

Щелк зеркальным колесиком, и вот он уже в стихии эфира. Вой, скрип, скрежет. Пискнули шесть сигналов, марш позывной грянул. Ах, этот марш! Все в нем — печаль и радость, и победная песня. Говорили Науму, будто родился марш этот на свадьбе, будто пели его солдаты наши, сажая в пустыне первую пальму.

В счастливые эти минуты одного лишь человека не боится инженер Шац — деда своего. Он уж точно не донесет. Донести могут только живые.

«Во поле березонька стояла,
Да во поле кудрявая стояла...»

Будь у него транзистор попроще, удушили бы, гады, голос родины, забренькала бы его дурацкая бала-лайка. Глаза у Наума закрыты от напряжения и сосредоточенности. Головой готов залезть он в транзистор.

Березонька, березонька! — белый свет в детской памяти. Помнит Наум, как было ему годика четыре, бежали они всей семьей от немца. А дед уперся и ни в какую. Страшно настырный был: «Даст Бог, уцелею, дети!» Рассказывали потом соседи, будто видели старика в колоннах, что гнал немец к Заячьей балке...

Про деда Науму известно. А что же родители? Из всей семьи вернулся в дождливый город, в квартиру со стрельчатыми окнами один лишь Наум. Помнит он состав с теплушками, ржаное поле нескошенное. «Мессершмиты» с черными когтями бомбили их. Помнит, орал кто-то истошно: «Даша, Клава, детей несите к дороге! Тащите же их, потом разберемся! Чей мальчик

рыженый? Чей, чья, чьи? Убитых, раненых — потом, детей спасайте!»

Папа, мама, живы ли вы? Кто стоит за бумагой с сургучными печатями и красной ленточкой поперек? Ждете ли сына в горах Иудейских? А может, просто добрые люди откликнулись вызовом на письмо мое? А вы так и погибли безымянными в тот полдень у березки, во ржи нескошенной.

Слушает Наум последние известия, чувствует присутствие деда. И рад за старика. Счастлив дед, должно быть, что слышит голос Иерусалима. Сидят рядышком оба, каждое слово ловят.

Можно еще сходить к деду в местный музей краеведческий. Под стеклом лежат там миски алюминиевые, игрушки детские, фотография Заячьей балки, снятая почему-то весной в половодье. И много брикетиков оранжевого мыла со стершимся клеймом, как на старых монетах. Там же и костомолка стоит со шнеком спиральным. И желание берет тебя гнусное — руки помылить, ноги, посмотреть, как же оно пену дает, мыло человеческое?.. Обалдеть можно — собственным дедом намылиться!

Ловит он голос родины, размышляет о мертвых. Всем им дает место у транзистора, не боится доноса, доверяет. И думает Наум о той тьме-тьмущей народа нашего, что так и не дождался услышать голос возрожденной родины.

Эх, дайте Науму автобус, чтоб мог он врываться на нем в любую эпоху, в любое столетие!..

Вот скачет на бедное местечко казачья банда Ивана Готы. Сам атаман с косичкой на огнедышащем жеребце. Земля гудит под казаками, ковыль стелется. «Уля-ля, хлопцы, всякого пополам, руби пархатую гниду!» Объяты пламенем мазанки, народ бежит по пыльной дороге, прикрывая руками обреченные головы. Все! Конец, не спастись. Свистят и играют казачьи сабли «Шма, Израэль!..» Тут как раз навстречу и выкатывает автобус Наума. Резко тормозит он, берет автомат марки «узи» — шестьсот выстрелов в минуту — и дает длинную очередь. И летит вся эта сволочь кувырком через уши своих жеребцов — да в ковыль. И сажает потом Наум в автобус насмерть перепуганное местечко, и привозит всех в сегодняшнюю Нетанию, скажем. В гостиницу на берегу моря. Первый день они купаться будут, на пляже загорать. Бульончик цыпля-

чий к обеду, рыбка фаршированная. И повезет их Наум дальше, в экскурсию по стране... И где угодно остановится. Пусть выходят, руками пощупают: вот она, страна наша! Ради этого стоило терпеть! И работал бы Наум на своем удивительном автобусе хоть тысячу лет, не надоело бы. Да, но как быть, если спросят люди: а сам ты, приятель, где проживаешь. В Хайфе? Или в Иерусалиме? Или кибуцник ты? И что им Наум ответит? Что живет он в дождливом городе, погибая от отчаяния. А все это бред, галлюцинации. И чувствует порой обольстительный соблазн самоубийства. Как оглянется вокруг — ставни глухие, дверь на замке. Призрак собственного деда готов подозревать... Но нет, убить себя глупо. До родины осталось рукой подать. Умереть на пороге родины!? Немного терпения — и станут пускать, никуда не денутся. Подарки еще в дорогу давать станут, на руках до границы понесут.

«Вы слушаете радиовещательную станцию Израиля из Иерусалима. В заключение нашей передачи следующее сообщение...»

Ни черта не слышно! Всем ухом прилип Наум к своему «японцу».

«На днях получено письмо от группы евреев, проживающих... они обращаются к правительству с просьбой... выехать... говорится, что вот уже в течение ряда лет... безуспешно... свое желание выехать эта группа объясняет исключительно... родине предков, с которой их связывают исторические корни... пишут, что неоднократно обращались во всевозможные инстанции, но каждый раз... они просят ходатайствовать за них... пишут, что материально обеспечены... ни в чем не... однако...» Затем следуют подписи.

Пискнули шесть сигналов и грянул марш. Подбросило Наума со стула, взволнованно принялся он бегать по комнате, заламывая руки и восклицая:

— Ну вот, а я что говорил? Существуют же примемы борьбы! Надо писать, протестовать, завалить их письмами, сотни, тысячи писем, нет, всех не перевешают, не пересажают, не те уже времена, весь мир за нас заступится. Ай, молодцы, ай, смельчаки, первые ласточки, буревестники, как же письмо переправить им удалось, невысказано, невероятно...

Через несколько стен, во втором подъезде, живет Симон Шомпол. Приличная квартира — две комнаты,

мебель импортная, ковры на полу и на стенах — истосковалось живое сердце по домашнему уюту за годы заключения в лагерях вечной мерзлоты.

Живет Симон общей судьбой со своим народом, чувствует великий час. Исходом на родину заняты его мысли. Видит он море штормовое, сплошь усеянное головами погибающих людей. Плынут они все вразброд, кто куда. И не знают даже, где он, берег спасительный. Грозят людям хищники с неба. Снизу их цапают прожорливые акулы. Один лишь Симон знает, в какой стороне суша твердая, куда всем направиться. Но не может крикнуть, чтоб его услышали...

Последнее сообщение из Иерусалима взволновало семью Шомпол. Точно маяк вспыхнул Симону со спасительного берега. Не стал он размышлять много и предаваться огню эмоций. Сел за стол и тоже взялся писать письмо.

— Я буду тебе помогать, — сказала жена.

— Хорошо, — ответил Симон. — Сначала сам попробую.

— Сообщай одни факты. Излагай юридическим языком. Слышал, как эти грузины сделали?

«После войны вместе с родителями вернулись мы из эвакуации...» — написал Симон. И новые слова затеснились в голове, стали рваться на бумагу, как на свободу. Ах, до чего легко говорить о себе правду! Это вам не личный листок в отдел кадров, где надо лгать и изворачиваться.

— Слышишь, Танечка, я прямо с нашего дела начну!

— Совершенно правильно! И про эти доклады гнусные в Цилечкиной школе не забудь.

«Учились в восьмом классе, всем нам казалось, что после такой войны, после такой катастрофы, случившейся с нашим народом, кончатся издевательства над нами. Но поняли, что ошиблись. Совсем подростки, мы взялись писать протест».

Тут Симон задержался, почесал голову карандашом. Кому именно решили писать протест? Хорошенькое дело — писать вздумали! Сопляки несчастные, хоть бы дома с кем посоветовались!

«...И подписаться под ним всем одиннадцати ученикам нашей национальности. Тогда нас арестовали. Среди арестованных была и моя жена, Шомпол Татьяна Рувимовна, девичья фамилия Бориславская. Про-

цесс был закрытый. Присутствовать разрешили только родителям. Мы были осуждены на большие сроки и отправлены в различные места заключения. Меня сослали в Магаданский край. И там мне стало известно, что мои родители отреклись от меня. И другие тоже. Их вынудили поступить так».

— Таня, Танечка, — крикнул он. — Они что, прокляли нас тогда? Не помнишь?

Жена не ответила. О чем это он?

— Ну родители наши, когда загремели мы? Кто мне написал об этом, ты же сама, кажется?

— Можно газеты поднять. Думаю, сохранились в библиотечных подшивках статьи об этом.

«Мать с горя попала в психолечебницу, где вскоре скончалась. Через месяц скончался отец. Из переписки со своей женой я узнал, что ее родители тоже умерли. После смерти Сталина нас выпустили, реабилитировали. Отсидели мы шесть лет. И вот, полагая, что теперь уже никто и ничто не напомнит нам о трагедии, случившейся с нами в юные годы, мы и сами старались забыть об этом. В прошлом году всей семьей решили съездить в Польшу по туристической путевке, но получили отказ. Дескать, когда-то были судимы! Мы удивились и растерялись. Как тысячи людей, невинно осужденных, мы были выпущены досрочно, перед нами извинились, сняли судимость. Теперь же оказалось, что наше прошлое следует по нашим лядам. Что же означала реабилитация? Блеф! Но это не все. Подрастает дочь, ей тоже придется заполнять анкеты. Что ей писать в графе: были ли судимы ваши родители? И ясно теперь одно — жить нормальной жизнью, воспитывать своего ребенка в...»

Письмо подходило к концу. Все ли изложено так, чтобы мир узнал их беду и пришел им на помощь? И чуть не забыл. Симон пошел в другую комнату. Дочь с недетской серьезностью готовила доклад, списывая фразы из партийных газет. Он погладил ее по косичкам, заглянул в тетрадь.

«...возмущаемся происками сил агрессии и империализма, шлем проклятие коварной военщине сионизма, сеющей смерть и разрушения на головы наших арабских братьев».

Симон вернулся к себе, и полетели у него заключительные строки.

«Ходит ребенок в школу, и что же заставляют там

делать наших детей? По очереди готовить доклады и проклинать родину предков. Разводят костер и бросают в огонь большие картонные маген-давиды, которые они же дома изготовили по приказу учителей».

Симон, в передней уже, надевает плащ и ботинки...

Да, верно сказано о нем в папке секретной, что хранится в сером доме этого города. «Я уже ничего не боюсь, — любит он восклицать. — Пусть те боятся, кто похлебки лагерной не вкусил». Снят Симон там в анфас, профиль, полуоборот. Фотографии старые, лагерные.

К Науму, к соседу! К этому трусу и мистификатору, к этому умнице! До сих пор Симон страшно завидовал его бумаге с сургучными печатями и красной ленточкой поперек. Но скоро, очень скоро прозвучит и его письмо в эфире, и, как знать, может, придет ему вызов из канцелярии самого президента!

— Сема, Сема! — крикнула жена. — Поужинай хотя бы!

— Нет, приемник я не включал, давно не включал. Забыл, когда и слушал, — ответил Наум Шац. — Я чай пью, как видишь.

От этих слов Симон кисло поморщился, как морщатся от явной лжи.

— Слушать их тошно, — продолжал сосед. — Они нам беду готовят, братья наши с Иудейских гор... Так что же говорили сегодня? Ну-ну, послушаем!

— Наум, не прикидывайся, у меня к тебе серьезное дело.

Инженер Шац сделал неопределенный жест руками. И погрузил твердый взгляд в Симона, пусть знает, пройдоха, Наум давно раскусил в нем платного осведомителя.

До сих пор Наум не замечал за собой слезки. Слежка за ним ничего не даст. Он дома обычно сидит. Работа, квартира. Сидит, теории составляет — отрада и утешение. Они знают, какой Наум подозрительный. Его голыми руками не возьмешь. Таких иным способом потрошат. О, недаром живет душа в человеке, ее только слушать надо уметь, она обо всем расскажет. Душе одной ведомы все опасности. Томится она у Наума, что-то гнетет ее. Будто сказать хочет: много врагов у тебя, Наум, они погубить тебя взялись. Будь начеку,

не доверяйся... Зачем им ставить человека в подъезде? Они проще сделали. Вошли в квартиру в его отсутствие, вмонтировали магнитофон. Малюсенький такой. В шкафу или в стене. Томимый страхом, Наум начинает порой тщательно исследовать свое жилище. Простукивает стены, сундук, шкаф. И не находит ничего. А микрофоном может быть тут головка гвоздя или проволочка на батарее отопления. Что говорить, микрофончик вмонтировали отлично!... Ну, а сосед Симон Шомпол? Может, и вправду сидели они с Татьяной, но отпустили-то их досрочно! А кого отпускают — Науму не говорите. Только агентов, тех, что сломались и согласны сотрудничать. Вот и подселили Симона по соседству, чтоб вламывался он среди ночи, как сейчас, провоцируя на конфликты с властями. Э, нет! С тех пор, как Наум подал документы на выезд, он драки на улице стороной обходит, скандала в очереди остерегается. Ему беречь себя нужно.

— Вот и я решил письмо написать, — говорит Симон. — Давай, Наум, два письма отошлем, твое и мое. Тебя ведь тоже, черт знает, маринуют. Тебе есть на что жаловаться.

— Не могло быть такого письма из Грузии, — отвечает в микрофон Наум Шац. — Чистейшая фабрикация. Они его сами там сочинили в горах Иудейских. Я на такую наживку не клюну... Хотел бы я знать, а как ты его переслать собираешься? Почтovyми, хи-хи, голубьями? Ха-ха-ха...

— Зачем голубьями? И не почтой обычной, почту они вскрывают. Приеду в столицу в посольство. Или корреспонденту иностранному.

— Сцапают тебя в столице, Симончик. Снова в Магаданские санатории сошлют.

— Магадан, так Магадан! Я и оттуда бомбить письмами весь мир стану. Хватит со страху помирать, кончились времена те. Есть кому за нас заступиться.

Наум ужаснулся вдруг. Он забыл микрофон! Он даже увидел, как глазок микрофона стал наливаться кровью и яростью. Наум прокашлялся и начал с хорошей дикцией.

— Ты в двух вершках от своего носа не видишь беды. Неужели ты этой ямы не видишь? Подумай только, куда они нас толкают, науськивая писать подобные письма? Вот вопим мы: отпусти да отпусти! Не нужны нам квартиры ваши, зарплата, должности.

В трусах, мол, уйдем, отпустите только! И кажется нам отсюда, что согласны мы жить в палатках, в пустыне, в лишениях. Но я готов пари с тобой заключить, что ты же первый по прибытии на землю предков станешь воду мутить и палки в колеса совать. Увидишь, как другие ходят в театр, в рестораны, ездят за границу, — плюнешь на свой идеализм, захочешь простой уравниловки. Лишь бы не грызла черная зависть. О, уж мы-то себя знаем, что мы за народ, ради благополучия своего все на пути растопчем. А они нас под нож гонят, чтоб всех тут пересажали. А когда вышвырнут отсюда, мы там любой подачке рады будем. Мы им нужны раздавленные, пришибленные.

— Чуть порешь! — воскликнул Симон. — Возьми нас, к примеру, шесть лет отбарабанили — и что, Сибирь нас сломила? Там-то по-настоящему все поняли.

— Шесть — ерунда! Вы бы пятнадцать позагорали, тогда бы я на вас хотел поглядеть. Да и спрашивать с вас нечего, вы тогда пацанами были. А сажать будут. За шорох, за взгляд, за слово. И лепить не меньше пятнадцати.

Дикцией своей и изложением мыслей Наум остался доволен. Он увидел даже, как речь его легла на пленку, и через час ее прослушают. И самый главный, от которого все зависит, поднимется, обведет присутствующих взглядом и скажет: ну, товарищи, вот мы и проникли в образ мыслей этого человека. Как видите, он нам не враг. Несчастный он человек. Прекрасно понимает, что там ему в тысячу раз хуже будет. Ему бы только с родителями соединиться. Как же решим с Шацем? Отпустим? Я — за...

— Не может быть, чтоб ловушка была, — говорит Симон. — Это бред какой-то, теории твои. Нам крови своей верить надо!

—О, Симон, не витай в облаках! Почему мы не ценим, что нас вообще не гонят отсюда? Убирайтесь-де к чертовой матери, пархатая свора. Выделил мир вам страну наконец, вот и езжайте к себе, нечего наш хлеб есть! Ишь, вообразили о себе, будто страшно умные, будто обойтись без них не можем. Симон, мы благодарны должны быть, что власти этой страны так милосердны к нам. Ведь если хлынут в Израиль сотни тысяч, там катастрофа будет! А все продолжаем талдычить: отпусти, отпусти! Выведем их из терпения, и в Сибири все окочуримся!

Наум был в восторге. Вот как можно коварство врагов обратить в свою пользу! Да, быть начеку — вернейшее дело. Быть подозрительным — значит обладать изощренным умом.

А если в квартире микрофона нет? И Наум обиделся даже, что мог упустить блестящую возможность перехитрить своих тюремщиков. Микрофон обязательно должен быть!

— Надеюсь, Наум, что весь разговор наш останется тайной!

Симон с огорчением убедился, что сосед его наглухо спрятан в броню своей трусости. А вызволить его оттуда нет ни малейшей возможности. Да, подумал он многозначительно. Исход нашего времени — это не Исход египетский, когда был у народа вождь, за все отвечающий и всемогущий. Сегодня каждый сам себе вождь, сам себе Моисей. У каждого своя дорога к спасению. Как можешь, так и спасайся.

— Когда письмо мое попадет в Иерусалим, мне уже ничего страшно не будет, — сказал Симон. — Пусть оно даст силы хотя бы другим сомневающимся.

«Это я, стало быть, трус, я сомневающийся? — вскипел в душе своей Наум Шац. — Я, который вышел один против дракона? Давай, давай, Симончик, выходи и ты, попробуй. Посмотрим, что ты за боец отважный!».

— Одну услугу, Наум, ты все же окажи мне. В столице с гостиницей трудно будет, наверняка не достать. А я пока разнюхаю что к чему — неделя пройти может. Как там, «попки» стоят у посольства? Как в дверь проскочить? Не валяться же мне на вокзальной скамье. Ты дай мне адрес своего приятеля, записочку. Так, мол, и так, пусть человек у тебя переночует. А я обещаю вам осторожным быть, не подвести вас под монастырь, как говорится...

Недели три после этого Наум Шац мучительно поедал себя: в каком разговоре он мог проболтаться Симону о существовании в столице своего приятеля? Скорее всего — не говорил никогда. Это сам Симон выдал попросту обширную осведомленность органов, где он служит верным псом на штатной должности. Там, где пишут сценарии для подобных провокаторов.

Вскоре, однако, иерусалимский диктор сообщил миру содержание Симонова письма.

Тут охватила Наума гордость. Он был первым читателем знаменитого сообщения. В черновом еще варианте письмо это лежало на его столе... Теперь ясно, что Симон свой.

Но сразу точно ледяной сквозняк вошел ему в душу. И сковал его ужас. Диктор произнес фамилию соседа, номер дома и номер квартиры! Искать Симона теперь не надо. Сегодня же ночью приедут за ним и скрутят. Быть может, они уже едут брать его? Станут пытаться — и выдаст Симон сообщников. Станут потрошить — и он скажет, кто был первым читателем, кто дал адрес в столице...

Ах, был бы тогда микрофон в квартире! Они бы и доехать ему не дали до столицы или схватили бы с личным у самой посольской двери.

Что же делать? Что делать? Может, не теряя ни секунды, бежать с повинной. Что-нибудь скинут за это! Нет, поздно!

Зачем, зачем не сел он тогда тоже писать письмо? Вот пойдет он сейчас в Сибирь, и никто никогда не узнает о бедном инженере из дождливого города. Никто за него не заступится, словечка нигде не замолвит. Так и сгинет Наум Шац в лютых снегах, будто и не жил на свете белом.

ПРОКАЗА

На рассвете мои спутники уезжали в лепрозорий, а я отправлялся в город «торговать вождями».

Их было четверо — служителей библейской болезни: профессор Абдиров, кандидат наук Вдовина, завлепрозория на мысе Тигровый хвост Жутиков и бывший главврач колонии Крантау — Пинхасов.

Я сказал им, что буду ждать их в гостинице после обеда.

Они отнеслись ко мне с добром и пониманием и пришли в назначенный час. Жесткие и мстительные, они увлекли меня за собой, и два дня я был участником безумной попойки. Врачи мстили себе за окающую работу, за вечную агонию страха, за обреченность.

Началось у нас это вчера. Мы вылетали из Нукуса первым утренним рейсом. Сверху я любовался гигантской дельтой Аму-Дарьи. Великая Аму шла к морю десятками причудливых рукавов. Веер ее рукавов был весь в камышовых тугаях и болотах и походил на джунгли, а в зеленых квадратах вокруг кишлаков был засеян рис. Близость этого таинства, слияния живых рукавов дельты с голубым заркалом Аральского моря, странным образом взволновала меня.

Вскоре наш «кукурузник» шлепнулся на песок. Колеса увязали в глубокий бархан по самую ступицу, поэтому мы пробежали самую малость. Встречал нас Жутиков. Он подкатил свою полуторку к самому самолету. Вдовина села в кабину, а мы, мужики, пошли стоять на платформе.

Утро выдалось холодное. Вчера над Муйнаком пронеслась буря, поселок выглядел мокрым и побитым и был занесен песком. Деревья, точно в молитве, стояли пригнутые к морю.

Жутиков привез нас в бревенчатую гостиницу. Места были заранее заказаны. Жутиков сделал это еще вчера, когда получил от профессора телеграмму. Три номера заказал Жутиков, и все три — люкс, в каждом стояли телефон и транзисторный приемник. Тут у нас

вышла заминка: профессор забыл сообщить, что в составе комиссии будет четвертый. Что этот четвертый вовсе не врач, а так себе — уполномоченный худфонда. Номера для меня не оказалось, но я не обиделся на профессора. Хозяйка гостиницы Надежда Ивановна принесла раскладушку. Мы внесли ее в номер Пинхасова и все решилось.

Профессор сразу стал торопить нас. Они спешили на Тигровый хвост обследовать новую партию больных, что собрал Жутиков из окрестностей дельты.

Тут я услышал в себе голос благоразумия.

— Сегодня пятница, — начал я, — последний день на неделе. Скоро кончается моя командировка, а я не имею заказов ни на рубль. Я должен положить на стол моему директору договоры на двадцать четыре тысячи, таков у меня план. Дважды я возвращался в Ташкент пустым, на сей раз меня уволят из комбината.

— А сколько вы заработаете на наших плакатах? — спросил профессор.

— Сущую чепуху — рублей восемьсот.

Не знал профессор, в чем заключалась моя беда. Я тратил командировки на удовлетворение своей сомнительной страсти. Я ездил в пустыню Каракумы и проникал в лагеря заключенных, что живут под землей, в урановых рудниках. Я ездил в Тяньшаньские горы с направлением худфонда, а лазил по секретным фабрикам, где намыывают золото. И на сей раз я взял командировку в министерстве здравоохранения Кара-Калпакии под предлогом выполнить плакаты о лепре, набрать материала для наших художников, а на самом деле — проникнуть в обе колонии, так тщательно охраняемые от внешнего мира.

— Тебе Жутиков даст дополнительный заказ на живопись? — взялся спасти меня профессор.

— Э, нет, — отмахнулся Жутиков. — Вы же семь шкур за свою мазню дерете! На эти деньги я лучше капремонт в своей санатории сделаю.

— Верно, — согласился я, — деревом дорого!

— Послушай! — осенило его. — Вы случаем полы, потолки и стены не красите?

— Нет. Мы пишем портреты, пейзажи, натюрморты.

— Ясно, — сказал профессор. — Если управишься к обеду, жди нас в гостинице. Сегодня последний день на неделе, побегай по предприятиям, в исполком зайди...

Благоразумие бросилось мне в ноги, благоразумие сделало меня резвым и наглым. К обеду я был уже в гостинице, и в синей, ненавистой папке, между фотографиями вождей лежало несколько заказов на семь с половиною тысяч.

Это была жалкая жатва. Аральское море отступало от рыбацкого городка, Муйнак беднел год от году. В отчаянии исполком не взялся украсить центральную площадь дорогим памятником Ленину. Исполком вообще от всего отказался, что было в моем ассортименте, — мрамор, камень, цемент. Однако в запасе у меня было несколько верных приемов, и кое-кого я все-таки вынудил раскошелиться.

Я не пошел к начальнику морского порта, не пошел и к директору рыбозавода. Я отыскал парторгов. С парторгами мне было, о чем говорить.

Одного из них я убедил развесить в своем кабинете все двадцать четыре портрета членов ЦК, писанных маслом, а возле арки главных ворот воздвигнуть бюст Ленина. Другому я всучил памятник рыбакам, павшим в гражданской войне, в боях с басмачами. Сооружение подобных памятников только входило в моду. Парторгам спустили на это особое указание сверху.

Итак, я сидел в гостинице и ненавидел себя. Благоразумие все еще било и kloкотало во мне, но в Муйнаке больше не было парторгов со сметой.

Солнце просушило пески на дороге, выпрямило деревья.

Надежда Ивановна принесла мне чай и кусок соленого усаха. Следы вчерашней бури остались в пыльном воображении хозяйки гостиницы. Мы говорили о буре, мы говорили о лепре. Надежда Ивановна поразила меня статистикой лепры в дельте великой Аму. Каждый седьмой каракалпак здесь лечится, или стоит на учете. В этом году не обошла лепра даже Мамедову, депутата Верховного Совета, и та живет сейчас в страшной колонии Крантау, и стерегут Мамедову «попки» на вышках с пулеметами, и тает у женщины кость на руке, и кисти ползут к подмышкам. А сколько добра она сделала людям своими руками?

Еще говорили мы с Пинхасове. Был он недавно лучшим врачом в Крантау и делал там чудеса — здоровыми возвращались домой люди. Будто вычитал Пинхасов из Библии место одно, где вроде бы указан рецепт от проказы. Нашел в природе растения, разга-

дал тайные травы. Но им, в министерстве, происхождение его не подходит.

Вскоре на деревянном крыльце гостиницы раздались топот и громкие восклицания. Мои спутники уже были под газом. В авоське у Жутикова с жидким звоном играли бутылки с водкой.

И тогда, увязая в зыбучем песке, сверкавшем рыбьей чешуей, мы перешли дорогу и начали пить. Расписной соломенный дом Жутикова стоял как раз напротив гостиницы. Во дворе под развесистым карагачем был накрыт воинстину царский стол.

Кандидат наук Вдовина дула водку наравне с мужиками. Кандидат Вдовина, в совершенстве владевшая древним языком фарси, английским и также местным языком народа «черная шапка» — каракалпаков, мстила себе за две странные язвочки, проступившие у нее на щеке с тех пор, как она стала брать у больных анализы для докторской диссертации.

Мстил себе и свирепый, толстенький Жутиков. В прошлом году проступила у него на затылке белая, непонятная сыпь, не поддающаяся никакому лечению. Мстил он своей судьбе за обреченную на сиротство семью, за младенцев Любу и Сонечку, за жену — татарку Галю.

Пил стаканами водку и делался мрачен известный профессор Абдиров, родной брат которого живет сейчас за колючей проволокой, в третьем, самом поганом, дворе колонии Крантау. Вчера я собственными глазами видел его брата. Он был без ресниц и бровей, вместо носа торчит у него безобразная пипка. А белая перхоть, точно белый снег, легко осыпается с его кожи. Он говорил мне, что он шахматист, играет сильнее всех обитателей обеих колоний. Он показал мне кибитку, где живет с прокаженной женщиной, и тихо радовался, что позабыл родительский дом в Самарканде, детей и жену. Он спрашивал меня, не знаком ли я с его братом Чаржоу, что назначен недавно ведать всей лепрой в дельте Аму, и скоро ли выберет время Чаржоу, чтоб навестить своего брата.

— Ваш брат очень занят, — солгал я. — Занят по горло наукой, он непременно выберет время навестить вас.

Но я уже знал, что профессор никогда и ни при каких обстоятельствах не придет в Крантау утешить брата. Что он сторонник наследственной теории, и ужас

его перед проказой неописуем. Я понял это вчера же, когда профессор выписывал мне пропуск.

— А заразиться ты не боишься?

Неделю меня спрашивали так в министерстве, поэтому машинально уже я ответил профессору «нет!». Но по молнии, сверкнувшей между нами, по закаменевшему лицу его я понял, что он прячет в недрах души.

Рядом со мной, за этим щедрым столом, сидел заведующий районным здравоохранением Юлчи Эргашев, бывший ученик профессора на кафедре мединститута. Он пил наравне с нами, но был молчалив, терпеливо дожидаясь, когда иссякнет Жутиковская водка. Юлчи оказывал профессору все знаки восточного внимания и почтения, держа подле себя белый домашний телефон Жутикова. Юлчи был сейчас на работе, и время от времени отдавал в трубку глухие и негромкие указания на своем языке.

К закату водка иссякла. Тогда Юлчи поднял всех и повел к себе.

Жил он возле дамбы, в каменном двухэтажном доме под черепичной крышей. Нас молча приветствовала его жена — молодая, забитая узбечка. Бросила каждому по плюшевой подушке и усадила кольцом на войлочной кошке.

Вначале Юлчи пустил по кругу чайник крепкого зеленого чая, чтоб вышибить из нас память о Жутиковской водке. Чай этот шел без сладостей и закуски, и сразу было ясно, что мы оказались в руках у большого мастера. Потом появился увесистый золотой усач, истекавший жиром. Потом осетровая икра в большом эмалированном тазу для домашних стирок. Потом водка — пять бутылок.

Мозги мои, между прочим, давно уже плавали в водах чистейшего спирта, и тошнотворный туман держался на этих водах.

В полночь послышался грохот телефона. Юлчи Эргашев лежал головой на профессорских коленях, и тот гладил бывшего ученика по бритой его голове, тупо уставясь в цветной ковер на стене. Юлчи дополз до трубки на четвереньках, взял ее твердой рукой и сурово выслушал. С каждым мгновением на лице его усиливалась досада.

— Домля, — сказал он профессору, — срочный вызов, в соседнем поселке рожает женщина.

— Это уже на всю ночь, — расстроился тот.

— Ни в коем случае, домля! Приму ребенка и сразу вернусь, там последние схватки. Прошу никому не расходиться. Жена только что села месить беш-бармак, в холодильнике целый ягненок мяса. Водки еще пять бутылок.

Он кинулся к холодильнику и распахнул его. Там действительно стыли эти бутылки.

Мы вышли на дамбу, на чистый, соленый воздух. Я привел Вдовину к тихо плескавшемуся морю, посадил в лодку и стал грести.

— Теперь ты наш, — сказала она. — Твое любопытство повесило тебя на крючок.

— Знаю, — ответил я. — А где я смог его проглотить? Когда я втаскивал этих несчастных к вам на прием?

— Нет! Помнишь, мы сидели вчера у микроскопа, я показывала тебе палочки Хансена? А ты и сам не заметил, как оторвал от газеты клочек бумаги, скатал его и бросил в рот пожевать. Я понимаю, это было чисто нервное. А я не сказала тебе, что именно на эту газету они руки кладут, когда я срезаю у них кожу с самых активных участков.

— И сколько длится инкубационный период, Наталья Андреевна?

— Когда — год, когда — десять, а то и тридцать. Скоро мы все туда пойдем, — сказала она, и посмотрела на небо, где белым, молочным сиянием лежала Моисеева дорога. И я смотрел тоже на звезды, на звезды поближе — на портовые огни. Они мне казались уютней.

— И Пинхасова сожрали, — плакала женщина. — Конец науки в Кара-Калпакии, никогда они от лепры уже не избавятся. Откуда им знать, что народ Пинхасова знаком с лепрой на три тысячи лет раньше Абдирова. Вот и сидит Мамедова в третьем дворе и скребет на себе струпья черепками, посреди колючек, на желтой пыли. Мы тоже так будем сидеть, и тоже будем скребаться, и чуда с нами не произойдет, как в Библии с Иовом, не дадут зелья из древних рецептов. У Пинхасова обыск сделали и все травы конфисковали. Его судить еще будут.

Страхи Вдовиной никак не шли ко мне. Я напрягал мысли пьяного мозга, пытаюсь постичь ее слезы, но мысли мои путались и терялись.

Однако страх настиг и меня, настиг на гостиничной койке.

Глубокой ночью мы оказались с Пинхасовым в одном номере. Он походил на убийцу, идол прокаженных каракалпаков, лицо его перетягивало судорогой.

Он метался по номеру, точно слепой, натькался на вещи, и рушил все на пол. Он искал жертву, и нашел ее. Чтобы не видеть его безумств, я зарылся лицом в подушку, а уши заткнул руками.

В наш номер постучалась хозяйка гостиницы Надежда Ивановна. Робя и извиняясь, села на табурет и обнажила бедро. Там была язвочка, и женщина призналась, что подозревает у себя лепру. Смеясь и повизгивая, пьяный Пинхасов обколол ей бедро иглой и утешил:

— Нет, Наденька, это не наше!

И та облегченно перекрестилась.

Пинхасов настиг ее на пороге, закинул платье на голову и погасил свет. Надежда Ивановна долго билась, сопротивляясь. Один раз я обернулся на звуки этой борьбы. Я увидел голого Пинхасова и белое, раскоряченное тело женщины. Закрыв уши, я стал слушать свое сердце. Сердце стучало в подушку и подушка звенела, как колокол.

На рассвете Надежда Ивановна сбежала. Тогда я спустил ноги с кровати и закурил.

Пинхасов лежал на полу и слушал транзистор.

ГУСИ-ГУСИ

Вот холм с разрушенным замком на самой вершине. Внизу город, сплошь заселенный пришельцами.

В замке сейчас музей и ресторан. А телебашня, что маячит на холме, считается самой высокой в этих местах. Небо в городе низкое и свинцовое, и небу этому весьма признателен инженер Наум Шац. Вечно оно в тучах, вечно хмурое. Именно такая погода и стоит всегда в душе Наума.

Теперь греха таить нечего. Было это в прошлом году. Проклял тогда Наум эту страну из конца в конец. Не дали уехать Науму. Совестно и вспомнить: точно последний шарлатан сочинял он проклятия по ночам, рассылая их в ненавистные адреса.

И вовсе неплохо, доложу я вам, что не сбылось ни одно из этих проклятий. Полмира покрыли бы язвы, спалило бы серой, а может, сквозь землю провалилось.

Чего тут говорить, странно, что были мы когда-то свободны и жили на своей родине, и память об этом так мучает нас по ночам. Не может быть, чтобы мучила она одного лишь инженера Шаца. И восклицает он по ночам: «Так где же вы, мои сомученики в этой стране, в этом городе? Как встретить вас? По каким углам прячетесь?»

— Господи, — воскликнет он вдруг, — неужели Ты народ мой любишь, что с ним одним был в заговоре против всех народов? Как же я смел не любить этот мир Твой, проклинать Твое усердие!? Все происходит исключительно умно. Ни один из нас во веки не выдумал бы нам более прекрасной судьбы! А муки наши и жертвы!.. Это ничего, пройдет.

И усмехается Наум Шац и подмигивает.

Есть у него один тайный собеседник. Все это говорит он Иерусалиму.

Не вздумайте, ради Бога, что беседует наш инженер с какой-то башней или остатками стен. Глубоко ошибаетесь. Неужели не догадались еще, что все мы

там вскоре будем, всех нас обнимут и встретят. Это тут мы поганые: собственного брата не приветствуем...

Итак, встретят нас, вместе с нами радоваться будут и плакать счастливыми слезами. И никто не будет строг с нами. Ни за что к ответу не призовут. Простят все.

И видит себя Наум Шац сидящим на табурете. Рядом, на полу, его скarb. А напротив, за столиком, сидит мужчина в голубой форме со звездочками.

Это и есть Иерусалим, тайный собеседник, с которым беседует он по ночам. Тихие это беседы, проникновенные. Так беседует каждый из нас со своей совестью. Случается, что скандалят они, но чисто по-дружески. Наум размахивает руками при этом, что-то отстаивает. А голубой человек печально мудр и терпелив.

— Тошно мне было на чужбине, — начинает Наум Шац. — Тошно было глазам моим и рукам моим, за что бы ни взялся. Тошно было ступать по земле той.

— Естественно и похвально, — одобряет Иерусалим, — враги ненавидели тебя, а ты платил им взаимностью. Это очень хорошо, что ты взрастил в себе подобную нетерпимость.

— Ты не хвали меня, ты послушай, — начинает оправдываться инженер, — ты представь себя на моем месте. Вот тридцать тебе, ты знаешь, что ты умен, что можешь замечательно работать. Ни один инженер на заводе с тобой не сравнится. И если махнуть рукой на то, что политикой зовут, то знаешь, какую карьеру сделать можно!

Так я и сделал. И вкалывал. Теперь я тут, и в моем лице, как говорится, имеется высококвалифицированного специалиста по телевизионному оборудованию. И заметить хочу, что там со мной считались очень. Там я слыл выдающимся специалистом в научной и практической деятельности.

Тут видит Наум Шац, что помрачнело лицо Иерусалима. Молчит Иерусалим, хмурит брови, морщины проступили на лбу. И чувство какой-то большой вины, неясно еще какой, заполняет вдруг выдающегося инженера из далекого дождливого города. Вдруг совестно делается Науму за чистые, как у дурака, глаза, за то, что вскоре прибудет его контейнер, в котором много дорогих вещей. И хочется выйти из этой комнаты и подохнуть в канаве.

Он и в самом деле поднимается с табурета, выходит на улицу. Каменный дом, стена каменная. И начинает Наум Шац бить себя головой об эту стенку.

И не отговаривает Наума от самоубийства голубой человек. Строгим тот остался сидеть в комнате. Кровь заливает Науму лицо, бессильный, рушится он на землю. И счастливый, оттого что похоронят его в этой земле, выпускает свой дух.

Вот снова сидит он в той комнате, и снова голубой человек напротив ждет его исповеди. Наум худ и не брит. Он попросту изголодался.

— Ах, брат мой, брат мой, — все плачет и ломает руки Наум, чувствуя, что душа его навечно затравлена и безумна. Несколько минут назад он прошелся по этой земле на коленях и ел эту землю от восторга.

— Как я тебя понимаю! — утешает его Иерусалим. — Я и сам натерпелся на чужбине, ни с чем не сравнить.

— Так о чем же тебе рассказать, — начинает Наум, — хочешь про завод, где я состоял инженером? Будь они прокляты со своими консервными банками, именуемыми телевизорами. Конечно, если бы я только чуточку захотел, я бы без особых усилий выбился в ведущие конструкторы. Только дудки! Нате, выкусьте! Что ж тогда могло получиться, а, Иерусалим? Петрушка бы получилась! Я им внедрю в производство первоклассные коробочки, оттиражируют их миллионами, и будет сидеть и глазеть в него вся их антисемитская армия со своим мурлом! И будет упиваться всей ложью и мерзостью их пропаганды о моей родине и моем народе.

И залется на своем табурете Наум тоненьким, злорадным смехом, вспоминая с удовольствием, как ловко провел за нос начальство на прошлом месте службы.

И голубой человек улыбнется тоже — куда, мол, от ловкача денешься, и поведет разговор о деле.

— Как же хватило тебе на жизнь той зарплаты? — спросит.

— Вот и суди по моему виду, — похвастает Наум. — Едва ноги не протянул.

— Ай, молодец, ай, бедняга! Ну, слава Богу, ты уже здесь... Так как же они делались, эти консервные банки? Ты прости, брат, мое невежество. Я всего лишь чиновник таможни.

— Телевизоры? — испугается Наум. — А шут их знает, позабыл начисто!

И грустным сделается чело Иерусалима при подобном ответе. Брови сдвинутся, помрачнеет.

— Жаль, очень жаль! Нам позарез нужны были специалисты по телевизорам.

И воскликнет отчаянно инженер, начисто утерявший квалификацию:

— Я, я землю копать буду! Пошлите меня в пустыню, пошлите на болота!

Таковыми беседами занят денно и ночью бедный мозг инженера Наума Шаца. Таковыми видениями.

Не подумайте, ради Бога, что он пробивает себе на заводе карьеру. Или, например, катится вниз в глазах начальства. Ничего подобного! Стать ведущим конструктором он может по обстоятельствам, от него никак не зависящим. Здесь усердием ничего не пробыешь. И вниз он не скатится. Никак не скатится!

И приходит с мыслями о Иерусалиме Наум Шац к своему дому. Высоко поднят воротник пальто. Руки стиснуты в карманах в кулаки. Холодно в августе в вечно дождливом городе со свинцовыми тучами.

Он увидит у своего дома, как играют дети, и будет у Наума ночью беседа с голубым человеком.

— Гуси-гуси!

— Га-га-га!

— Жить хотите?

— Да-да-да!

— Так летите!

— Нам нельзя! Серый волк под горой не пускает нас домой!

Налетят после такого речитатива на инженера ребяташки. Налетят, завертят, чуть с ног не собьют. Кто-то кого-то ловит. Кого-то в сторону тянут. Совершенно обалдеет от этой возни и потасовки Наум Шац. Потом выберется из свалки, прислонится к стене в своем немислимо узком переулке, похожем на ущелье. Ага! Вот она игра в чем! Сын аптекарши Шварцман рыжий Мотыка — он у них серый волк. Мотыка сильнее всех. Он изловил всех гусей и гонит их за черту. И Цию, и Хаима, и Симона. И еще, и еще кого-то. И водворил всех в другом конце переулочка. Интересная это игра, подумает Наум. В мое мальчишество в нее не играли. И станет дожидаться нового тура.

— Гуси-гуси? — зовут с одного конца переулочка.

Ясно! Это «свободные гуси» зовут к себе «гусей несвободных».

— Га-га-га! — отзываются те, что в волчьих владениях.

— Жить хотите? — снова «свободные».

— Да-да-да!

— Так летите!

И вот, очертя голову, ополоумев, бросились с новой атакой на серого волка Цилечка, и Хаим, и Симон. А волк-то, волк! Ах, подлец! В таком исключительно выгодном месте встал. Руки раздвинь — вот тебе и весь переулочек. Да кто же сквозь подобный заслон пробьется к «гусям свободным»? Может, с ног сшибут волка? Может, захлебнется, схватив одного-другого? Но нет, удивительно ловко справляется волк с гусями. Ведь переулочек этот проклятый так тесен, что двое гусей уже сами себе мешают.

В холостяцкой своей комнатенке — стол, покрытый не то скатертью, не то простыней, ветхий, скрипучий шкаф, сундук с постелью; вот и вся обстановка, — дома у себя размышляет Наум Шац об этой нехитрой детской игре...

Кстати, послушайте! Никогда не оставляйте свое жилище без внимания надолго. Вспоминайте о нем время от времени. Не обязательно менять заново мебель. Купите в дом безделушку, и тогда ваше жилище не выдаст вашу беду. Пять лет добивается выезда к родителям во враждебное государство инженер Наум Шац. Пять лет сидит на чемоданах. А поезда все нет.

...Она только с виду бесхитростна, эта игра под окном его квартиры. А если вдуматься, она как горькая притча. И вовсе не удивительно, что играют в нее Моньки, Цилечки, Хаимки. Не могли придумать ее дети ни десять, ни двадцать лет назад. Мы и есть эти гуси, размышляет Наум. А подлец серый волк полноправный хозяин в своей вотчине, в этом узком переулочке, куда приглашают нас броситься. И самое тоскливое, что никто из нас не скажет, сколько времени еще серый волк будет хозяйничать в этом гибельном ущелье? Подобреет ли волк, уберется ли к черту. Так, чтобы не стало черты-границы между теми гусями и нами?

Вот и ночь вошла в окна, мрак по углам. Выходят из этих углов красные и черные тараканы. Голодные, они топчут паркетный пол в елочку. Взби-

раются на стол, пожирают хлебную крошку, оставшуюся от скудного ужина инженера. Но всей этой буйной и голодной возни Наум уже не слышит. Он лежит на сундуке под холодным одеялом и дышит себе на грудь, согревая сердце.

Осмелев от лютого желания жить в Иерусалиме, он берет за руку голубого человека и выводит его на гулкие камни ненавистного, вечно дождливого города.

— Тебе хорошо сидеть там и вечно вопрошать меня: что ты тут делаешь? — начинает жаловаться Наум Шац. — А ты погляди, пожалуйста, что тут делаешь? О, вам представить себе трудно, что такое серый волк в переулке! На каждого из нас у него толстая папка заведена, и папка эта постоянно растет от новых фактов и доносов. Он хозяин нашего живота и наших душ. А мы — гуси, это верно. Мы даже га-га боимся сказать вам, чтобы напомнить о себе. Это вам спасибо, что трижды в день вы нас спрашиваете: жить хотите? Вся наша борьба — это лежать под одеялом с головой, как я сейчас.

— Знаю, брат, знаю, — шепчет голубой человек, и озирается пугливо в незнакомом городе. — Мы знаем о вас больше, чем вы сами о себе. И не забываем ни на миг.

Подводит Наум Шац своего голубого спутника к серому дому со стрельчатыми окнами и дергает его за рукав.

— Я понимаю, чего ты хочешь! Чтобы я завязал контакты с человеком из этого дома, которого зовут Симон Шомпол. Чтобы нашли мы бедолаг отчаявшихся и зажигали бы в них огонь надежды, огонь нетерпимости. Ты хочешь, чтобы вместе с Симоном я митинговал на площадях, устраивал бы забастовки протеста, выкрикивал лозунги в общественных местах, листовки расклеивал!? Э, нет! Не верю я человеку по имени Симон Шомпол. Сдается мне, что служит он у серого волка осведомителем или наводчиком. Нет, не страх руководит мною, а осторожность. Мне сохранить себя надо. Не могу я пуститься в безнадежные или сомнительные предприятия.

— Да, да, беречь себя всегда надо, — подтверждает спутник Наума.

— Допустим, я дам себя убедить Симону, — продолжает рассуждать инженер, — и сколотим мы с ним

группу единомышленников. Вот тут-то я вам голову дам на отсечение, что из нас троих один да обязательно будет провокатор с окладом не меньше двухсот рублей. Один раз листовки расклеим, другой раз мы письмо составим в международную организацию: спасите, мол, наши души! И все — и сцапали тебя, как котенка слепого. Вот тут и зарыта вся моя обида. Тут никто тебе не поможет. Даже вы, оттуда. И убьют тебя, точно животное. Подвал скользкий, бетонный коридор, выстрел в затылок... Или сошлют к горностаям лет на пятнадцать. А тут как раз отпускать начнут беспрепятственно. Уедут все, а я тут сгину, и тени моей не придется вам увидеть в Иерусалиме. И родители не узнают никогда, где же их сын свои кости белесть положил? И прибудет в Иерусалим всякая сволочь. Такая сволочь нахлынет, что только держись. Вот с них-то ты ответа не спросишь по милосердию своему: а что вы там делали, ребята? Не продавали ли дух ваш в переулке серому волку?

Тут станет засасывать отчаяние нашего инженера. И отпустит он от себя голубого человека. И увидит он сон, где будет желтое солнце. Грозное солнце, точно предвестник тайных страданий. Он увидит себя в странном помещении, освещаемом из окна отблесками пожара. Помещение это — глинобитный сарай, устланный камышовыми циновками. Посреди сарая сидит сереброволосый старец, поджав под себя по восточному ноги. Будто стоит к этому старцу большая очередь, и Наум Шац видит себя тоже в этой длинной человеческой змее. Очередь эта движется быстро. Люди нагибаются к самым губам старца, принимая то ли приказ, то ли совет и моментально исчезают в воздухе, теперь уже окрашенном в оранжево-красные блики. А пожарище за окном все разгорается, и нестерпимо смотреть даже в ту сторону. Станный это старец. Но Наума не занимает сейчас, зачем он стоит к нему в очереди, что скажет? И замечает Наум, что люди в очереди будто знакомы ему. Вот промелькнуло сухое, скуластое лицо человека по имени Симон Шомпол. А вот и другие знакомые, все, кто ожидает поезда и сидит на чемоданах по воле серого волка. Наконец и он перед старцем. И пальцем тот велит Науму наклониться поближе. Приближает Наум свое ухо и слышит вдруг такой шепот:

— Ты не трус?

— Нет, — вскрикивает Наум, точно раненный смертельно.

— И не сволочь?

— Нет, нет, никогда!!! — кричит раненый инженер.

— Отлично! Тогда ты спасешь их, — говорит старец, показывая пальцем в окно.

Остервеневший от жажды подвига, Наум вылетает за дверь, оставив этот странный сарай, где правит людьми проницательный старикашка. И тут он видит, что рядом с ним высочайший минарет охвачен воющим смерчем огня. И весь он, точно мухами, облеплен людьми, которые только что стояли с Наумом в очереди. Вопль о помощи заставляет Наума застыть от страха. Это кричат те, что гибнут! Пронзает вдруг мысль: надо спасти людей и минарет. Старик так и сказал: «Спаси их»!

Стало быть, горит иерусалимский минарет и его сограждане из вечно дождливого города. Миг, и вот уже Наум Шац карабкается по каменным, выщербленным ступеням. А огненный смерч вокруг гудит и воет. И говорит себе Наум, что вся эта древняя, прекрасная башня обречена уже. Он внушает себе, что и люди обречены, ибо башня охвачена пламенем снизу доверху. И тогда весь минарет вдруг наклоняется набок, и люди начинают срываться с него в бездну, вспыхивая, как спички, и сгорая. Одному Науму огонь не страшен, ему даже ни капельки не жарко. И это радует его. И он решает спастись, убраться подальше. Сильно оттолкнувшись, он далеко отлетает от пылающего минарета. Летит он плавно и спокойно, точно под парашютом. И еще в падении этом, от которого сладко замирает дух, он с удивительным равнодушием замечает, что там, далеко внизу, лежит вдребезги разбившийся минарет, раздавив под собой все живое. А из груды развалин тугими клубами начинает подниматься в небо дым и пепел. В голубое небо, где плавно качается Наум Шац.

ПРОЗРЕНИЕ

Отец и Семка стоят в тесном коридоре, потрясенные встречей. Чутким ухом ловят треск и цокот пишущей машинки.

Виден отсюда двор, где кольшется зной, волнистое марево, чахлое деревце урюка. Виден черный провал подземелья и низенький водопровод, из которого свисает струйка воды.

Под этой урючиной и водопроводом, под всем этим большим домом идут улицы и переулки — зловещие лабиринты тюрьмы. Семку только что вывели оттуда. Остались в камерах его приятели.

Оглушенный светом и знойным томительным воздухом, Семка обалдел и изнемог — он маялся в одиночке два месяца. На допросы выкликали глухими ночами, гремели ржавыми засовами, обрывая сны и пугливый покой. Вверх — вниз, вверх — вниз бесконечными лестницами из щербатого камня. Перед допросами — туалет, остальное время — одиночка и прозрение. Не били, не пытали, странное было следствие! Так и пошло вкось от общего дела, отпочковалось само по себе в нечто неопределенное для полковников и майоров, что бодрствуют глухими ночами и ждут в конце бесконечных лестниц. На нет сошло Семкино дело.

Душа отца с благодарностью и благоговением обращена сейчас к небу. Ах, сколько покаянных молитв и просьб за спасение сына излил он у склепов Галиции, Украины и Белоруссии. За веру свою получил он награду — отпускают сына его на свободу.

В Семкиных мыслях сейчас сырость его одиночки, холод ночей, стук зубов, расширенные страхом глаза. Все это уложит он в память, хорошенько осмыслит. Запомнит круглый волчок в тяжелой, стальной двери, желтый свет лампочки, доводящий до безумия. Запомнит надписи на стенах, оставленные бывшими обитателями камеры. Он тоже оставил необычный след о себе. Нацарапал кривой маген-давид и семисвечие. И написал: «Да упадет рука губителя перед тобой!» Вот это и сказал Семке на прощание великий ребе, когда с

отцом приезжали они к нему накануне ареста. Ребе был тогда в валенках и старом зипуне, повязанном веревкой. Жгучим взглядом пронзил он обреченного на арест Семку, и осталась на переносице ранка, точно след очистительной молнии. С этого, быть может, и началось прозрение. Вот кончится стук машинки в конце коридора, и Семка пойдет другой дорогой.

...Было это в марте, Семка чувствовал, что грозит ему заключение. И признался отцу, рассказал о своих делах, о приятелях по подпольному комитету с названием «Союз новых славян». У него уже подписку взяли о невыезде из города. Помнит Семка, как ехали они еще и автобусом долго. Ехали целый день мимо Днестра, закованного в синие вспухшие льды. Вышло так, что у ребе накануне их приезда сделали обыск, конфисковали свиток Торы и святые книги. Чистая случайность! И ребе не надо было долго объяснять что к чему. В двух словах отец изложил их дело, попросил помолиться за сына. И Семка уехал назад притихший и обновленный, увозя слова благословения.

Вот ступила во двор старушка. Лицо ее изрезано морщинами, в руках котомка. Волочит за собой мальчонку. Старуха приблизилась, спрашивает:

— Куда идти мне, сынки? Главного хочу видеть.

— Смотри по какому делу главного, — отвечает Семка.

— Внук у меня здесь, осведомиться хочу, можно ли передачу. Сахару, колбаски. Знаю, что кормят плохо.

— Кормят паршиво, мамаша. А за что внука-то взяли?

— И сама толком не знаю. Приехали на машине, квартиру всю перерыли. Говорят, власть советскую шибуршили.

— Ясно, мамаша. Тогда вам прямо по коридору. Видите, дверь открыта? Там как раз прокурор сейчас.

В конце коридора, где настежь распахнута дверь кабинета, строчат выписку из общего дела. Копию дадут Семке, она будет пропуском ему из этого дома. Ему и паспорт вернут, а может, и книги, изъятые при обыске.

Он вспоминает, как вел себя на допросах, обстановку следствия. Ни разу в жизни не ощущал он в себе подобной твердости духа и ясности ума. Точно два ангела сопровождали его, и Семка чувствовал их при-

сутствие. Один держал руки на нем, давая силу и уверенность, второй ангел мучил вопросы этих чинов. Поэтому протоколы и получались странными, очень странными.

Отец и Семка облокотились о деревянный барьер, разогретый солнцем. Дерево горячее, точно железо. Отец нервничает, искуривает папиросу за папиросой. Он думает, как будет теперь рассказывать соплеменникам о чуде, случившемся с его сыном. И этой историей прибавит славы великому ребе с берегов Днестра. Шутка ли сказать! — сын стал совсем другим.

Вот перестала стучать машинка, вышел сам прокурор — огромного роста узбек. Направляется к Семке, бьет примирительно по плечу, улыбается широким шоколадным лицом.

— Ну, славянин, как дела твои?

Семка сразу никнет головой, топчется, не знает, что ответить. Какие, мол, дела? Дела все у тебя, прокурор. Узбеку покорная его поза нравится, и молчание Семкино нравится. Совсем добродушной становится улыбка прокурора.

— Домой идешь, понял? Не лей помой на державу нашу — в порошок сотрем. Думаю, ты сам во всем разобрался.

— Он хорошим будет, — торопливо заверяет отец. — Даю вам честное слово! Он все понял.

— Все понял? — смеется прокурор.

Отец кивает и хихикает, начинает юродствовать.

— Совсем заткнется, товарищ начальник! Как рыба молчать будет. Даже думать об этом не будет.

Лютая злость на отца, на самого себя родилась в Семкином сердце. Что это оба они кривляются, точно не договаривают чего-то! Будто продает прокурор Семку, а отец его покупает.

Семка берет копию выписки, паспорт.

— А книги мои вернете?

— Э, нет! Зачем тебе книги? Талмуд читай теперь, ха-ха-ха...

Глазами Семка показывает на черный провал.

— А с ними что будет?

— Найдем, куда спрятать!

Паршиво получается, думает Семка. Кому теперь объяснишь, что впутался он в чужую борьбу, не в свое дело? А слух точно пойдет: откупился-де жид, заклал

Иуда. Или хуже того — провокатор был. И ушла из него радость.

Дежурный на выходе посмотрел его паспорт, сверил со списком на столе, кивнул на дверь.

Идут они на трамвайную остановку, и Семке становится дурно вдруг. Расстегивает он ворот рубашки, закатывает рукава. Он весь мокрый, чувствует головокружение. А отец начинает пожимать ему руки, поздравляет с освобождением. Отец счастлив невыразимо, что снова над сыном солнце. И целует его при народе, колет в шею давно не бритым лицом. А прохожие смотрят на них с презрением: наакались, свиньи, в жару такую:

— Видишь, сынок, а я что тебе говорил? Есть у нас Бог в небе, есть в мире чудо! Я бы с горя умер, если б тебя засадили.

— Отстань, — сопротивляется Семка, — тошно мне! Потом обниматься будем, дома.

Однако отец начинает сиять от умиления.

— Нет, нет, я от тебя не отстану, я тебя никуда не отпущу. Сейчас мы пойдем туда, где каждый день за тебя просили. Тебя увидеть хотят. Они с утра ждут нас.

И отец повел его в синагогу переулками и тупичками Кажгарки — древнего азиатского гетто.

— Пришли! — объявляет отец, толкнув низкую дверь, сколоченную из помидорных ящиков.

В крохотном дворе растет единственная виноградная лоза, от которой нет ни клочка тени. Вдоль глинобитных дувалов сидят старухи, укутанные в шелковые шали. И Семка слышит в себе голос: это твоя лоза, твой дворик, твои старухи...

Отец ведет его дальше, в открытую дверь сарая. На стенах развешаны тут гирлянды пестрых парафиновых цветов, стоят тяжелые медные семисвечники. Семка входит низко пригнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку.

Здесь нет женщин, одни мужчины. Они сидят вокруг стола, гудят, поют и раскачиваются. Семка оглядывается в непривычной обстановке. Он видит шкаф, крашенный голубой краской и расписанный молодыми львятами, похожими на забияк, видит много книг в старинных кожаных переплетах и пытается вспомнить то, что нельзя вспомнить простой памятью. Открой сердце свое, говорит себе Семка, ты должен любить эти молитвенники, этих львят, эти семисвечия... И сердце его

в самом деле начинает странно сжиматься, а к горлу подкатывает тугой комок. Семка видит себя блудным сыном, вернувшимся после долгих, бесплодных скитаний к родному порогу.

Люди встают навстречу ему, окружают, начинают поздравлять. Шутят, говорят непонятные витиеватые библейские пожелания.

Больше всех веселится отец. Он надевает на Семку ермолку и ставит его у стола, у открытого свитка Торы. И Семке читают отрывок оттуда. Потом опять его поздравляют, опять жмут руки. И не знает Семка, что ему отвечать, как вести себя.

Видя его смущение, отец говорит ласково:

— Все, сынок, на первый раз хватит. Иди домой сейчас, успокой мать. А я еще здесь побуду, я еще помолюсь.

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАТЧ

Он был на редкость рослым легковесом: длинный, как каланча, он стоял сейчас рядом со мной в шеренге и грыз ногти, стараясь унять мандраж перед боем.

Стенка к стенке стояли мы — их десять и нас десять, не считая тренеров обеих команд. А судья-информатор громко выкрикивал в мегафон боевые пары. Странно звучали имена наши на их языке. Потеха, да и только!

Бен оглядывал тем временем трибуны.

— В глазах темно, — сказал он. — Одни зонтики! Весь городишко приперся сюда, точно сговорились.

— Устроят нам юбилей! — буркнул я. — Ох, устроят...

— Не паникуй, бокс в этих краях любят! — стал он меня утешать. — Хлебом их не корми, дай на мордобой поглазеть!

Все во мне так и сжималось в предчувствии беды. С самого начала не в жилу была мне эта поездка.

— Гляди, какие рожи угрюмые, — талдычил я. — Добрым людям в такую погоду дома сидеть положено. Вот и дождь начинается, понятия не имею, как драться будем!

Первые капли дождя падали на серый брезент ринга. Дождь мочил наши голые плечи и спины. Наши мышцы вздувались и каменели на холоде.

Команда литовцев — десять белобрысых напротив — стояли в теплых, махровых халатах, и мы им страшно завидовали. Они, вообще, вели себя, как кретины. Когда судья-информатор выкликал пару, они вытанцовывали на середину ринга, задрав над головой кулаки, точно заправские профессионалы. Улыбались и кланялись во все стороны. Публике это нравилось: им орали вовсю, свистели и подбадривали. Мы же вели себя скромно, не имело смысла выпендриваться здесь.

Чтоб зря не торчать на этом спектакле, я попытался узнать противника своего до того, как нас друг

другу представят. Это не составляло большого труда, хоть и были они укутаны в халаты. Стоял он третьим от тяжеловеса и тоже пялил на меня глаза. При этом он зевал часто, будто сильно скучает. А я понимал хорошо — от мандража все того же зевал он. Был он с короткой шеей и мощно сбитый в плечах. Зато руки его казались короче моих. И этого было достаточно, чтобы составить мне тактику боя на первый раунд.

Потом нас представили. Улыбаясь, мы похлопали по спинам друг друга и вернулись в свои шеренги. Вот и вся петрушка!

Тошно сказать, к чему приурочили нашу матчевую встречу. Литва отмечала юбилей «воссоединения» с Россией — ну просто с души воротило!

Уж мы-то знали, что это был за праздничек! Русскую речь тут терпеть не могли. А мы дурака валяли — исключительно по-узбекски на улицах лопотали. И нас принимали за иностранцев. Обмануть на этом удавалось разве что продавщиц в магазинах, но только не людей сведущих.

Комедия с парадом участников матча подходила к концу. Последними представили тренеров. Тренером у литовцев был какой-то старик. Держался он сухо, зубы стиснул, будто драться с нами предстояло ему одному, а не всей его белобрысой ораве. Бухман вышел на середину ринга с поганенькой, виноватой улыбкой. Они обменялись кубками, и вся эта липа закончилась.

...Сегодня утром, собираясь ехать на взвешивание, мы встретили в вестибюле гостиницы их тренера. Утром старик улыбался нам, был вежлив и снисходителен. Был отвратительно ласков, точно победу над нами уже имел в кармане. Не приняты в нашем деле такие выходки, убейте меня — не приняты!

Бухман наступил ногой на нижний канат, а второй оттянул повыше. И через эту щель мы стали прыгать с помоста на землю.

— Агаф, а ты сиди в раздевалке, — сказал Бухман. — Весь матч сиди в раздевалке — будешь ребят готовить на выход! Обстановка тут складывается важная!

Капитан команды Вовчик Агафонов тоже был гусь тертый, отбрыкивался от всех поручений. А может, он догадывался, зачем нас сюда притащили?

— Нет, Борис Михалыч, уставать мне сегодня ни-

как нельзя. Самому биться до красных соплей. Назначьте разминать Хану — она не хуже меня справится!

Агаф уже был на земле, Бухман сверху поманил его пальцем.

— Ну-ка, умница мой, взгляни в ту сторону!

Возле столика главного судьи матча собрались рефери и все боковые судьи. Их было человек двадцать, во всем белом, с черными бантиками на шее. И все они шептались, явно о чем-то сговариваясь. Тоже хорошие свиньи — будто не было у них другого места и времени, чтоб сговориться!

— Ничего подозрительного не вижу! — прикинулся идиотом Агаф. — График судейства обсуждают, как и положено. А может, анекдоты рассказывают последние про советскую власть!

— Забыл, где находимся? — зашипел Бухман. — Обдерут нас, как сидоровых коз! Иди в раздевалку и готовь ребят, чтоб были, как звери. Тут надо на голову быть выше их, иначе не уйти от позора!

Ну и Бухман! Тот еще — Бухман! Потом мы узнали, что за инструкция была у него. Он и сам не знал, чего ему спасти! Он только и думал, как бы придать матчу видимость правдоподобия.

Мы шли в раздевалку. Дрожали мы от холода, как сукины дети.

По случаю бокса на поле стояли длинные, низкие скамейки. Трибуны тянулись таким образом до самого ринга. Из-под зонтов наблюдала за ними публика. Все как один — блондины, литовцы...

У входа в раздевалку начинался деревянный тоннель. Между нарядами милиции мы увидели Хану. На ней был желтый, современный дождевик и косынка.

— Мальчики, Боря мой там не мерзнет? Вынести ему что-нибудь теплое?

— Не стоит ему ничего приносить! — съязвил Агаф. — Бой как начнется — он мигом согреется. Полотенчиком нас обмахивать — он мастер первого сорта! Больше ни на что наш тренер и не годен. Верно я говорю, Леша?

Агаф так и нарывался на скандал, а тяжеловес Леша Баранов человек был бесхитростный.

— Не любит он нас, — протрубил Леша. — Не любит и не жалеет. Так и можешь ему передать, Хана.

Какого хрена не отменил матча? Что за новость еще — под дождем драться? Где это видано?

Хана не унималась:

— Агаф, а может зонтик ему вынести?

— Слышал, Леша, зонтик? Ринг под зонтиком! Вот Хана дает!

— Цирк! — ответил тяжеловес. — Цирк с клоунами... Э, нет, Хана! Боксеры мы, слышишь, а не труппа с клоунами! Команду греть сегодня тебе придется. Агафу сосредоточиться надо, у него крепкий орешек.

Мы быстро оделись и вышли к рингу.

В первом весе от нас выступал Саша Цой, или просто Мизинчик, — маленький, кривоногий кореец с большим плоским лицом. В бою Мизинчик был цепкий, двужильный и брал противников одним измором. Перед каждым боем его полагалось долго злить, и Бухман всегда его жарко наускивал.

Мы сели у самого ринга, на специальную скамейку участников.

Шел первый раунд: Мизинчик был, точно вихрь, и таскал своего литовца из угла в угол.

— Будка у Мизинчика, как у тяжеловеса! — изрек Васька Истомин.

— Что, как у тяжеловеса? — испугался Леша Баранов.

— Морда, говорю, у Мизинчика здоровенная, в такую с закрытыми глазами бей — не промахнешься! Кури себе, Леша, не волнуйся.

Васька Истомин сидел у другого конца скамьи, пряча в воротник голову, а Леша курил сигарету, держа ее в рукаве, чтоб никто не увидел. Он всегда курил перед боем, если одолевал его мандраж.

— Сашенька, дави!! — заорал вдруг Васька.

Выиграть первый бой, сделать почин — это всегда очень важно.

— Дави его, не отпускай! — подхватили мы все тоже.

Мизинчик шел впереди на уйму очков. Он выиграл первый раунд, и второй, а мы считали каждый удар.

Но за минуту до конца боя литовец изловчился и врезал ему сильнейший удар по челюсти. Колени дрогнули у Мизинчика, но он устоял. Рефери тут же открыл счет. Мизинчик подошел к канатам, что-то пожевал губами, а потом выплюнул в нашу сторону

свой передний зуб, весь в красной юшке. Васька сорвался с места и спрятал зуб в карман.

Этот бой мы продули. И следующий тоже. А по огромному кольцу трибун пошел плескаться подозрительный гул, публика свистела и махала зонтами.

В третьей паре воевал Бен.

Противник у него был коротышка: конфетка, а не противник — таких он расстреливал обычно с дальней дистанции, как хотел. Мой кореш считался лучшим технарем страны, у него и приз был за блестящую технику.

В этом же бою Бен превзошел самого себя, до того он был точен, красив и быстр. Последний поденок не мог усомниться в его победе.

Он сам подошел к своему литовцу и поднял его руку. Лучше и нельзя было выставить на посмешище судей. Плянул, и сошел с помоста.

На ринг поднялась следующая пара. Совершенно расстроенный, я встал со скамьи.

— Пора в раздевалку, — сказал я нашим.

— Посиди еще малость, за Агафа поболеть надо!

— Нет, хватит с меня, тошно смотреть, как над боксом глумятся!

В раздевалке я подошел к Бену, чтобы утешить его.

— Хороший был бой, — сказал я ему. — Спасибо за удовольствие. И наши тоже от тебя в восторге. Ты не огорчайся, не надо. Считай, что выиграл сам для себя, для друзей. Какое в спорте еще может быть удовлетворение?

Он улыбнулся мне в ответ криво и жалко.

— Чуть беды не натворил, едва удержался не врезать по харе кому-нибудь из судей.

— Умница, — поцеловал я его. — Мне бы твои нервы и выдержку!

Впереди меня выступали двое: прошлогодний чемпион Средней Азии Оська Гохберг, или просто Гоха — боец смелый и умный, левой рукой он разил наповал чуть ли не в каждом бою. И — Толик Каримов, инженер с кабельного завода, телосложением — мышечное чудо, тоже нокаутер.

Хана возилась с Гохой, готовя его на выход.

— Своего знаешь? — спросила она меня.

— Нет, — сказал я. — Пожали руки друг другу, мои вроде длиннее. Вот и все.

— Тебе с ним попотеть придется. Я видела его на первенстве Вооруженных Сил — рубака и лезет в ближний бой... Ты вот что: держись от него подальше, разведай все. А сильный удар поймаешь — не злись, не теряй голову... Ну, а остальное тебе уже Боря в ринге подскажет. Иди, грейся пока!

И я приступил к разминке.

Минут десять выделял различные упражнения, каждый раз прибавляя в темпе, пока весь организм не стал подчиняться мне, как послушная машина.

Тем временем Хана отправила на ринг Гоху, а Толик сидел на табурете в халате и в перчатках, тоже готовый на выход.

Хана целиком перешла ко мне. Она шутила со мной, отвлекала мои мысли от боя. Она отлично знала, чего мне надо в эти минуты. Меня, если честно признаться, ни в коем случае нельзя оставлять наедине с мандражом: воображение может легко свалить меня задолго до боя.

— Лоб у тебя сухой, — говорила она. — Таким я тебя не выпущу. Этот молодчик, чего доброго, и головой тяпнет, бровь тебе может посечь. Зачем же из-за ерунды проигрывать? Поди ко мне, я тебе вазелином лицо смажу!

И Хана ни на шаг не отходила от меня. И я был очень ей благодарен за это. Она была мне сейчас самым дорогим человеком во всем этом гнусном мире.

В раздевалку влетел Гоха. Он прямо-таки кувыр-кался от радости.

— Что, красавчик, нокаутировал? — поняла Хана.

— Ага!

— Ну, слава Богу, хоть счет размочили.

— Поздравляю, Гоха, — сказал я.

— Спасибо, и тебе удачи большой!.. Там льет всюю. Ринг скользкий, как в мыле. Ты канифолью хо-рошенько натришь!

Хана тут же принесла кусок канифоли и бросила мне под ноги. Я раздавил его, растирая подошвами боксерок. Канифоль быстро превратилась в пыль, захрустев, точно спелая капуста.

— А теперь закругляйся! — и Хана запустила хронометр. — Раунд боя с тенью, и баста! Повтори свои длинные серии с обеих рук, а кончай комбинацию крюком справа — коронкой своей...

Потом зашнуровали на мне перчатки, накинули на

меня халат. Я сел на табурет, выставил ноги подальше. Расслабленные так, они лучше отдыхали.

Вдруг мы обнаружили, что стоит на стадионе мертвая тишина. Точно все там разом окочурились.

— Это Толик, должно быть, выигрывает! — сказал Гоха.

— Я выбегу посмотреть! — и Хана выскочила из раздевалки.

Раздевалка наша находилась под трибунами, поблика сидела как раз над нашими головами. И вдруг забили над нами сотни копыт и раздался жуткий вой.

Влетела в раздевалку Хана. А за ней следом — Бухман и Толик.

— Все! — заскулил Бухман. — Начинается!

— А что случилось, Боря?

— Второй нокаут — вот что!

Бухман был весь мокрый, со слипшимися волосами. Губы у него вспухли и дергались. Он увидел меня сидящим на табурете.

— Готов? Надо идти, идем!

И мы вышли на поле.

Вой стоял сатанинский. Я заткнул уши перчатками, иначе со страху можно было наделать в трусы.

Ринг окружала плотная цепь милиции. Раньше ее не было возле ринга. Они пропустили нас, и мы взошли на помост.

Гоха был прав — ринг был мокрый насквозь! Боксерки так и елозили по брезенту.

В другом углу вынырнул между канатами мой литовец. Рефери взмахнул руками по-птичьи: этот жест означал, что он приглашает нас к себе. Все трое мы обменялись рукопожатиями. Рефери стал нам что-то быстро говорить, но слова его смывало ревом. Он говорил, разумеется, что надо нам биться честно, без запрещенных приемов, что судить нас он будет строго и обоим желает удачи. Словом, все, что надо сказать приличному рефери, а не каналье.

Потом ударили в гонг.

Мы коснулись перчатками, и все на свете перестало меня занимать. Пропал стадион, эти судьи сволочные, эти литовцы на трибунах — все пропало. Остался противник в ринге, и мы занялись своим делом.

Для начала я нанес ему парочку легких ударов по туловищу. Защищая живот, у него опустились руки, и я увидел его открытый подбородок. Он разозлился,

поняв свою оплошность и попер на меня апперкотами. Я тут же разорвал дистанцию, улизнув подальше: ноги всегда хорошо выручали меня. Он бросился догонять меня, сломя голову. Тут я вообще увидел у него уйму открытых мест. Сбывчив голову, он пошел на меня с обеих рук, бил, точно кувалдами. А потом вошел в клинч и нагло тяпнул меня головой, явно желая посесть мне бровь. И я удрал от него еще дальше. Да, Хана оказалась права — он был очень опасен! Конечно, тяпни он меня так на нормальном ринге, да при обычном рефери — его бы мигом шуганули отсюда за грубое поведение. Но им тут того и надо было — быстрее от меня отделаться, если появится кровь. Все они были тут заодно, и это бесило меня до чертиков. И я решил обыграть его голой техникой, чтоб первый раунд оставить за собой. Для первого раунда это было достаточно. А главное — я узнал о нем все, что мне хотелось узнать. Впереди еще было много времени...

В перерыве, подавая мне воздух полотенцем, Бухман мне тихонько шепнул:

— На кой чорт нам твоя победа! Поди успокой стадион!

— Почему? — удивился я.

— Говорят тебе — поди и сделай все шито-крыто!..

Минута истекала, я сидел, как пришибленный.

Рефери снова запрыгал вокруг нас. А литовец взял да всыпал мне порцию увесистых апперкотов. А вдобавок — тяпнул-таки головой. Глаз тут-же заплыл у меня, в ушах загудели колокола. Ого! удивился я, при подобной прыти мне и проигрывать не надо, он и сам разделает меня запросто! Но нет, я тоже был с капелькой самолюбия. У меня тоже было чуточку горора. Не мог я ему просто так проиграть. Хорошо, сказал я себе, он получит свою победу. Конечно, получит... Но весь этот сброд на стадионе, и Бухман, и судьи — пусть поймут, что не он у меня выиграл, а я ему проиграл. А это не одно и то-же... Потом я увидел белобрысого: он был страшно воодушевлен удачей с моим глазом, готовил новое нападение. Тогда я сделал ложный выпад в голову, а правой рукой сильно воткнул ему в пузо. И рука вошла туда чуть ли не по самый локоть. Он сразу сник, дыхание было сбито, и весь его белобрысый энтузиазм тоже. Рефери не открыл счета над ним, навалился на меня, отпихивая подальше. Стадион неистовствовал. Я поскользнулся, а литовец по-

явился сбоку и всадил мне в печень сильнейший алперкот, самое лучшее, что у него имелось. Это согнуло меня пополам, в горле тут же появилась пробка. Ее нельзя было ни проглотить, ни выдохнуть... И, точно мешок с дерьмом, я свалился на пол. Сначала я только корчился и всхлипывал, судорожно пытаюсь глотнуть воздух, но воздух никак не шел в меня, а потом стал кататься по полу. О, тысячу раз было бы легче схватить мне по челюсти, и «спать» в нокауте, нежели чувствовать при полном сознании, как играют в животе десятки ножей... На счете «сем» спазмы немного отпустили, и я глотнул наконец воздух. Тут я увидел Бухмана. Он делал мне жесты, которых я не понимал. И вдруг дошло: он приказывал мне оставаться на полу, не вставать! На полу я ему очень нравился. Я нравился сейчас всем на свете, только не самому себе. Нет, я должен был встать! Я не мог доставить им удовольствие, валяясь на этом мокром, грязном брезенте! Я бы в жизни себе не простил этого. И встал. Это было очень трудно... Литовец сразу оседлал меня, чтобы разом прикончить. Тогда я поднял плечи повыше, а расквашенный живот перекрыл локтями — обложился со всех сторон глухой защитой. Он мог бить меня сколько угодно. Тут важно было не податься панике, и ничего ему не открыть... Итак, я лежал на его кулаках: со стороны казалось, что он обрабатывает чучело. Наконец он стал уставать. Он отлип от меня, полагая, что я тут же рухну. Я согнулся пониже, в стойке «крауч» и пошел вперед с легкими ударами. А он был изнеможен после такой атаки и не сразу понял мой маневр. Вот он оказался в углу. И я выпрямился. Он тронул спиной канаты и испугался, что некуда отступать. Канаты впились ему в спину — а я еще ждал. Он бросился вперед, и мой правый крюк — последняя моя надежда — не подкачал... Литовец стал валиться назад, голова его тюкнулась о верхний канат, потом по двум нижним... И все было кончено.

Наступила сразу тишина на стадионе. А ужасу в ней было больше, чем в самом сатанинском вое.

Я так и остался стоять над ним. Слышалось, как капли дождя бьют по коже моих перчаток. Мне стало жалко его: откуда мне было знать, что у него такая стеклянная челюсть? Я хотел сказать это Бухману и направился в свой угол. Бухмана в нашем углу не оказалось. Он прятался внизу, в куче милиции.

Ко мне подошел рефери и вскинул вверх мою руку. Мне полагалось еще пойти к противнику и пожать ему руку, таков этикет в нашем деле. Мой литовец стоял уже на ногах, держась руками за канаты. Он был слаб и его качало. Я положил руку ему на плечо: он обернулся. Я увидел, какие у него пустые глаза. До жути пустые: он не помнил меня.

Со всех сторон публика пошла к рингу. По всему стадиону слышались утиные крики отдираемых досок — люди вооружались чем попало.

Молоденький лейтенант милиции, стоявший у лесенки на помост, отстегнул кобуру и вытащил вороненую, очень интересную штуку.

— Уберите немедленно! Зачем вы это делаете? — закричал Бухман.

Со страху у Бухмана чуть глаза не вывалились. Он мигом раскидал судей и стал биться в милицмейские спины.

— Алло! Дайте нам ходу, пропустите!

Один из попок обернулся, показав Бухману перекошенное, остервенелое лицо.

— Куда прешь, сволочь? Задавят!..

Бухман стал вспрыгивать на спины в синих шинелях, стараясь заглянуть поверх моря голов.

— Хана! Хана!

Потом, с разбегу — таранить милицию. А мы помогали ему, не понимая, что нам делать в кипящем котле, за надежным кольцом милиции.

И все-таки прорвались.

А потом как могли — продирались вперед. И вот что странно: ни один кулак, ни одна доска не опустились на наши головы! Не мы их интересовали...

Наконец увидели Хану. Она рванулась навстречу нам, раскинув руки. Бухман сцапал ее, увлекая дальше. Стоял у тоннеля Васька Истомин, в перчатках и халате, готовый к бою. Васька побежал с нами, задавая на бегу дурацкие вопросы, будто возвращались мы с партии в пинг-понг. Такие вещи до него, вообще, туго доходили.

В раздевалке Бухман накинул щеколду на дверь.

На стадионе начали палить залпами.

— Боренька! — обомлела Хана. — Что это?

Бухман взял ее за руку, усадил на скамью.

— Убивают там!.. Друг друга они там насмерть убивают, рвут глотки, прошибают головы! А вы —

цыц! Тихо сидите, чтоб слышно нас не было. Пусть выясняют отношения без нас...

Побоище продолжалось долго. Слышались голоса истерические, призывы к свободе... Тоска была смертная, ибо все это покрывалось стрельбой. А после — опять уханье смачных ударов и рукопашной схватки. И снова пальба...

Наконец народ побежал. Мы поняли это по табуnému топоту ног над нами. Пыль и паутина посыпались с потолка. Стадион быстро пустел, воцарялась тишина.

И вот Бухман послал в мою сторону ненавистный взгляд, которого я давно ждал.

— Кровь этих людей на твоей совести, — сказал он. — Вот результат твоего геройства. Говорил тебе — лежи на полу и не рыпайся?!

— Скажите, наконец, что произошло там у вас? — закричала Хана.

Тут я не выдержал, и брякнул:

— Скажите-ка, лучше, Борис Михалыч, в какую махинацию вы нас втянули? Чего это в ЦК республики вас столько таскали перед поездкой?

В эту минуту в коридоре послышались слабые шаркающие шаги. За дверью стоял человек и рвал на себя ручку. Потом взмолился голосом с того света:

— Пустите, хлопцы! Свой я...

Мы бросились к двери, откинули щеколду. Прямо с порога упал нам на руки попка. Мы положили его на пол. Лицо его было разбито и сочилось кровью. Хана обтерла его мокрым полотенцем, расстегнула китель, стала щупать ему грудь — нет ли там переломов.

— В больницу, немедленно! — Хана сидела на корточках и плакала.

— Товарищ, миленький, у вас раны открытые, их шить надо, у меня, кроме йода и вазелина, ничего нет! Где у вас больница поблизости?

Тот мычал от боли, мотал головой.

— Боря, ну не стойте же так, давайте пойдем! Там все давно кончилось!

— Спешить нам некуда, нас не гонит никто!

Бухман нервничал. Потом подсел к попке.

— Послушайте, — спросил он. — Где сейчас может быть Дадияни?

Это имя подействовало на попку удивительно:

сразу перестал скулить, гримасы боли сошли у него с лица.

— Откуда хозяина знаешь? Зачем он тебе?

— Ну как же, как же! Сами знаете — установка была отдать им победу. Утешить, так сказать, ненависть... к русским! А я бы как раз и хотел иметь вас в свидетели: общим счетом мы же проигрывали, верно?!

— Дурак! — ответил попка. — Прои-и-игрывали!

— Простите, не расслышал? — Бухман наклонился ниже. — Что вы сказали?

— Дурак, говорю! У власти — русские, милиция — русские! Им повод был нужен: баню на юбилей устроить! У-у! Давил бы я их в утробе матерной!

И Бухман поднялся. На лице его выступило вроде бы прояснение.

Дождь кончился, на поле стоял белесый, балтийский туман.

Мокрый стадион сочился духом сырых недр. Гарева дорожка налипала к обуви толстыми комками. Мы с Беном волокли раненого: спотыкались о камни, доски, ботинки, зонтики, обходили темные лужи крови.

У ворот стадиона возились люди. Там были опрокинутые милицейские машины. Обгоревшие их остовы дымили резким запахом шин.

— Ступайте! — заорали нам. — Идите отсюда, нашли на что глаза пялить!

— С нами один ваш товарищ! — крикнула Хана.

Они тут же подскочили, и исписали команду сильным фонарем.

— Ребята, подкати мотоцикл, Калюжный нашелся!

Попка ожил в наших руках, встрепенулся. Разом окреп в ногах и сам уселся в каляску. Тоже, видать, ломал комедию со своими ранами.

Мотоцикл взревел и исчез во тьме.

А Бухман заскулил:

— Не гоните нас, с нами женщина!

Они снимали номерные знаки с машин и были злые как черти.

— Идите, никто вас в городе не тронет! Тут своих дел по горло. Тоже мне — боксеры!..

— Негодяи! — тихо сказал Бухман. — Оккупанты несчастные! Используют людей, как им угодно, а после

бросают. А у меня — команда на шее! Вот хлопнут кого-нибудь из-за угла, а я и отвечай!..

— Эй, хватит бубнить там! — пригрозили от машин. — Никто вас не будет провожать, у нас каждый человек дорог! Напрасно время теряете!

Улица шла вниз, к большому каменному собору. Острые шпили его смутно проступали в беззвездном небе.

За собором начинался освещенный проспект. Тут мы почувствовали себя спокойней. А с Немана то и дело раздавались тревожные сирены. В порту, видно, тоже была у них заваруха.

На первом же перекрестке остановил нас патруль с автоматами. Кварталы в городе очень короткие и патрули маячили здесь на каждом углу. Они тормозили нас, проверяли документы и приказывали костылять дальше.

Наконец появилась и гостиница. Огни в вестибюле были погашены.

На стук в двери вынырнул старик-швейцар. Страшно обрадовался нам, с ходу врубил верхний свет и побежал к стойке.

Мы уже поднимались по лестнице, когда он догнал Бухмана и всучил ему записку.

Хана поднялась ступенькой повыше, глянула мужу через плечо и вмиг пробежала эту бумажку.

— Нет, не пущу! Хватит судьбу испытывать, завтра пойдешь!

Положила ему руки на грудь, и стала снимать с него плащ.

Бухман убрал ее цепкие пальцы.

— Пойми, это же очень важно! Вы же ничего не знаете! Идите по номерам, ждите меня... Это тут, рядом, почти что за углом.

Номер наш был маленький и уютный. Бен включил свет, пощупал батареи: они оказались горячими. Мы развесили сушиться на них свои майки, трусы, полотенца. По комнате стал расходиться запах пота. И запах этот снова напомнил все, что случилось на стадионе: крики, кровь, залпы, обгоревшие машины, ботинки на гаревой дорожке... Ну просто завывать хотелось! И мы открыли окно. Вид на улицу заслоняли деревья. Капли воды скатывались с ветки на ветку, шлепались на асфальт, — казалось, что дождь пошел

снова. Потом мы достали из тумбочек колбасу и хлеб, завалились на кровати, молчали и ели.

К нам постучали. Вошел Мизинчик.

— Идите к Бухману, срочно велют собраться! — прошепелявил через выбитый передний зуб. И пошел звать остальных.

У Бухмана лежали на кроватях чемоданы. На скорую руку Хана укладывала вещи. По номеру у них шлялся смуглый, молодой тип, почти что красивый. Он дожидался начала своей речи, а между тем изучал каждую вещь, каким-то профессиональным взглядом. И все в нем было полно величия, он прямо-таки источал из себя вонючий запах власти. Его плащ лежал на спинке стула.

— Осталось двадцать минут! Все явились?

— Да, — сказал Бухман, — можно начинать. Хана, присядь на минутку, успеешь собраться... Итак, слово имет товарищ Дадияни!

Тот встал у стола, чтоб видеть всех, и начал:

— Прежде всего мне хочется принести вам глубокие извинения от имени общественности всей нашей республики за хулиганскую выходку на стадионе. Скорее всего вышло недоразумение — федерация бокса пригласила судить матч людей неквалифицированных, что и послужило причиной возмущения публики. Обещаю вам, что соответствующие органы во всем разберутся и виновные понесут наказание. Короче! Нам позвонила Москва и всем вам срочно приказано покинуть город. Самолет ждет уже. Хочу напоследок дать добрый совет: ибо всем, что случилось здесь, — нигде не трепаться. Можете рассказывать, что приняли вас хорошо, юбилей прошел под знаком дружбы народов, красочно, интересно, а матчевую встречу вы провели с ничейным результатом. Ясно? Договорились? Вот и хорошо. В Москве вас кой-куда вызовут, а скажут то же самое. Итак, желаю больших успехов в спорте и личной жизни! А сейчас — поехали!

У подъезда уже стоял голубой аэрофлотский автобус.

Дадияни спрашивал заботливо: не оставил ли кто вещи наверху, все ли паспорта на руках?

Бухман и Хана устроились на передних креслах. Мы с Беном сели сзади них. Хану оставили все ее страхи, она снова шутила.

В городе стоял сильный туман, за окном ничего нельзя было различить. Город точно прятал от нас свое лицо.

На большой, круглой площади автобус развернулся, притормозил.

В вестибюле аэропорта не было ни души. Вещи свои мы не стали сдавать, а пошли прямо на поле.

У изгороди Дадияни стал с нами прощаться. По одному подходили мы и жали ему руку.

— До свидания! Счастливого пути! Жаль, что так вышло. Я ведь в прошлом и сам хороший спортсмен был, я очень вас понимаю... Вы на будущий год приезжайте, мы тут порядочек наведем железный!

— И вы к нам приезжайте! — кричал Бухман издали, уходя. — Летом, в августе приезжайте. Летом у нас тоже юбилей: воссоединение Узбекистана! Как раз изобилие будет: дыни поспеют, арбузы, инжир, персики...

Бухман обнял Хану, они шли, не оглядываясь.

Мы с Беном тащились рядом, и я слышал, как Бухман говорит жене:

— Уж я им устрою юбилей! Соберем на «Пахтакоре» тысяч пятьдесят узбеков, они не хуже литовцев отпразднуют!

Команда поднималась по трапу. Билетов у нас никто не спрашивал.

НАКАНУНЕ

— Я буду когтистой, — говорила она. — Вьемся в тебя на всю жизнь!

— Пугаешь? Пугай, пугай, а мне вот нестрашно!

— Себя пожалей, — твердила она, напиваясь. — Тебя будет преследовать тень моя, голос, слова, мои ласки и запахи. Все, что ты любишь. А ты ведь любишь! Знаю, что любишь.

— Все решено, Ольга, — ответил он. — Так уж написано — останешься.

— Выходит — останусь, по рукам здесь пойду.

— Да ты и пошла, — злился он, стискивая желваки. — Ты уже далеко пошла, тебя не догнать, пожалуй. Ответь лучше, где шляешься последнее время? Зачем приперлась?

Так они цапались весь вечер.

Младший брат его, Леня, не пил. Ни капли не выпил за весь вечер, читал книгу, не поднимая глаз, и молча презирал их.

Вскоре все спиртное кончилось. Глаза стали слипаться. Пришла зевота с волчьей тоскою.

Была полночь, он хлопнул кулаком по столу:

— Баста! Мне в институт рано вставать. Иди к себе, Ленчик.

Леня встал и ушел, точно сидел здесь по принуждению. Пошел в другую комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Он заперся вдобавок на ключ, будто желая подчеркнуть свою непричастность ко всей похабщине, что здесь была и будет, к Ольгиным слезам, отверженности, к садизму и угрозам брата. Не включая свет, Леня возился в той комнате с постелью, раздевался, потом плюхнулся в кровать и долго вертелся, согреваясь. Им было слышно, как скрипят и стонут под Ленией пружины.

Ольга сидела на широкой тахте, подобрав под себя босые ноги, кутала зябкие плечи в тонкую оренбургскую шаль. Весь вечер она пила, стараясь унять хоть чуточку горечь расставания навек. Пила и прику-

ривала одну сигарету от другой. Смотрелась в зеркало. Сбоку, в углу, стояло большое зеркало в рост, в него она и смотрелась, будто прощалась сама с собой, с этим домом. Она слушала, как стонут пружины в соседней комнате.

В доме же было очень холодно и накурено. Висели причудливые пласты сизого дыма, качаясь, будто пьяные. В горле першило от табачного дыма, от осенней сырости давно не топленных стен.

— Открой фортку, — сказала она. — Пусти малость свежего воздуха, иначе угорим к утру, как монголы в юрте.

Он сидел за столом, слушал пружины из той комнаты, о чем-то думал сосредоточенно. Теперь верил он, что память о ней будет преследовать его.

— Прости, Оська, совсем забыла, что ты простуды боишься, в спину надует.

— Да, да, — заорал он вдруг. — Именно сейчас я боюсь простуды! Именно сейчас мне надо трястись над своим здоровьем. Ты разве не понимаешь, мое здоровье дороже всего на свете, дороже всяких шлюх!? Мое здоровье теперь становится достоянием моего народа!

Она смолчала, слушая весь этот бред, потому что до этого он выражался и того хлеще. Потом Оська кинулся к окну.

— Э, нет, я совсем раскрою это вонючее окно. Врешь, не надует. Именно потому, что мое здоровье идет по такой статье, я намерен спать при свежем воздухе. И пусть мое тело овекает самый свежайший ветер.

— Помочь, дорогой? — заботливо спросила она.

— Ни в коем случае! Не смей ко мне приближаться! Отлично обойдусь без тебя. Теперь нам никакого участия вашего не надо!

...День в день, ровно через год поднимется над ближайшим Синайским хребтом тяжелое, кирпичное солнце.

Их будет четверо; он и трое «американцев»: адвокат Шмуэль из Иерусалима, брачный посредник Авраам, тоже из Иерусалима, и великан Мелвил из кибуца Дегания, парень с обвислыми рыжими усищами и бритой, сверкающей головой, которого даже сами «американцы» будут звать Тарасом Бульбой.

Командир базы велит им прочесать окрестные дю-

ны, поскольку пришло донесение, что накануне египтяне высадили в их квадрате десант, и, вообще, шляются кругом подозрительные бедуины.

Они возьмут «узи» и по три магазина на каждого, пересекут стратегическое шоссе Эль-Ариш — Митле и двинутся напрямик до ближайшей горы, километров двадцать туда и обратно.

Вспыхнет во всю свою ярость жгучее солнце пустыни, разденут они рубашки и станут жевать на ходу апельсины.

Потом он увидит обгоревший танк Т-62, подойдет к нему ближе, захочет снять инфракрасную лампу на память о неудачливом госте с Ольгиной родины.

И тут он увидит это.

Авраам, Шмуэль и Тарас Бульба успеют уйти далеко вперед, пока он оправится от первого шока и крикнет им хрипло: «Хевре! Хевре!»

Парни вернутся назад, обступят это, долго будут молчать все четверо, подавшись вперед и напрягшись.

Он присядет потом на корточки, брезгливо и осторожно снимет нижнюю челюсть с черепа, и совсем как Гамлет в известной сцене станет рассуждать вслух на иврите: «Совсем еще мальчишка, видать! Такие крепкие, молодые зубы, ни одного изъяна. А где-то на берегах Нила никто из его родных и понятия не имеет, что этот «махмуд» лежит себе, белея костями, под нашей базой»...

А Авраам, парень с наивными и чистыми глазами пророка, добавит, что негоже костям человеческим валяться без погребения. Ведь всякий человек, скажет он, творение Божье, кем бы он тебе не приходился, даже самый заклятый враг...

И согласятся все с Авраамом, разойдутся по полю недавнего побоища. Станут собирать в кучу оторванные головы, позвоночники, руки с целыми кусками плеч, ноги в ботинках, руки в истлевших рукавах. И сложат высокий холмик. А после, до самого обеда, будут засыпать это горячим синайским песком перемежку с гильзами, белым щебнем и верблюжьим пометом.

... — Очень даже отлично без вас обойдемся, — орал он у окна. — Всегда отлично без нас обходились. А вы только и можете, что испохабить любое дело. Что, не так разве?

Верхний шпингалет быстро попал в паз, а ниж-

ний заржавел и никак не шел. Она смотрела, как он мучается, кричит и напрягает спину. Потом он схватил мраморного слоненка с горки и принялся бить им по шпингалету. Стекла, казалось, вот-вот рассыпятся.

— Разбухло дерево рамы, точно резина, — бубнил он. — С августа квартира не топлена. А Ленке плевать на все, вконец разленился!

— Вот и занялся бы домом, — сказала она. — А то совершенно сбесился.

— Ишь, чего захотела!? — обернулся он. — Старайся для вас, да? Все равно отберете, все равно вам останется. Все до перышка отберете. Глотка, поди, не пропускает, сколько награбили у нас.

Он сладил наконец с окном и распахнул его настежь, обе створки. Потом пришел и сел на тахту. Она обняла его.

— Не надо злиться, родной!

— Никакой я тебе не родной, слышишь? Кончилась наша родня! Скажи-ка лучше, где ты шляешься последнее время? Ты-то что бесишься?

— Я понимаю, — сказала она. — Ты обобщаешь это до ненависти, меня и все остальное. Обобщаешь, чтобы легче было вырвать и забыть. Я очень тебя понимаю. Только я у тебя совсем другое, я же вижу. Я всегда в тебе буду, ты сам это знаешь.

Обмякший вдруг от этих слов, разивших в самое сердце, от какой-то злобы на самого себя, он тяжело поднялся.

— Хватит, — сказал он. — Ты слишком далеко проникла. Давай делать баиньки последний раз. Мне вставать завтра рано. В институт надо, характеристику эту дурацкую пробивать. Слава Тебе, Господи, скоро и это кончится — институты ваши гнусные, знания ваши вонючие...

— Уедешь, Оська, — сказала она, погасив сигарету винтом. — Конечно, уедешь... Ты только и сам не знаешь, что это за сила вдруг овладела тобой, берет властно за шиворот и кидает прочь от меня. Ты, может, на силу эту неведомую злишься, так я же при чем тут? Ты и сам, я вижу, в смятении; что за судьба ожидает тебя там?

Он стоял у шкафа, разбирая завалы грязного белья и одежды, стараясь выбрать простыню и пододеяльник почище.

...На горе Сион есть ешива под названием «Диаспора», музейчик небольшой, где хранится пепел со всех мест истребления шести миллионов. Во дворе музейчика стоит каменная чаша, с которой стекают большие слезы.

После гибели брата он завел себе привычку приходить сюда по ночам, искать ответа на самый главный вопрос в жизни. В пустынные эти ночи, усеянные глазастыми звездами, он будет ходить вокруг могилы царя Давида, в прокопченных лабиринтах, подниматься в залу Тайной Вечери, где в последнюю свою ночь свободы Иисус из Назарета коснулся устами Иуды Искарриота, и не найдет здесь ответа. Некто таинственный будет стоять у него за спиной и задумывать свечу в трясущихся руках. Он будет подниматься на высокий минарет, откуда лучше всего видна вся Храмовая гора, весь Иерусалим, а в ясные дни — даже Мертвое море, стоящее дыбом. И будет постигать долину под Масличной горой, думая о грядущем Страшном Суде.

Однажды, в конце времени, именно в этой долине соберутся все, кто когда-либо населял эту землю. И он тоже будет среди них. И все они будут судимы. Но как? И вот он поймет это в одно мгновение, в долю секунды поймет он секрет этого Суда. Вдруг он увидит всю свою жизнь, она разверзнется, точно бездна. Увидит всех, кого совратил, убил, растоптал, обокрал, растлил, предал, затравил, унизил, от кого бежал и где струсил. Словом, все свои добрые и злые деяния. Увидит все проступки своих предков и потомков, что будут сидеть здесь. И каждый поймет, за что ему будет награда и за что казнь. Все, все они будут судимы в одно мгновение, точно единый организм из плоти, духа и времени. И это случится здесь, под Масличной горой, так густо усеянной сейчас огнями арабской деревушки, чье название все никак нельзя узнать.

... Он вытащил из шкафа простыню и пододеяльник.

Ольга перебралась на табурет, чтобы дать ему застелить тахту.

— Слушай, Оська, — сказала она. — Ты погоди оставлять меня, погоди. Давай закрутим с документами сначала. Давай распишемся?

— Снова за старое? — взорвался он. — Ну и рассмешила! Вот рассмешила, вот ты даешь!

— Тебе там со мной хорошо будет. Ты без меня вконец изведешься. Зачем тебе там гоняться за тенью моей, ты живую меня увези.

— Врешь, не буду гоняться там ни за тобой, ни тем более за тенью. Сказано было — я сам знаю, где мне жениться и где невест выбирать.

— Ну хорошо, не женись, не надо. Ты только увези отсюда, чтоб рядом была. Чтоб знала, что ты рядом.

— И этого не проси, не вывезу. Пусти вас таких туда, вы все там испохабите.

— А ты подумай, милый, ты крепко подумай...

Они погасили свет и легли.

По комнате гулял свежий, сырой ветер. В стекле бились голые, мокрые ветви яблони, что росла под окном. Из соседней комнаты доносились отчетливые скрипы и стоны пружин — Леня не спал там, маялся.

Сначала они сделали то, что делали обычно раньше: он целовал ей грудь, шею, спину, ноги, руки, пятки, и она то же самое делала с ним, были и визжали, обливаясь сладчайшей из влаг влагой. Потом, во имя разлуки и ночи последней сделали то, что не делали никогда; то, чего нельзя повторить и придумать снова. И в эту опустошенность телесных недр с еще большей силой устремились злоба и лютость.

— Братан мой мальчик, — начал он. — Совсем еще мальчик, ни разу в жизни не спал с женщиной.

Она была слишком далеко сейчас, слишком рассеяна, чтобы понять, чего он хочет.

— Ты спишь, Ольга?

— Сплю, — сказала она.

— Давай позовем его к нам? Ему там страшно холодно и тоскливо.

— Ты что, чокнулся? — вздрогнула она. — Зачем пытаешься убить меня? Тебе же хуже будет, не убивают так память.

...Вот придет эта ночь, и он отправится в караул за ворота. В самую глухомань, между двумя и четырьмя, ибо именно в это время начинают петь голоса евреев, вышедших из Египта.

В эту ночь он захочет услышать наконец победную песнь Мирьям, сестры Моисея, но услышит совсем другое.

Расстегнет в ветхой будочке боевой пояс на себе, где будет у него полная фляга с кока-колой, несколь-

ко противопехотных лимонок, снимет с плеча «узи», положит его на колени и сядет на табурет. Еще он бросит на пол перед собой связку бананов, чтоб ели мыши, и не лазили по нему.

Потом достанет затрепанный номер газеты «Едиот ахоронот», раскроет на той странице, где Ольга, положит справа на полочку и время от времени будет светить фонариком на рекламный снимок и поражаться: ну точно такое же скуластое лицо, вздернутый носик, те же печальные серые глаза, а вокруг жирно написано: «Банк Леуми имеет отделения во всех уголках страны, будьте нашим вкладчиком!»

Он захочет получше сосредоточиться, чтоб отчетливей различать голоса беглецов и подойдет к трофейной противотанковой пушечке, что будет стоять по другую сторону полосатого шлагбаума. Покрутит там рычаги и колесики, заглянет в длинное жерло, плюнет туда. Подойдет к ракете САМ-3, стоящей на попа, постучит об нее носком тяжелого солдатского ботинка, плюнет на ракету. Ему покажется после, что он достаточно сосредоточился, и он станет принохиваться к ночному небу пустыни. И там, между россыпей звезд, увидит вдруг спутник, быстро и рывками пересекающий купол высоких сфер в сторону Малого Горького озера. И огорчится, подумав, что эта самая гнида вовсю снимает сейчас именно их базу, все, что побольше размеров сигаретной пачки. А завтра где-нибудь в Байконуре кто-то увидит на снимке, как он стоит и пинает ботинком ракету.

Со стороны арсенала подойдут к нему Валька Текслер, обойщик из Бат-Яма и Анзор Мошашвили, сварщик из Нацрат-Илита — свои, «русаки». А он их не заметит даже, ибо в мощных гулах, источаемых бездонным небом и кочующими песками, различит-таки голос Мирьям, плывущий в пустыне века и тысячелетия, голос тонкий, как ультразвук. И будет наслаждаться стуками бубнов и тимпанов и речью гортанной. Анзор и Валька посмотрят друг на друга многозначительно, повертят у себя пальцами у виска, — тюкнулся, дескать, и, не окликнув, поправят ремни автоматов и так же бесшумно истают во тьме, как и явились.

...— Да, — сказал он. — Я все хочу истребить за собой: и дом этот, и город, и тебя.

Он перелез через Ольгу и постучал к брату. Тот

испугался, видать, потому что долго не мог попасть дрожащей рукой ключом в скважину.

Наконец Леня вышел, дыша себе на руки и трясясь от холода.

— У вас что-то случилось? — спросил он. — Зачем ты позвал меня?

— Нырряй к нам, Ленчик!

— Зачем? — растерялся тот и оглянулся. Вышло ужасно смешно, это в окно стучали голые ветви яблони.

Так и не поняв ничего, трясясь и стуча зубами, Леня поднялся на тахту, лег и замер, вытянувшись. Ольга тут же повернулась к нему спиной, спрятала лицо в ладони и стала рыдать.

Тогда он ушел на кухню, оставив Ольгу в полное распоряжение брата.

На кухне стоял пронзительный холод. Босой, он стал плясать на цементном полу и петь песни.

... Ровно в три ночи он включит карманный транзистор, послушать последние известия: как там у Ленки на Северном? По краю сознания пройдет еще паскудная мысль: у них там палят вовсю, а здесь у нас тихо, вы, мол, сегодня, а я уж погожу, я завтра, и обзовет себя за это скотиной, что так зачерствело сердце.

Диктор сразу начнет со сводки вечерних боев, на каких позициях были танковые перестрелки... И назовет позиции. А он будет думать по ходу сообщения: нет, Ленка со своей штукой вроде бы не там, чуть выше. А после паузы трагической, тот же диктор скажет, что полтора часа назад, наш джип случайно нарвался на мину, двое ранены, четверо погибли. И назовет имена погибших. Назовет его имя.

...Очень скоро дверь на кухню чуть открылась, он увидел кудлатую голову брата.

— Ступай к Ольге! — велел Леня. — Меня Ольга послала. Ты доиграешься, ты уедешь! Из-за твоих фокусов мы очень далеко уедем. Я бы тебе сказал, кто ты!

— А что же так скоро? — удивился он. — Все в порядке?

— Иди ты знаешь куда...

Он вдруг подумал, что Леня еще мальчик, откуда ему знать, как избавляться от женщин, которые так

глубоко проникают. И чтобы не расхохотаться брату в лицо, накинута с упреками:

— Сопляк! Щенок! Какого черта было лезть в чужую постель? Какого черта было раньше трепаться о бабах?

Леня ушел к себе, снова замкнувшись на ключ, а он лег с Ольгой и хохотал до утра. Просто живот сводило судорогой, до того это было смешно.

ШАМЕС КАЖГАРКИ

В то утро разбудил меня прерывистый чахленький кашель нашего «москвича». Едкая копоть набилась в комнате, и я не выдержал:

— Закрой окно, папа!

За решеткой тотчас показалось его взмокшее, разгоряченное лицо.

— Ты проснулся? Очень хорошо! — закричал он. — Как ты себя чувствуешь?

Тут я пожалел, что подал голос.

— Сын, — положил он руку на сердце, — выйди, помоги мне.

— У меня разойдутся швы, папа. Оставь меня в покое.

— Нет! — воскликнул он. — Толкать машину не надо. Ты слышишь, она работает. Поди, открой мне ворота. Открой и закрой — и это все!

— Тебе плевать на мои раны!

— Сын, не говори так. Мне в тысячу раз больнее беспокоить тебя!

Подняв костыли с пола, я вышел во двор.

Отец сидел уже за баранкой, пробуя газ холостыми оборотами мотора. Машина билась и вздрагивала.

— Куда ты в такую рань? — спросил я.

— На Кажгарку! — просиял он.

— В эпицентр?

— Да, я привезу сюда синагогу!

И он выехал в переулочек. На дороге стояли кровати и раскладушки — соседи наши спали еще. Пыль и копоть поднялись в переулке, когда, лавируя между кроватями, отец выезжал на Пушкинскую. Было рано, часов пять, солнце еще не вставало.

Он вернулся к полудню, когда за окном плескалась безумная жара.

В машине рядом с отцом я увидел белую, легкую бороду шамеса Ицхок-Меера, печального шамеса с пострадавшей Кажгарки.

«Москвич» был забит свитками Торы, книгами и узлами.

Я открыл им ворота, и они вкатили во двор.

— Все! — облегченно вздохнул шамес. — Слава Богу, уже мы на месте.

Отдуваясь, он снял с головы тюбетейку и вытер лоб. Чесучевый пиджак был накинута на голую грудь, под мышками лежали бурые пятна пота.

— Ув-ва, ратуйте, хавер. Дайте стакан воды!

— Мы мокрые, как из бани, — заметил отец. — Потерпите капельку, я сделаю чайник крепкого зеленого чая.

Шамес стал подозрительно озираться. Он увидел кривые стены дома, рамы с осыпавшимся стеклом. Землетрясение продолжалось целую неделю, толчки следовали один за другим, поэтому двор наш походил на свалку строительного мусора.

— Ну? — горделиво воскликнул отец. — Как вам здесь нравится?

Шамес закрылся от солнца морщинистой ладонью и пошел вдоль дома, потрескивая штукатуркой, точно яичной скорлупой.

— Тоже опасно, — сказал он. — Тоже аварийно. Но вы отделались удачей всех. Ваше счастье, что вы живете не на Кажгарке.

— Какое счастье? — огорчился отец. — Взгляните, как покалечен мой сын!

Шамес окинул меня сострадательным взглядом.

— Сто двадцать лет жизни и самого крепкого здоровья, мой мальчик!

Отец благодарно улыбнулся и спросил:

— Как вы думаете, ребе, Бог остался жить в этом доме?

— Что вам сказать, хавер. Бог не пощадил даже синагогу!

Тогда отец бережно взял старика под локоть.

— Не будем стоять на солнце, идемте же смотреть наше новое помещение.

— Да, да, идемте. Где моя палка?

Отец бросился к машине и выволок увесистый саксауловый посох. И оба они пошли на кухню, на задний двор.

Вскоре они пришли в мою комнату. В руках у отца был чайник и три пиалы. Мы сели пить чай.

— Да, — начал отец, — страшен наш Судный день. В глазах шамеса стояли мутные старческие слезы.

Бог насылает несчастье, чтоб людям было над чем задуматься.

— Чтоб я так жил, ребе, как вы правы, — согласился отец.

— Он судил нас в одно мгновение, все имущество пошло прахом.

— Не постигнуть путей его!

— Нет! Мы забыли о Боге! — воскликнул шамес, и огоньки библейской ревности загорелись во взгляде. — Мы копили имущество, мы клали труды свои на пустое. Недаром учит предание: сердце человека там, где его сокровище!

— Чтоб я так жил, ребе, как вы открываете нам глаза.

— И вот, взгляните, — ничего у нас не осталось! А только душа! Душа! Бездонный кладезь и истинное сокровище. Теперь мы знаем, где надо держать свое сердце. Пусть все соберутся в первую же субботу, пусть каждый очистит свое сердце.

Был май и была суббота — суббота молитв и восхвалений, и к дому нашему потянулось шествие.

Первым в мое окно постучал дядя Шломо, мясник с Алайского базара, человек с разбойничьим басом и веселым нравом. Он лег животом на подоконник, заглядывая в прохладные недры комнаты.

— Босьяк, ты ищешь себе приключений? Почему ты валяешься в комнате? Это опасно. Иди на улицу.

— Там можно сгореть на солнце, — сказал я и позвал его к себе.

Он вошел и сел на кровать.

— Что случилось с твоей ногой?

Я показал ему трещину в стенах, зигзаги на потолке.

— Ого! Теперь я вижу, что за кусок потолка на тебя свалился. Молись Богу, вместо ног тут могла быть твоя голова.

— Молюсь, дядя Шломо! — И я поймал его руку. — Я всю неделю прикован к кровати, не знаю, что в городе происходит. Умоляю, расскажите, что у вас, как семья, как дом?

— Хорошенькое дело, он не знает, что в городе происходит!

Обхватив колено руками, раскачиваясь, дядя Шломо стал рассказывать, как в роковую ночь первого,

самого страшного, толчка они чудом успели выскочить на улицу.

— Страшно ли было?

— Не то слово! Ты видел небо над городом? Все подумали, что атомная бомба. Но, слава Богу, всего лишь землетрясение. Профсоюз выдал палатку. Теперь живем на дороге. А дом пал, и пал по самый цоколь. Жить на дороге не совсем уютно, однако человек привыкает к чему угодно. Теперь послушай о моей хозяйке, у которой снимали квартиру. Послушай об этой вздорной бабе и ты скажешь, что это анекдот. Так нет же, чистейшая правда! Она завела себе манеру каждое утро являться в палатку и требовать у нас деньги. Задай же вопрос: за что? Квартплата! Но дома же нет, кричу я. Нет дома, сумасшедшая женщина, кричит вся улица. А она стоит на своем. Вы, дескать, у меня прописаны...

В окно постучали. Дядя Шломо вышел встречать гостя. Они обменялись во дворе субботними пожеланиями и ушли на кухню. Прибывали еще старики. Прибывали парами и в одиночку, и я отсылал их на кухню. Я сгорал от любопытства: каждый из них заключал в себе уйму городских новостей. Но завязать разговор с ними было невозможно. Они обменивались со мной дежурными фразами, точно с диспетчером, и, таинственные, шли дальше.

Вскоре я увидел отца. Хватаясь за подбородок, нервничая, он ушел за ворота и долго отсутствовал. Потом вернулся, зашел в мою комнату.

— Сын, — сказал он. — Отнесись к этому серьезно.

— Да, папа!

Тогда он стал давиться от смеха.

— Скандал! Мы не можем начать без десятого, нет миньяна, собралось только девять. Я обошел все улицы и не сумел заманить к нам ни одного еврея. Иди спасать компанию, иначе мы опозоримся.

— Что я там должен делать?

— Зачем «делать»? — обрадовался он и стал тянуть меня с кровати. — Ты будешь сидеть, как в театре.

Когда мы вышли во двор, он оставил меня и помчался к кухне.

— Ну, Мотл, нашел кого-нибудь? — крикнули ему с нетерпением.

Отец показал на меня через плечо.

— Пусть уже будет так, — согласился шамес. — Евреи, постройте ему голову.

Из кухни передали табурет. Дядя Шломо поставил его на пороге.

— Садись, босяк, ты все равно сбежишь через пару минут!

Отец вздел на меня замусоленную фуражку и отошел, любуясь моим видом. Стариков это сильно развеселило.

— Еврей-и-и, не устраивайте балага-а-н, — скорбящим тенором пропел шамес, пробуя голос. — Сосредоточимся, еврей-и-и.

Возня вокруг меня разом кончилась, все заняли свои места. Первое безмолвное качание тел всколыхнуло спертый, маслянистый воздух кухни, в помещение проник длинный луч солнца, в его свете поднялся маленький шамес Ицхок-Меер. Я увидел павшую на грудь бороду, услышал торопливый шепот мокрых, малиновых губ.

— Слышишь ли Ты, ужасное, чего ужасались, постигло нас, чего боялись, пришло и свершилось! Слышишь ли Ты, льется плач наш, как льется вода, нет покоя нам, нет отрады! Чрево земли дрожит под ногами нашими, точно зверь!

Смыкался теснее круг за столом, сидящие навзмыв подхватывали и возносили молитву шамеса. Вот поднялась неземная скорбь, поминая муки нечестивой Гоморры. Закрутились огненные смерчи, побивалось камнями грешное место. О, безутешная скорбь Гоморры — давно отошедшие муки. Все поминалось людям, все восхвалялось небу. Дело Гоморры шло как вступление, тут он не спорил, нет. Дело прошлого — урок и назидание. И шамес скоро покончил с ним. И тут борода его вскинулась остреньким клином, сжатые кулаки забили над головой. Он взялся просить за свой город, защищать его и отстаивать.

— О, Ревнивый, искал ли Ты десять праведников, прежде чем покарать этот город? Милосердный и Благий, мы не так дерзки лицом и жестки выей, не отпусти нас от лица Своего ни с чем! Открой врата и услышь молитву нашу. Да, мы грешили, кривили, злоумышляли, отступали от заповедей и судов Твоих. Ты прав во всем, что постигло нас. Ты творил правду, а мы ее осуждали. Отступись от ярости гнева Своего, преклони ухо Свое и услышь! Мы не забыли имени

Твоего, не забудь нас и Ты, Господи! Вспомни жизнь нашу, что подарил нам — дуновение Овое! Взвесь же вопли мои и положи их на верные веса!..

Тяжелые испарения скатывались к моему порогу, дурманя мне голову. Солнце отчаянно распекло затылок. Я чувствовал близость обморока. И чтоб не свалиться со стула, подобрал костыли и поднялся. Тут я услышал, как в глубочайших подземных недрах родился жуткий рокочущий гул, знакомый гул катастрофы. Разом завыли собаки, закричали кошки. В соседних дворах закричали люди. Над миром занеслась рука разрушения.

— Папа! — заорал я. — Бегите, сейчас будет!..

Ужасающей силы гул выкатился на поверхность. Земная твердь дрогнула и всколыхнулась.

Первым показался из кухни шамес Ицхок-Меер. Я увидел напряженные от ужаса глаза, сжатые над головой кулаки. Он с маху упал на тубурет у порога и, путаясь в нем, откатился в сторону. Это спасло его — не откатись он подальше, остальные затоптали бы его. Стариков выносило из кухни единым мощным порывом, и они рассыпались по двору, подальше от стен. Последним бежал дядя Шломо. Он сгреб шамеса на бегу и отнес его к нам. Еще один толчок, силой чуть меньше первого, приподнял нас, точно под ноги забегала морская волна, и все стихло. К небу поднимались столбы пыли и праха, но страшная минута уже уходила.

Старики стали приходить в себя, переглядываться. Вот ожил шамес, боль вернула ему память. Он сел на землю и горько, беззвучно заплакал.

— Человек умирает! — воскликнул отец. — Бегите звать скорую помощь!

И двор мигом пришел в движение.

— Где телефон, Мотл? — выступил старик с пейсами.

— О, Берл, сразу же за углом, в начале переулка. Бегите же, Берл!

Сойдясь к шамесу кольцом, мы стали укреплять его на гнувшихся коленях. Принесли злополучный табурет. Шамес сел и успокоился.

— За что я принимаю такое?

— Успокойтесь, успокойтесь, — говорили ему.

— С моим здоровьем можно кончиться каждую минуту.

— Ребе, не делайте панику, у нас тоже слабое сердце и слабые нервы. Мы тоже старые люди.

— Сколько могло быть баллов? — спросил он.

— Пять-шесть, не меньше, — ответил дядя Шломо. — Я чувствую их, как сейсмограф.

— Евреи, — заволновался шамес. — Я должен бежать домой, узнать, что с моим домом?

— У вас нет дома, у вас палатка, — сказали ему. — У нас тоже нет дома. Успокойтесь, ребе, успокойтесь.

— Евреи, не успокаивайте меня, — закричал он. — Соберите лучше свои вещи. Смотрите, как валяются они по всему двору.

— Ребе, прекратите истерику, — вставил дядя Шломо. — Нельзя ходить по двору, нельзя приближаться к стенам. Не будьте ребенком, ребе.

Во дворе показался старик Берл, отец кинулся к нему навстречу.

— Ну, Берл, с чем вы идете, вы дозвонились?

— Да, сейчас они будут здесь!

Берл увидел шамеса, сидящим на табурете, здоровым и невредимым.

— Что это значит! — возмутился он.

— Ой, Берл, — снова захныкал шамес, — мне плохо!

— Ребе, вы артист, приедут люди, мы наживем себе неприятности!

— Не говорите так, Берл! Вы понятия не имеете, как мне больно и горько. Давайте скорее врача, давайте кого угодно.

Вступился отец.

— Не нападайте на него, Берл. С ребе была истерика.

— Но приедут же люди, что мы им скажем?

— Мне будет им что сказать, — заметил шамес.

Отца это озадачило, он стал чесать подбородок.

— Вы дали правильный адрес, Берл?

— В лес они не поедут.

— Берл, — сказал он, — доведите свое дело до конца, их надо встретить на улице.

И все с облегчением отправили Берла за ворота.

— Хаверим! — воскликнул тогда дядя Шломо. — Ребята! — сказал он, и слабые тела стариков молодцевато вздрогнули. — Исполним же нашу субботу до

конца, исполним по всем законам. Давайте поставим стол, давайте поставим стулья!

Мы снова пошли на кухню. Там все было завалено кирпичом и штукатуркой. Стены дали новые трещины, с потолка свисали камышовые циновки. Войти туда отважились двое: отец и дядя Шломо. За ними еще двое. Действуя осторожно, по-воровски, они вынесли стол. Его поставили под навес, рядом с «москвичом». Разместившись цепочкой, стали передавать стулья. Пропыленный с ног до головы, ко мне подошел отец.

— Сын, — сказал он, сияя, — ты приглашен править застолье нашей субботы, кидуш друзей. Идем, ты поможешь мне.

И он потащил меня в дом. Здесь тоже были следы новых разрушений, но не такие, как на кухне. Дом наш держался отлично. Мы смахнули с буфета штукатурку и стали ворошить груды битой посуды. Потом открыли холодильник, там были бутылки с вином и закуска. Мы пошли к столу.

— Бог не оставит нас, — сказал дядя Шломо и взялся распечатывать бутылки, вспотевшие обильной слезой. — Наполним стаканы, евреи.

И в наступившем молчании кто-то крикнул:

— Лехаим, ребе! Скажите нам слово.

Сильно распахнулась калитка, во двор влетела тонкая, стремительная женщина. За ней поспевал Берл. При нем был сундучок с красным крестиком.

— Пир горой! — удивилась она. — Пир во время чумы!?

Стариков это сильно развеселило.

— Кому вызывали карету?

Берл выбросил палец в сторону шамеса. Тот стоял со стаканом вина, в другой руке он держал бороду. Шамес тоскливо глядел через забор, где виднелось футбольное поле.

— Вам, дедушка?

— Добрая женщина, — начал шамес и отпустил бороду, — скажите, вы еврейка?

— Нет! — призналась она. — Армянка.

Шамес снова посмотрел на футбольное поле поверх наших голов. Сильнейшее напряжение мысли читалось на его лице.

— Женщина, у вас доброе лицо и доброе сердце, — сказал он. — Доброе сердце, которое вы держите в доме скорби и плача. Я — шамес, я тоже держу свое

сердце в таком доме. В каком-то смысле мы с вами коллеги.

— Интересно! — ответила врач, пытаясь постичь нашего шамеса.

— Послушайте старого человека, который наставлял многих, который поднимал падающих. Сегодня дошло до меня, и я изнемог. Но вспомнил я, как сказал Давид Гаду: к руке Господа припаду, ибо велика милость Его. Но к руке человека не припаду. Бог нас наказывает, Бог излечит. И пошлет исцеление надеющимся на милость Его...

— У меня подряд три срочных вызова, — перебила врач. — Если вы взялись морочить мне голову, я поворачиваюсь и ухожу.

— Да, добрая женщина, уходите. Вас ждут люди. Не осуждайте меня.

И шамес вышел из-за стола, взял сундучек у Берла и пошел проводить ее до ворот.

— Вы артист, ребе, — дражливо заявил Берл, когда тот вернулся. — Мы наживем себе крупные неприятности.

— Ой, Берл, — вздохнул шамес. — Почему вы такой темный? Такие, как вы, приходят из тьмы и уходят во тьму. Есть и другая радость, не только сидеть вместе и пить вино.

— Берл! — разбойничьим басом крикнул дядя Шломо, — вы взялись омрачить нам субботу?

Шамес снова подошел к столу.

— Еврен, — сказал он, обойдя нас взглядом, — в эти дни Бог разрушил наш временный дом — Кажгарку. Да, но Он не оставит нас, ибо на все есть время, на все есть расчет. Он разрушил Кажгарку, чтоб нам не было за что цепляться, чтоб взоры свои обратили мы на Иерусалим. Там сокровище нашей души, туда нас ведет дорога. В содомский этот час давайте увидим свое предназначение. Нет, не за грехи нас постигло наказание, а в награду. Ведь только в несчастье открываются людям глаза. Пусть же силы не покидают нас, пусть бодрой остается душа наша, и будем прощать друг другу обиды свои.

И мы ударили своими стаканами и дружно выпили.

БОКСЕРСКАЯ ПОЛЯНА

Тут я, евреи, с притчи одной хочу начать: с какого конца тут ни начни, — все равно мне этой притчи о рыбке не миновать.

Итак, жила-была, как говорится, одна маленькая рыбка, и все она истину по миру искала. И услышала однажды, что жить могут рыбы исключительно в воде, без воды, дескать, сразу им смерть наступит. И с тех пор крепко наша рыбка задумалась: а что же такое вода? Существует ли это на свете? А если да, то где же? И у кого бы она это ни спрашивала — никто ей толком не мог ответить. В конце концов посоветовали спросить у одной древней и умной рыбы, что обитает в мрачных пучинах океана. Приплыла к ней рыбка, и та ей говорит: «Вода — это вода, это то, что всегда вокруг нас, чем мы дышим и существуем...»

Вот и вся притча, евреи, а теперь поехали дальше.

Стою я как-то на Пушкинской, возле почтамта, жду четвертый номер автобуса, тот, что следует в сторону сквера Революции. А голова у меня полна Израилем.

Стою, значит, на остановке, постигаю август, последний мой август в этой стране: счастливый, понятливый, очень такой задумчивый. Лицо мне овекает прохладный ветерок, на асфальте тени карагачей лежат. Вы ведь знаете, что с человеком происходит, когда входит в него Израиль. Тут и спрашивать тебя не надо: есть Бог на свете, или нету Его? Вместе с Израилем и истина в тебя эта входит. Тут ты, точно рыбка та самая маленькая, сразу видеть начинаешь, чем дышишь и существуешь. Ну и воспринимаешь все совершенно иначе...

Подходит мой автобус, как и положено, — битком набитый публикой.

Все кидаются к задней двери, очень такие шустрые.

«Да, — говорю я себе, — так ты, брат, не уедешь!» И и захожу в автобус с передней площадки.

Захожу, достаю пяточок из кармана и прошу передать кондуктору.

И вдруг через всю эту сельдь в бочке, через головы и фуражки, различаю на том конце Семеньгча! А он тоже меня заметил, тоже весь вострепенулся, бедный.

— Давай сюда, — замахал я ему. — Сюда пробирайся, тут у меня свободней!

А сам замечаю: лицо у него какое-то новое, не такое, просветленное что ли! Сразу мне это в глаза бросилось, понравилось сразу. Шесть лет человека не видел, как же он хорошо изменился! И радуюсь потихоньку, как дурачок: неужто и он стал видеть воду вокруг себя? Воду и Бога!? Ну просто бери да посылай человека тут же в Израиль!

Что ни говорите, евреи, а милостив Бог был со мной: со всеми дал свидеться напоследок, попрощаться. Слово сказать сердечное. Казалось бы, канули дорогие друзья в небытие, давно разъехались каждый в свою судьбу и сторону, и больше никогда тебе не увидеть этих людей, прошедших некогда через прошлое. Ан нет, и Генка Белов напоследок точно с неба свалился, и Селика Адамова повстречал, и Галочку Яниковскую, и даже Валерию Павловну, первую учительницу свою. Сто лет не встречал старушку, а тут возьми она да появись! И вовсе не чирикал я на каждой крыше, что в Израиль уезжаю, а так получалось, будто сама рука судьбы добрая приводила их ко мне. Так вот и Шурик Семенов возник в автобусе...

Даже отсюда, из Иерусалима, могу я вам сказать сейчас приблизительно, где они все, и чем в этот час занимаются. Генка, скажем, Белов — этот в Голодной степи своей околачивается с рейками и теодолитом, Селик Адамов — по-прежнему в Мирзачуле, борется за возвращение крымских татар на родину. А если не в Мирзачуле Селик, тогда в Москве — петицию очередную привез в Кремль передать, больше ему и негде там быть. Галочка — в Туапсе живет, вышла замуж. Выходит вечерами на мол, к морю, слушает волны, вспоминает любовь нашу, думает обо мне: как я тут в Иерусалиме, и не съели ли меня арабы? Зато Шурик Семенов никуда уже не пойдет и не поедет, и ничего с ним случится не может. Этот на кладбище лежит. На

кладбище мой Шурик лежит, под лессовой пылью и колючками. Очень там кладбище неприглядное, без цветов и кустика зеленого.

Да, евреи, поскольку мы уже здесь, в Иерусалиме, согласитесь со мной и ответьте: разве выбросишь всех этих людей из памяти, когда видишь у них напоследок такие замечательные лица? И идут они к тебе в автобусе, дико работая локтями, навсегда попрощаться, совсем, совсем попрощаться. А за эту минуту в тебе успевает прокрутиться километров тысяча киноплёнки из самых разных лет...

Вот хотя бы одно из самых ранних воспоминаний: второй трамвайный маршрут через Алайский базар. Звенит, грохочет трамвай, как бешеный, а на заднем вагоне, на бундере болтается шкет лет восьми. Это Семеныч. И прижимает к себе скрипочку в футляре. Так он ездил на уроки в музыкальную школу — исключительно на бундере. Скрипачем особенным я его не знал, зато на рояле он шпарил потрясающе. На всех вечеринках гвоздем программы был, гвоздем любой «конторы». У них дома стоял рояль красного дерева — отец из Германии привез после войны в качестве трофея. Отец его чуть ли не целый вагон пригнал трофеев из Германии... Шурик и меня вечно тащил кататься на бундере, обучил соскакивать с трамвая в любом месте и на любой скорости.

В детстве я слыл неплохим кулачным бойцом. Только Семеныча да Вовку Столбова мне так и не удалось поколотить ни разу. Вовка Столбов, этот, скажу прямо, врезал мне в глаз здоровенным, мужицким своим кулачищем со страшной силой, и я свалился в пыль, суча ножками, и визжал так, что и сейчас вспоминать позорно. А с Семеньчем мы стучались в школе чуть ли не на каждой большой перемене — первого места поделить не могли в классе. Он владел широкой стойкой с низкой посадкой, и так нырял под вашими кулаками, что попасть ему по сопатке было абсолютно невозможно. Очень уж аккуратнo нырял он.

Однажды он спас мою жизнь, это, скажу я вам, без дураков. Если бы не Семеныч, я бы запросто отбросил тогда лапти в Доме коммуны. В ту пору нам было лет по десяти. Каждое утро я приходил на Ниязбекскую добывать в очереди буханку хлеба. Помните, какие это были очереди за хлебом? Добывал в невероятных подвигах каждое утро буханку и после заходил за корешем.

Они жили как раз на углу Полторацкого и Ниязбекской, напротив магазина. Отец его, бывший полковник, состоял после войны директором хлебозавода, так что добра этого у них всегда было вдоволь; чурека, булочки, сойки с изюмом. И шли мы в Дом коммуны. Во всем свете нет такого сволочного бассейна, что был тогда в Доме коммуны. Скорее не бассейн, а резервуар круглый и огромный для всяких пожарных нужд. Он был круглый и весь из бетона, и вода лежала там глубоко внизу. Вела же к воде вертикальная лесенка длинная. Шурик и тогда был классный пловец: разбегался, нырял прямо сверху и плавал в свое удовольствие. А я клял свою буханку на бетонный бордюр и сползал к воде, только что окунаясь, дрожащий кретин. Но однажды, подыхая от зависти, оттолкнулся изо всех сил от ненавистой железяки и повлекся далеко на середину. Когда же захотел назад, оглянулся, то опупел от ужаса. И в тот же миг прекрасные, смарагдовые воды этой гнусной лужи сомкнулись надо мной, и я отправился погулять на дно. Шел я туда камнем, с открытыми глазами, полными смертного страха, поэтому отлично запомнил на всю жизнь, какого цвета была там вода в разных слоях. Семеныч извлек меня на поверхность, долго откачивал. Там и кричать о помощи было некому, бассейн этот стоял на самом отшибе.

Теперь я понимаю — больше всего на свете Семеныч любил воду и плавание. Ну, и бокс, конечно. В воде и явился ему лик Божий.

Хотите верьте, хотите — нет, но именно Шурик нырял в водопад на Анхоре. Я так и не слышал, чтоб, кроме него, кто-нибудь проделывал то же самое. Нормальному человеку такое и в голову прийти не могло. Я думаю, не заговорен ли уж был он от воды до часу своего рокового? Сам знал это, потому и был так бесстрашен на водопаде.

В самый жгучий день вода на Анхоре была ледяная, как кипятки. Река питалась от ледников на Тянь-Шане, ей и положено было быть такой. На Анхоре всегда гуляла куча народу, Шурик уходил вверх по течению, выплывал на середину и отдавался неотвратимой тяге. Каждый летний день я видел этот фокус его и каждый раз умирал со страху. Лавина воды, набирая могучую скорость, начинала стремительно приближать его голову к водопаду, народ принимался вопить

на берегу, а он им только смеялся. Потом разом исчезал в клочьях бешеной пены, брызгах и в высокой радуге, и появлялся через несколько минут далеко внизу, под старой ивой над обрывом. И как его только выносило оттуда живым — этого я никогда не пойму.

В тринадцать лет я выпил свой первый стакан водки.

Прекрасно помню тот сентябрь, афиши по всему городу о предстоящем осеннем карнавале... Долго мы мозговали: во что бы нам в тот день нарядиться? Все началось со шляп. Он притащил две шляпы фетровые, одинаковые, нашлись два пиджака одинаковой масти, брюки, нацепили мы галстуки. А потом, как два близнеца, как пара пижонов, двинулись на городской карнавал. Мать моя, да и все соседи, помню, глядя на нас, умилялись — до чего же по-взрослому в этих шляпах мы выглядим. И нам это было жутко приятно. Потом решили проверить это на Кажгарке. Вошли в пивную и заказали два по двести. И нам поднесли и налили, не морнув и глазом. Первым пил Шурик, и пил мастерски. Потом я — эту теплую, бесконечную мерзость. Ни на какой карнавал мы уже не попали тогда. Я вообще не помню, кто нас приволок с Кажгарки домой.

Однажды я предал своего лучшего друга, оставив его на верную смерть в руках бандита. Шурик ни разу не напомнил мне этого, не попрекнул. Зато совесть грызла меня до самой его смерти, до поминок по нем в кафе «Лебедь». Я расскажу вам об этом малость попозже, когда мы отнесем его гроб на кладбище и будем сидеть в том самом кафе. Там будут петь грустные песни, будет играть оркестр в углу, на пятачке, а я возьму микрофон и начну исповедоваться перед его портретом...

Водопад на Анхоре, и водка, и бундер со скрипачкой — все это из очень далеких воспоминаний. Потом Семеныч обучался на геолога в Политехническом институте. Тогда же я привел его в секцию бокса, и бокс у него сразу пошел. Он вообще был прирожденным спортсменом. Курил и пил он, как сумасшедший, но это ничуть ему не вредило. В самом изнурительном бою он дышал все три раунда лучше любого из нас. Мышцы же у Шурика были, как у быка. В тот вечер, когда я плакал в кафе «Лебедь» у его портрета, сидел рядом с нами и тоже пил водку один странный, непонятный тип. Он все показывал нам толщину Шурикиных мышц

на спине, прикладывая зачем-то одну ладонь к другой. А я был невероятно смурной и пьяный, и все никак не мог сообразить, почему он это показывает с такой точностью. И вскоре прозрел — Шляк шепнул мне, что эта гнида служит прозектором в морге и лично вскрывал труп. И я так прозрел и все это понял, что чуть не сбилевал прямо на стол. Потом еще горше заскулил над портретом. Хорошенькие были поминки — лучше некуда.

Пока Семеныч ворочал локтями в автобусе, продираясь ко мне, я и последнее вспомнил: пошел он служить в армию, попав в какие-то спецчасти под Москвой, и страшно был засекречен. Даже писем не писал домой. А я все думал: спортсмен, смельчак, с высшим образованием — на таких, как на лакомый кусок, кидаются в военкомате. Вот же повезло человеку! Чего это он там под Москвой постигает?! На кого обучается? Конечно же, на разведчика в загранку...

Следующая за почтамтом остановка — Первомайская. Здесь мы из автобуса соскочили и крепко обнялись.

Сначала я так и думал, что Шурик стал важной секретной птицей, и ничего не сказал ему про Израиль. Он так и не узнал, бедный, что я туда еду.

Глядел я ему в бледное, проясненное лицо, глядел в глаза, где лежала тяжелая грусть и неведомая мне вина. Рассказ его был тих, а в голосе уже не слышались знакомые мне натиск и удаль.

Сначала я здорово растерялся и стал с большим почтением думать о спецчастях, если им удастся делать такие лица, глаза и голос. Ну просто бери и посылай человека в Израиль. Но быстро все раскумекал.

...Служил под Москвой он недолго, и был переброшен вскоре в Среднюю Азию, в дивизию генерала Садрединаова. Это не конвой и не обычное этапное сопровождение. Служба здесь значительно деликатней. Взбунтовался, к примеру, какой-нибудь лагерь в пустыне или в тугаях дельты Аму-Дарьи, — моментально тревога по дивизии, и высаживаются вертолетами прямо на объект. Настоящая военная операция: с танками, вездеходами, тяжелым оружием. Лагерьей же в Средней Азии уйма, и всех их дивизия Садрединаова курирует. Это отсюда, из Иерусалима, вы можете по целомудрию своему воскликнуть: ну кто это там обитает, в Каракумах, да Кызылкумах: пески, саксаул, верблюды?! Э, нет,

евреи, будьте уж тут спокойны, я эти пространства вдоль и поперек испаркал. Там тебе руднички урановые со смертниками по приговорам, прииски золотые в окрестностях Заравшана, соль, медь, уголек... Вода у них привозная, гнилая, солнышко круглый почти год до жил и черной кости тебя иссушает. Самумы, бури песчаные, а пища — песок на зубах. Тут не только что бунтовать, тут вообще люди память теряют в безумии. Я эти призраки видел за колючими проволоками.

Слушаю друга я, смотрю в лицо его новое, хорошее, и все у меня концы с концами не сходятся: души его пробуждение и — дивизия Садрединова. Стоим мы с Шуриком у гастронома, на остановке. Как из автобуса вышли, так и стоим. Дует нам ветерочек прохладный, слышится запах арбузов, инжира и дынь со стороны Алайского базара. Курим, как сумасшедшие, и он продолжает:

...Садимся мы как-то ночью под Тамды, заскакиваем прямо в зону. А они в нас палками, камнями. Подняли мы их баррикаду возле ворот, и «калачами» направо-налево жарим. Тут ведь себя не помнишь, пьяные все в дупель. Смотрю, чешет впереди меня фигура, в барак от огня скачет... Бежит от тебя человек, чего еще, спрашивается, надо? А я вот взял — и очередь по ногам. Подлетаю к нему, кричу: «Беги, беги, сучье вымя! Беги...» А он ползет от меня с ногами перебитыми, хвост кровавый пускает. Потом оборачивается — все лицо в слезах: «Да бегу же я, бегу... Не видишь, что убегаю? Будь ты проклят, палач мой! Чтоб шею тебе сломало!» Тут я его еще раз из «калача» ударил, развалил пополам...

Помолчал Шурик, еще сигарету запалил. Курим, стоим. Вижу — боль у него в глазах. И понял я эту боль его. Повздыхали оба. А я не тороплю его: чего тут торопить друга? Очень я все это увидел... Стоим, нюхаем дыни со стороны базара.

...Сразу и захворал я вдруг после этого, нервы хорошие появились. По врачам пошел, смотаться хочу из дивизии. А ты ведь знаешь, как они отпускают человека из подобных заведений? Туда-сюда суюсь, никак не хотят списать: целый снаружи, моча с калом первоклассные анализы дают... Наконец комиссовали. Амба на этом, расплевались, как говорится, с Садрединовым. Что-то новое начинать надо...

Там же, у гастронома, мы и распрощались с Семейным.

Посоветовал я ему снова в геологию уйти: экспедиции, дальние маршруты и всякое такое: авось помаленьку все и забудется. Или женись, говорил я ему, на девушке доброй, а она тебе деток произведет. Знаешь, сказал я ему, какая это пристань отдохновенная — семейная жизнь?! За тобой ведь, помнишь, девки какими грандиозными косяками бегали...

А сам думаю: ну и тайга, ну и джунгли! Господи, отнеси Ты меня подальше отсюда, да поскорей!.. Вы ведь помните, чем у меня голова забита была тогда?

Дня, кажется, через три, не более того, летел я в первом попавшем такси на Театральную. Летел, как угорелый, пытаюсь понять страшный смысл коротенькой бумажки в руках: «Утонул Шурик Семенов, приезжай на Театральную, Шляк, Литас.»

Весь день я бегал по городу в хлопотах по еврейским своим делам. Помните наши хлопоты перед отъездом? А вечером, когда притащился домой, жена и вручила мне эту бумажку.

«Театральная» — было понятно. Там получили они другую квартиру после землетрясения, когда начисто развалило весь район Ниязбекской. Сейчас и места того не найдешь, где были хлебный магазин, Дом коммуны, и тот бассейн со смарагдовой водой.

«Шляк и Литас» — тоже дошло: боксеры из сборной команды республики, все мы были одной бражки, дружили...

И все, больше и ничего не понимал. Ну просто отказывался понимать.

Знаете этот коротенький рассказ из Агады про мальчика и голодных работников? Очень поучительная история, я вам его коротко повторю.

У одного человека был большой виноградник, и нанял он однажды работников оборудовать его малость: землю перекопать, ветки подрезать сухие. И каждый день, ровно в полдень, привозил им пищу. Сынишка же его малолетний тоже трудился на винограднике вместе с работниками этими. В один прекрасный день задержался хозяин с обедом и вовремя не приехал. Проходит час, два проходит — рассвирепели работники голодные, набросились на ребенка: «Давай нам еду немедленно, иначе убьем тебя на месте!» Испугался мальчик и взмолился к небу всеми силами души: «Господи,

видишь, убивают меня ни за что эти люди? Хоть бы Ты накормил их чем можешь!..» И чудо случилось: на пальме финиковой, что росла поблизости, вдруг цвет возник, плоды завязались и в тот же миг созрели.

Рассказик этот вполне со счастливым концом, как видите. И мальчик жив остался, и эти работники нечестивые насытились. Но соль-то совершенно в другом: как скоро слышит Божье ухо каждый вопль невинного и несчастного! Вот о чем думал я над бумажкой Шляка и Литаса. И содрогался, сидя в летящем такси, все в голове смешалось: рыбка маленькая, финики на пальмах, зэк, разваленный пополам...

В ту ночь он оставался еще в морге, домой привезли его утром.

В большом дворе на Театральной было много беседок, благоухали розы в обширных клумбах, качались купы акаций. Было темно во дворе, люди сидели в беседках из плюща и виноградных лоз.

Здесь я увидел столько знакомых, что никакой отъезд в Израиль не собрал бы их мне: все боксеры городские, все однокашники. Они грызли семечки, были бледные, и курили, как лошади.

Я вытащил из беседки Шляка и отволол его под темную акацию: разузнать, как же это случилось!?

Утонул Шурик на Анхоре. И вовсе не на водопаде, а много выше. Утонул, погиб или попросту был убит — это сказать трудно, сами судите. Через мост, на другом берегу есть маленькая поляна, вся в зеленой траве и ромашках, а у самой воды — трамплин. Каждый купальный сезон мы складывали этот трамплин из камней, штукатурили глиной покатую его поверхность. Здесь мы купались еще пацанами всегда, сюда же приводили своих девушек, а после — купались и с женами. Сюды бы, кажется, мы и стариками всю жизнь приходили. Так и называлась она — Боксерская поляна. Мы его навсегда застолбили.

Утром купались там Шляк и Литас с женами. Их жены сидели сейчас в беседках и тоже грызли семечки и курили... Потом пришел Шурик. Разделся быстро, разбежался, взлетел на трамплин и чистой такой «ласточкой» обозначился в воздухе. С берега они видели, как ушли в воду его руки, голова, плечи, и вдруг тело как-то странно сломалось, будто Шурик на стенку налетел. И пропал... Сразу им это не понравилось и показалось подозрительным. Но подумали — шутка. Ни-

каких стенок напротив трамплина там быть не могло и сроду не бывало. А кроме того, всем известно было, что он с водой черт-те что вытворял. Он мог нырнуть и целый год не показываться. Вы здесь на берегу начинали со страху икать, а он, гад, идет себе спокойненько со стороны кирпичного завода... Особенно, если женщины на поляне сидели. А жена у Шляка — невъобразимая красotka, при ней не то чтобы «ласточкой» прыгать, при ней сидеть да выть хочется.

Потом я тоже сидел вместе со всеми в беседках и грыз семечки. До самого утра сидели мы так в беседках.

Подняться к его родителям на третий этаж — на это я решиться никак не мог. Я был бы последней скотиной, покажись им сейчас. Ведь именно появление близких друзей покойного всегда вызывает у родных жуткие припадки и слезы. С первого класса мы были с Шуриком неразлучно вместе. Они бы с горя умерли, поднимись я к ним, если вообще были живы еще там.

Утром я чуть не чокнулся. Любой бы чокнулся на моем месте, узнай он то, что я знал.

Лежал он в гробу весь изувеченный. Не приведи Господь увидеть вам такую шишку лиловую, что была у него на голове. Она была как еще одна голова на нем. Но к этому я сумел еще подготовить себя за ночь в беседке. Угадывался на нем рисунок ушей, тонкий красивый нос... Из этого носа я старался пустить красную юшку в детстве. Узнавались его губы, которые так нравились девушкам... Но не от этого хотелось чокнуться. Кто-то шепнул мне, что у Шурика пробита затылочная кость и шейные позвонки проникли ему в самый мозг. Помните, ведь именно это и пожелал ему зэк перед смертью, именно шеей и проклял! Так и воскликнул: «Чтоб шею тебе сломало!»

В квартире полно было народу. Стояли вокруг гроба, по разному плакали, целовали покойника. И никто не говорил про зэка. Я думаю, никто, кроме меня, и не знал об этом, да и сейчас не знает.

Стоял я у гроба, точно зашибленный чурбан, так и не поцеловав друга. Тут же захотелось бежать на нашу поляну и самому проверить весь берег напротив трамплина. Мы же дна там не могли достать никогда! И чтобы совсем не рехнуться у гроба, тешил предположением: может, лодка где-нибудь затонула, и ее прибило туда под водой? Или камень какой принесла

река с верховьев своих, с Тянь-Шаня? Ничего подобного на Боксерской поляне никогда не случилось.

Считайте меня за чудака или даже за круглого идиота, а я вам вот что скажу: я и до сих пор ходил бы на ту поляну. Нет, вовсе не купаться: после Семеныча я бы в жизни туда не полез. А просто сидеть на берегу и думать. Очень меня тянет сидеть и размышлять на подобных местах. Вы мне скажете, что в этом нет ничего нового: любой еврей, попав на такое место, где когда-нибудь случилось чудо или что-нибудь необыкновенное, логически необъяснимое, — обязан произнести специальное благословение. Еще вы хотите сказать, конечно, что у нас по всему Израилю полно таких мест: к какому камню ни подойди, — то ли им убивали еврея, то ли мы этим камнем кого-нибудь убивали. Что же, по-вашему, скажете вы, всем нам следует сидеть там и размышлять? А я вам отвечу: да, сидеть и размышлять, если стремитесь постичь хоть немного воды-истины вокруг себя, узнать, чем мы живем и существуем.

На поляну нашу я, конечно же, сразу не помчался. Не мог я оставить у гроба родителей одних. Разве уйдешь из квартиры, когда держат они тебя за руки мертвой хваткой и плачут: столько лет меня не видели! А на столе лежит в гробу что-то лиловое и безобразное, и все целуют это.

Потом мы несли Шурика на кладбище. Всю дорогу несли мы его на вытянутых руках, и гроб плыл высоко над всеми. Ни разу я не видел, чтоб кого-нибудь несли так через весь город. Это Шляк придумал поднять его над головами. Он очень любил Семеныча. Если бы он знал его с первого класса, он бы любил его еще больше. Тогда бы он тоже мог знать что-нибудь про зэка. Когда меня меняли под гробом, я шел рядом и смотрел на Шурика в последний раз. Солнце лупило ему в голову, играя синими лучами, отраженными от лилового.

Потом положили Шурика в могилу и засыпали его землей.

Речи над ним держала всякая сволочь из дивизии Садрединова. Последним сопли пускал политрук. Он так вправлял нам мозги, что можно было подумать, будто в пустынях Шурик пас одних лишь овец, да на свирели играл...

Порывался напоследок и Литас что-то сказать, но слезы его задушили.

А уж мне-то как сказать хотелось! Я бы там многое наговорил! Я бы все им сказал на прощание... Но вы же знаете, куда мои лыжи смотрели. От этих козырьков лакированных я только и делал, что за крестами прятался на кладбище там.

Вечером мы собрались в кафе «Лебедь» на Саперной площади. Все тут Семеныча знали, всегда мы пили тут. Все уже знали в кафе про случай на Боксерской поляне.

Шляк приволок с кладбища его портрет. И мы поставили портрет его рядом с пустым стулом за нашим столом.

Сначала мы просто смотрели на его портрет и скулили. А потом начали пить водку и еще горше скулить.

Весь вечер в оркестре играли песню про журавленка. Только про журавленка, и ничего другого. Есть шикарная русская песня, если вы помните, про журавленка, который все кружит и кружит над родным городом, навсегда его покидая, а потом улетает в неведомые дали за горизонт. И это вовсе не птица, а душа очень хорошего человека. Просто сердце может оборваться, такая это замечательная песня, такой это был хороший человек...

А позже стала приходиться в кафе разная шваль. Понятие не имею, как это они узнали, что мы справляем здесь поминки. Один прозектор, хотя бы, чего стоит? Или этот бандит? Я просто очумел, когда увидел бандита этого.

Переполненный водкой и горем, я не выдержал. Подошел к пятачку, взял в оркестре микрофон и остановился напротив портрета.

— Шурик! — произнес я, глотая комок в горле. — Однажды я предал тебя, оставив на верную смерть в руках бандита. Вот он сидит сейчас вместе с нами, сидит рядом с тобой и тоже по тебе плачет. Он давно уже не бандит, давно отсидел свое и раскаялся. Он плачет, и я плачу. Плачу, потому что ни разу перед тобой не покаялся, и хочу, чтобы ты меня простил. Помнишь, мы пришли однажды на танцы в парк Горького и стали приставать к двум девкам? А девки эти были с Первушки, а мы не знали этого. И этот бывший бандит вывел нас с танцплощадки и хотел тут же обоих резать. Я вырвался и убежал. Я мог побежать за милицией, но я никого не позвал на помощь с перепугу...

Исчез, как последнее ничтожество... Шурик, прости меня за это!! Прости так же великодушно, как простил Рбби Ханина своего палача!

Когда слышали в микрофон про Рабби Ханину, то тут же перестали скулить, подняв на меня свои мокрые, дремучие лица. Они страшно любили, когда я начинал им тискать чего-нибудь из Агады. Ну просто от восторга визжали. Проходу мне с Агадой не давали. Дышать не давали, до того им все нравилось оттуда. Даже этот тип из морга перестал свои ладони друг к другу прикладывать. Очень уж мне нетерпелось приоткрыть им хоть самую малость про зэка. Показать им Бога вокруг нас.

— Его вывели на казнь, привязали высоко к столбу, и развели огонь под ногами, — начал я, — а чтобы продлить ему страдания, палачу велели время от времени прикладывать ему на голую грудь мокрый войлок. И смерть все никак не наступала. Тогда палач вдруг обратился к своей жертве: «Послушай, Рабби Ханина, знаю, что прямо из моих рук ты отправишься в вечную жизнь, ибо всем известно, какой ты великий праведник, как желанна душа твоя Господу Богу. Так дай же мне слово, старик, что ты и за меня там попросишь, если я хотя бы сейчас совершу в жизни один-единственный добрый поступок?!» И Рабби Ханина остался таким же великим и милосердным и воскликнул: «Обещаю тебе это, палач мой!».

Услышав это, палач быстро развел большой огонь, какой только мог, перестал прикладывать ему на грудь мокрый войлок и сам в костер бросился. И в тот же час вострубили на небе: «Рабби Ханина со своим палачом идут сюда, пропустите обоих в вечную жизнь!».

Ранним утром на Боксерской поляне было пустынно и тихо.

Перешел я мост, разделся возле трамплина, осторожно погрузился в воду. И поплыл, шаря вокруг себя руками и ногами, но ничего под собой не обнаружил. Потом стал подныривать глубже — тоже ничего!.. Вылез на берег, разбежался, взлетел на трамплин, ушел совсем глубоко. Но дна так и не достал. Снова выскочил на берег, снова нырнул, но немного в сторону. Нырял и нырял, так и не чокнулся.

Вода в Анхоре была ледяная, как кипятки. Вода, как вода, такой и положено ей быть.. Она ведь с гор течет, сверху.

- 1—**З. Леон Юрис : ЭКСОДУС**
3. **Др. А. И. Кауфман : ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ**
4. **Сарра Нешамит : ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ**
5. **Арие (Лева) Элиав : НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ**
6. **Др. Е. Хисин : ДНЕВНИК ВИЛУИЦА**
7. **Макс Брод : РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ**
8. **6 000 000 ОБВИНЯЮТ**
(Процесс Эйхмана)
9. **А. И. Гешель : ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ**
10. **НА ОДНОЙ ВОЛНЕ : Еврейские мотивы
в русской поэзии**
11. **Натан Альтерман : СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО**
12. **Шаул Черниховский : СТИХИ И ИДИЛЛИИ**
13. **Теодор Герцль : ИЗБРАННОЕ**
14. **Ахад-Гаам : ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ**
15. **Арон Мегед : ХЕДВА И Я**
16. **Яков Цур : И ВОССТАЛ НАРОД**
17. **Р. и У. Черчилль : ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА**
18. **Стихи советского еврея : ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ**
19. **Говард Фаст : МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ**
20. **И. Домальский : РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ**
21. **Игал Алон : ОТЧИЙ ДОМ**
22. **Юлия Шмуклер : УХОДИМ ИЗ РОССИИ**
23. **Хана Сенеш : ДНЕВНИК**
24. **ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)**
25. **Ш. И. Агнон : ИДО И ЭИНАМ**
Рассказы, повести, главы из романов
26. **Элиэзер Смоли : ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ**
27. **Товия Божиковский : СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН**
28. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1**
29. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2**
30. **А. Итай и М. Нейштат : ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ**

הבית השלישי
וספורים אחרים